АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ

Рассказы о русском Израиле

Эссе и очерки разных лет

Литература Израиля

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Почти каждый из рассказов тянет на сюжет полнометражного фильма. Так появились на свет первые сборники моих опытов в прозе. Теперь перед тобой, читатель, другие истории: новые и старые, по каким-то причинам не вошедшие в другие книжки. Чем написаны эти истории? Скорее всего, инстинктом самосохранения. Как во времена доброй старой прозы, автор пытался создать мир, в котором можно выжить, и заселил его людьми, с которыми не страшно жить.

- Аркадий Красильщиков
  -
  -
  - Жидовочка
  - Черный день
  - Еврейская месть
  - Яблоки после грозы
  - Отпуск по семейным обстоятельствам
  - Кошелек
  - Некоторые обстоятельства
  - Потомок Грубого Джона
  - Колодец
  - Вместе
  - Нет меня!
  - Шалом, Кецеле!
  - Собака – тоже человек
  - Положительный образ
  - Мальчик и женщина
  - Крыша
  - Время придет
  - Гороховый суп
  - Кремень
  - Навстречу судьбе
  - Авель
  - Два полюса на одной оси
  - Совместимость
  - Моя жена Роза
  - Мухи между стеклами
  - Мститель
  - Всего двадцать минут
  - Ехали в автобусе…
  - Наум Петрович

- Процедура
- Князь Гуревич
- Нельзя человеку жить одному
- Тайна ада и рая
- Солдат и солдатка
- Случайный ребенок
- Ржавый гвоздь
- Предатель
- Бедный, бедный Финкельштейн
- Пятьсот шагов
- Живой товар
- Сильнее страха
- Хуже убийцы
- Кто убил Сталина?
- Спаситель
- Завтрак для котят
- Тишина пустыни
- Эссе и очерки разных лет
  - Адреса
  - Когда был счастлив Бродский?
  - Нос Гоголя
  - Евреи Октября и Марина Цветаева
  - По тропе с Генри Торо
  - Любовь Франца Кафки
  - Камера пыток
  - Сын Марины
- Аркадий Красильщиков

- notes
  - 1
  - 2

Аркадий Красильщиков
Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет

©Аркадий Красильщиков, 2011
©Мосты культуры/Гешарим, 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

В свое время, чтобы прокормить себя и детей, был вынужден заняться журналистикой. «Выпекать» приходилось по пять-шесть полосных материалов в неделю: очерки, фельетоны, интервью. За тридцать лет работы в российском кинематографе привык к графику, мягко говоря, более щадящему. Тем не менее объем работы каким-то чудом осилил. Боялся только одного – не умереть бы от скуки. Поняв это, стал осторожно подсовывать главному редактору всякого рода изящную словесность, тем самым развлекал самого себя по мере сил и лечил ностальгию по работе в кино. Почти каждый из рассказов тянул на сюжет для полнометражного фильма. Так появились на свет первые сборники моих опытов в прозе. Теперь перед тобой, читатель, другие истории: новые и старые, по каким-то причинам не вошедшие в те давние книжки.

Могу обнадежить – большая часть рассказов не длиннее той же газетной полосы, но, кажется, Самуил Маршак сказал как-то, что маленькие часы сделать не легче, чем большие. Чем написаны эти истории? Скорее всего, инстинктом самосохранения. Как во времена доброй старой прозы, автор попытался создать мир, в котором можно выжить, и заселил его людьми, с которыми не страшно жить. Сообщать читателям, что жизнь земная – юдоль печали, имеют право только гении, просто потому, что само их рождение – надежда на лучший мир. Всем остальным ничего не остается, как рассказывать сказки. Собственно, сборником нефантастических сказок и можно назвать эту книгу.

Жидовочка

Салон самолета. Ночь. Лёту до аэропорта в Лоде часа три. Говорит она на чудовищном сленге, характерном для пограничной полосы между Россией и Украиной. Но голос ее шепчущий мягок и мелодичен, а потому не вызывает раздражения.

– Дядю, ты спишь?

– Нет.

– Дядю, а там чего – одни жиды?

– Евреи.

– Так без разницы.

– Есть разница.

– А якая?

– Скоро узнаешь.

Пауза.

– Дядю, ты спишь?

– Сплю.

– Тоды сюда слухай.

– Ну, «слухаю».

– Я ж сирота, дядю. Детдомовская. Папка и мамка в автокатастрофе сгинули. Я малая была зовсим… Посля у бабки жила отцовой. Злая была бабка. Ее паралич стукнул, а меня в детдом… У нас заведующая – Шутова Катя Ивановна, слышал?

– Нет.

– Ну!.. Всем нам мать родная, нежная такая… Это че, стих?

– Похоже.

– Ну, я даю. Надо бы ей отписать в рифму. Она теперя на пенсии, и детдома нет. Разогнали нас – кого по родичам, а кого в интернат при училище. Меня на фрезерное дело определили – ученичкой. В детдоме лучше было: кормили та простыни давали, а в етом интернате прям на матраце и спишь, а Гусева на фанерке спала. Говорит, что для спинного хребта, но врет, потому что хребет – не хребет, а матрацев боле не было… Дядю, да ты спишь?

– Нет.

– Ты не думай. Я теперя знаю, кто такая. А раньше-то долго не знала. Зеркало увидела в первый раз в классе пятом. Ну, чтоб с понятием в его смотреть. Смотрю, вроде рожа у меня не как у всех. Все белявые, а я – одна чернота, и волос стружкой. В детдоме был у нас один китаеза, а так все похожие, как родня… Ладно, меня никто сбочь не ставил. Я боевая, сам видишь… Тут пока…

– Чего замолчала?
– Надсмехаться будешь?
– Не буду.
– Ты человек-то хороший?
– Вот этого не знаю.
– Ладно, расскажу… Як засмиешься – отсяду.
– Договорились.

– Ну вот… У нас на территории столбы меняли. Деревяшка-то вся сгнила. Упал даже один столб…. Иду, значит, в мастерские, а он на столбе сидит с «когтями» и свистит, как птица. Так красиво свистит. Стою внизу и слухаю, не могу дальше идтить, а он посмотрел на меня и говорит весело так: «Тю, жидовочка!» Испугалась чегой-то и… улет… В субботу гостюю у директорши нашей – Кати Ивановны. Она мне и казала, что «жидовочка» – значит евреечка. Я, значит, такая и в документе, и обижаться не надо. А я и не обиделась. Я тогда совсем не понимала, что люди разные бывают. Мне сколь было рокив – чуть пятнадцать исполнилось… Этого, с «когтями», оказалось, Женечкой звали. Он меня отыскал через неделю и гуторит, что забыть не может, что я ему в сердце запала. Любовь, значит. Ему восемнадцать рокив и по осени в армию, а мне – сам видишь. Только я его тоже забыть не могла, а все верила, что он возвернется и мне опять те слова скажет. Так и вышло… Значит, гуляем мы с Женечкой. Я до него нецелованная была зовсим, а после целованной стала. Я была на все согласная, потому что любовь без памяти, но он боле ничего не хотел, а гуторил, что из армии возвернется – в жены меня возьмет по закону, если верность сохраню свято. Он божился, что другой любви ему не надо. Одна нужна, и до гроба… Так…

Потом они пришли, прямо, значит, в интернат: двое – очкастая такая и тощий с великим носом.

Мы с девчонками как раз бульбы ворованной нажарили, а эти меня в коридор кличут. Гуторят, что им на меня наш замначцеха показал – Гинзбург Михал Григорич. Он за училище в ответе был. У него, значит, документы мои и метричка, где прописано, что мама моя погибшая была еврейской национальности. Значит, и я такая, и могу ехать в Государство Израиль, там учиться и жить. Я с ими гуторю, а сама думаю – голодной быть, потому как девки картоху сожрут непременно всю, до корочек… Ни, гуторю, не могу никуда ихать, потому что у меня парень есть Женечка… Толчемся, значит, на лестнице, и я им усе про нас. Женечка, пытают, тоже еврей? Этого, гуторю, не знаю, без надобности было знать. Ты спроси, просят, а завтра мы возвернемся за ответом…. Тут как раз и Женечка. Толчемся, значит, на лестнице – я и все ему про то. Послухал Женечка и грустный стал зовсим. Папа,

гуторит, у меня осетин, а мамка пополам Россия с Украиной, а тебе, Анночка… Ты понял, меня Анночкой звать?

– Понял, понял.

– А тебе, гуторит, Анночка ехать в етот Израиль надо обязательно, потому как здесь не выкарабкаться, даже с «когтями». Там, гуторит, государство сытое, и о детях забота. Он от соседей слышал и по телеку бачил. Что бывает террор, так этого добра и у нас хватае… Женечка-то при семье, у него все есть: и соседи и телек. Там, гуторит, ты будешь не сирота… И простыни, спрашиваю, дают? Непременно, гуторит, ты чего плачешь, ты не плачь… Я ж тебе никакой не помощник. Мне ж в армию, может, в Чечню, а там… Что обо мне думать? Я тогда слезы утерла, за руку Женечку взяла, девулек всех выгнала… и велела ему меня… чести девичьей лишить – тогда поеду, он, значит, в армию свою, а я – в Государство Израиль. Правильно?

– Не знаю, Анночка, тебе видней.

– Он возвернется через два года. На столбах посидит, денег на билет накопит и ко мне прилетит. Так?

– Вполне возможно.

– Теперь, дядю, кажи… Женечка гуторил, что в етом Израиле на своем языке говор?

– Верно… Ивритом язык называется.

– А як на ем любовь?

– Ахава.

– Ахава, – тихо повторила Анна, будто примерила на себя это непривычное слово…

Последние двадцать минут полета она отсидела молча. Девочка – женщина с прекрасным лицом юной красавицы из песен мудрого и страстного Соломона. Внутри Анны пряталось существо, совсем непохожее на ее облик. Как-то помирятся эти двое? Как поладят друг с другом? Каким встретит эта необычная девушка своего суженого через два года?.. И встретит ли?

1996 г.

Черный день

Они арендовали жилье в грязном районе Бат-Яма, заселенном шумной и подозрительной публикой. Им понравилось, что квартира находилась на первом этаже. У Зои очень болели колени. Что-то им еще понравилось, они уже не помнили что…. В любом случае Древины оказались именно в этой точке Израиля, а не в каком-то другом месте.

Однажды, месяца через четыре после приезда, в жуткий хамсин, они сидели потные на потертом диване перед телевизором и под жужжание бесполезного вентилятора смотрели документальный фильм о России. И вдруг на экране замелькали кадры их родного города, города, которому они отдали лучшие годы своей жизни: сорок лет несли школьникам доброе, светлое и вечное – родную литературу и язык.

За окном, прикрыть которое было невозможно, оглушительно гремела протяжная, дикая музыка, кто-то на улице истошно орал на чужом, непонятном языке – и Древин вдруг заплакал, заплакал навзрыд, наверно, в первый раз в своей спокойной и в общем-то благополучной жизни. Он рыдал, сорвав очки и лихорадочно шаря по карманам в поисках платка, а Зоя все старалась обнять его седую голову, погладить и утешить мужа.

– Черный день! – вдруг выпалил, глотая слезы, Древин. – Черный день!

Они студентами познакомились, на третьем курсе. Матвею понравилась Зоя, а Зое понравился Матвей. Они не стали долго хороводиться и через месяц после знакомства зарегистрировали свой брак в загсе. Состоялось что-то вроде бедной, комсомольской свадьбы – и Древины стали жить вместе за платяным шкафом в общежитии. Случилось это в 1956 году, когда вся России надеялась на лучшее. Хрущев разоблачил культ личности и начал строить дома для простых людей, а не только для начальства.

Так получилось, что после защиты дипломов Матвея и Зою определили на работу в большой и промышленный подмосковный город. Там они и стали учительствовать в одной школе.

Молодожены очень любили свой предмет – литературу и неплохо ее знали. В те годы уже начали пробиваться робкие ростки диссидентского движения. Древины тайком, самиздатовскую копию, читали «Доктора Живаго», спорили о романе Дудинцева и мечтали о том времени, когда у них появится возможность и ученикам своим рассказывать об этих

книгах.

Первый год молодые педагоги прожили на съемной квартире, но скоро им предоставили жилье в новом четырехэтажном, блочном доме. Это была огромная радость. Своя квартира! Комната в восемнадцать квадратных метров, ванная, совмещенная с туалетом, и кухня с небольшой прихожей! Их дворец находился на четвертом этаже, и вид вокруг на окрестные леса открывался прекрасный.

Древины были молоды, отсутствие лифта их не смущало. Они придумали свой персональный подъемник. Матвей устроил на подоконнике лебедку, и тяжелые вещи они поднимали с помощью троса, корзины и коловорота.

Надо сказать, что Древин любил не только литературу, но и разный ручной труд. Он мог смастерить все, что угодно, даже мебель, и талантом своим очень радовал жену – Зою.

Потом у них родился ребенок – мальчик. Снова была большая радость. И жизнь Древиным казалась наполненной смыслом, гармонией и справедливостью.

Вокруг них жили такие же бедные люди, как и они, а потому бедность казалась нормой и будто бы не была таковой.

В шестидесятом году Древины купили телевизор, но на экране никакой другой жизни они не увидели. Точно такие же люди, как и они, радовались, пели, любили друг друга, спорили из-за производственных показателей и отправлялись на стройки очередной пятилетки.

Ребенка Древины назвали Ефимом в честь отца Матвея, погибшего в сорок втором году под городом Ростовом. Матвею и Зое очень хотелось родить девочку, но как-то не получалось у них это. В остальном все в их семействе ладилось. Ссоры случались редко. Молодые продолжали любить друг друга, а потому быстро находили пути к примирению.

Педагогами они были талантливыми, дети их любили, и в школу Древины ходили, как на праздник.

Иногда они позволяли себе некоторое вольнодумство, упоминали фамилии Мандельштама, Цветаевой или Ахматовой. И даже декламировали на уроках стихи этих поэтов.

В конце шестидесятых годов Древины осмелились на неслыханную дерзость. Они чудом, и с большими приключениями, достали серо-голубенький номер журнала «Москва» и стали читать своим старшеклассникам роман Булгакова «Мастер и Маргарита», чем невероятно напугали добрейшего директора школы Ивана Павловича Зеленского. Пришлось чтение прервать, но дело было сделано. Древины заразили своих детей любовью к Булгакову, и сами они стали

фанатиками его творчества.

В общем, жили Древины духовными интересами, часто посещая московские музеи, театры и консерваторию. На материальную сторону своей жизни они обращали мало внимания, полагая, что аскетизм, кристальная честность и бескорыстие – высшая добродетель человека. И Зоя и Матвей были уверены: счастлив бывает только тот, кто умеет довольствоваться тем, что имеет.

В годы армейской службы, еще до института, Матвей вступил в КПСС, а Зоя так и осталась беспартийной, хотя ей и предлагали примкнуть к рядам строителей коммунизма.

Необходимо отметить, что Матвей Древин был евреем, а Зоя носила титульную национальность, но разговоров на эту тему у них не было никогда. Оба, и Зоя и Матвей, были просто советскими людьми, и упоминание национальности в разных документах считали пережитком былых и недобрых времен.

Свое же время они считали добрым и умным, а очевидные недостатки политической системы и быта легко устранимыми в ходе промышленного и социального прогресса СССР – передовой страны, завоевавшей космос и освоившей целину.

Как и большинство соседей, Древины жили от получки до получки. Иногда им удавалось скопить некоторую сумму – и тогда покупалось что-нибудь из одежды, обувь, велосипед сыну и так далее.

Родители Зои и Матвея жили обособленно. Зоины – в провинциальном городишке под Тамбовом, а мама Матвея после войны снова вышла замуж за состоятельного человека, какого-то начальника. Отчим не понравился Матвею. Он рано ушел из дома, стал работать на заводе, потом армия, институт… Древин изредка навещал мать и свою сводную сестру, но делал это как бы по принуждению. В глубине души не мог Матвей простить матери измены погибшему мужу, его отцу. Он плохо помнил этого человека, но боготворил его и считал настоящим героем.

Только однажды мать Древина посетила скромную квартиру сына. Две ночи она спала на раскладушке, и два дня молча наблюдала за жизнью семьи Матвея, но перед ее отъездом состоялся не очень приятный разговор.

Ребенок заснул, просмотрев передачу «Спокойной ночи, малыши», а взрослые сидели на тесной кухне и пили чай.

– Нельзя так жить, – вдруг сказала мама Матвея.

– Вот интересно, – нахмурился сын. – И что тебе не понравилось?

– Мне все понравилось, – сказала мама Матвея. – Только нельзя жить так. Нельзя тратить все деньги. Необходимо

откладывать на черный день.

Зоя улыбнулась такой простоте и наивности свекрови, а Матвей рассмеялся.

– Мама, дорогая, – сказал он. – Ты о чем? Какой такой «черный день». Если война, от атомной бомбы никакие деньги не спасут, а при мире мы и так не пропадем. Нам много не надо. Правда, Зоя?

– Состаримся – пенсию дадут, – сказала верная жена Матвея Древина. – Нам хватит.

– Черный день, – поднявшись, вздохнула гостья. – Вы дети, хоть у вас и есть свой ребенок. Черный день всегда стоит за спиной человека, и приходит он незвано.

– И что ты нам советуешь? – возмутился Матвей. – Фарцевать, спекулировать валютой, покупать брильянты? – Он произнес последнее слово с нескрываемым отвращением.

– Это ваши проблемы, что делать, – пожала плечами мама Матвея, но черный день придет обязательно, и тогда вы вспомните мои слова.

Потом она уехала, заказав такси по телефону, а через год умерла скоропостижно от болезни сердца. Матвей был на похоронах. Он по-прежнему не мог примириться с отчимом. Его тронуло неподдельное горе этого человека, но и на этот раз между ними не проскочила искра контакта.

Отчим хотел вручить Матвею три тысячи рублей (по тем временам большие деньги). Он сказал, что делает это по завещанию мамы Матвея, но Древин отказался от денег и даже оскорбительно намекнул, что предпочитает честно заработанные рубли сомнительным тысячам. Отчим не стал спорить и доказывать чистоту происхождения денег. Он просто спрятал их в ящик письменного стола и повернул ключ в замке.

На этом они и расстались.

Потом время незаметно ускорилось, и Древины стали людьми пожилыми. Это случилось как-то неожиданно. Вот были люди молоды и вдруг – старость.

Сын их, Ефим, окончив школу, поступил в Московский университет на Ленинских горах, защитил диплом с отличием, был оставлен в аспирантуре, до срока защитил диссертацию и принят на работу в крупный центр по разработке космических технологий.

Древины очень гордились своим сыном. Только и печалились постоянно, что Ефим очень занят и видят они его крайне редко. Здесь необходимо признаться: и прежде сын рос необщительным и даже угрюмым сверх меры ребенком, любил одиночество и никогда особенно не ценил родительский очаг и ласку.

А Древины по-прежнему любили друг друга. Их авторитет в школе был высок, Матвей даже опубликовал небольшую книжку по вопросам воспитания, и его, после публикации, дважды приглашали на Центральное телевидение в передачу о педагогике.

Супруги были сравнительно здоровы и после шестидесяти лет даже не думали уходить на пенсию.

Жизнь тем временем раскручивалась по невиданной спирали. Казалось, сбывались их самые смелые мечты. Началась перестройка, заговорили о плюрализме, свободе слова и печати. Толстые литературные журналы начали публиковать фантастические по смелости, ранее совершенно закрытые цензурой тексты.

Зое и Матвею казалось, что поток великой литературы не иссякнет никогда. В эйфории свободы, в книжном изобилии они как-то не сразу заметили, что опустели полки магазинов и возникли серьезные проблемы с заполнением небольшого холодильника «Саратов». Впрочем, они никогда не баловали себя деликатесами, излишествами разными и теперь не очень горевали, отправляясь на «охоту» за костью со следами мяса или десятком яиц.

В девяносто первом году ушел на пенсию прежний директор школы, а новый и молодой решил устроить некое коммерческое заведение и назвал его «лицеем». Места в этом «Лицее» Древиным не нашлось, да им, если честно, и не понравились новые веяния и платная система преподавания.

Первое время пенсию им спускали регулярно, потом начались перебои, и Древины поняли наконец, что такое настоящая нищета. В магазинах появились продукты, по телевизору показывали роскошь иноземной жизни, а они питались одной лапшой и картошкой, поджаренной на подсолнечном масле.

Да и книжный поток как-то вдруг иссяк. Оказалось, что замечательных, некогда запретных произведений не так уж много, и толстые журналы уже не радовали Древиных так, как прежде. Да и денег на внезапно подорожавшую подписку у них не было. Даже в Москву они перестали ездить. Билеты на электричку и в театр стали предметом роскоши. Износились купленные давно вещи. И в дождливый, осенний день Зоя поняла, что ей не в чем выйти из дома.

Матвей сделал попытку найти работу, уроки, но работы не было и для молодых. Они обратились к сыну за единовременной помощью, но Ефим в это время был за границей. Он преподавал в каком-то университете на севере Европы. На письмо ответила его жена. Она написала, что ждет ребенка, денег лишних у нее нет, и

старикам придется рассчитывать только на самих себя.

Однажды к ним в гости пришел старый директор Иван Павлович Зеленский. Он сказал, что теперь навещает только тех, у кого есть лифт и кто живет на первых этажах, но к Древиным он забрался на четвертый, потому что увидел однажды у магазина Матвея и понял, что его бывшим коллегам и друзьям совсем худо.

Иван Павлович сказал Древиным, что им нужно срочно ехать в Израиль, используя национальность Матвея, а иного выхода у них нет.

– Сейчас, – сказал он. – Все едут за границу, кто может, потому что новой России не нужны дети и старики. Ей вообще не нужны больше люди, а нужны только полезные ископаемые, которые можно продать и на эти деньги содержать кремлевский двор и придворных жуликов.

Древин спросил у старого директора, почему так получилось, но директор только пожал плечами и положил на стол конверт.

– Вот, – сказал он. – Там немного денег. Вам хватит, чтобы уехать.

– Нет, нет и нет! – запротестовал честный Древин.

– Да, да, да, – сказал, тяжело поднимаясь, старик. – Это долг. Там старикам дают хорошую пенсию. Вернете.

И они уехали, захватив с собой жалкий скарб и два десятка самых любимых книг. И вот теперь Матвей Древин рыдал на плече у верной жены – Зои. Холодильник их был полон, причитающиеся деньги старики получили, и пособие ежемесячное пополняло их бюджет, да к тому же им удалось за семь тысяч долларов продать свою квартирку в Подмосковье. И эти деньги были с ними, и тем не менее старики были глубоко несчастны в Израиле. Все вокруг им казалось чуждым, враждебным, опасным.

Тот мир предал их, а новый не принял. И, как им казалось, не мог принять.

– За что, – говорил Матвей Древин. – Мы честно работали. Мы не воровали, не грабили, не мошенничали. Мы учили наших ребят только хорошему: доброму и светлому их учили. Что случилось? В чем наша вина?

– Наверно, в этом, – отвечала Зоя. – Мы не так жили и не тому учили наших школьников. Им, наверно, теперь также трудно, как и нам. Они тоже бедны, потому что пришло время, когда честность и достоинство не нужны людям.

– Но почему? – вопрошал Древин. – Разве Пушкин, Толстой и Чехов зря писали свои книги. И Булгаков зря спасал своего Мастера и самого себя?

– Наверно, зря, – говорила Зоя. – Что-то было не так в том

нашем мире.

– А в каком мире всё так? – спрашивал Матвей.

– Этого я не знаю.

Древины записались в русскую библиотеку, но, как ни странно, посетили ее зал всего лишь дважды, а потом и вовсе перестали туда ходить. Книги, привезенные с собой, были читаны неоднократно. Телевизор – это изобретение человеческого гения стало их окном в мир. В мир, который они оставили.

Старики жили делами России, думали о России, спорили о России. Иногда им начинало казаться, что они и не уезжали никуда, а жили всё там же, только с четвертого этажа перебрались на первый.

Однажды вечером у телевизора они вдруг стали спорить о будущем правительстве Российской Федерации. Матвей называл одни фамилии, а Зоя – другие. Супруги внезапно перешли на крик и набросились друг на друга с непривычной и необычной злобой.

– Господи! – замолчав вдруг, тихо сказала Зоя. – Мотя, что с нами происходит. Если мы потеряем друг друга, мы потеряем все. Тогда и жить не надо.

Они обнялись, но память о той ссоре занозой застряла в сердцах Древиных. И сердца их теперь болезненно ныли от страха и предчувствия новых размолвок.

И тут случилось непредвиденное: их телевизор сломался. Срок гарантии не истек. Старики отвезли свой аппарат в мастерскую – и вернулись в опустевший дом.

По привычке сели на диван, как раз напротив исчезнувшего экрана, и молча уставились в пустоту.

– Знаешь, – наконец сказал Матвей Древин. – Страшно сознавать, что жизнь прожита зря.

– Глупости, – сказала Зоя. – У нас есть сын. Он большой ученый. И придумает что-нибудь замечательное для людей.

– Еще одну атомную бомбу, – сказал Древин. – Или газ, способный убить все живое на земле… А может быть, способ, как из одной яйцеклетки вырастить сразу полк солдат в касках и с оружием… Слушай, давай разом кончим это. Устал я жить, честное слово. Пойдем на море, возьмемся за руки и уйдем в воду. Вот и все.

– Идем, – просто согласилась Зоя.

Уже стемнело, когда они добрались до пляжа.

– Я думаю, не нужно раздеваться, – сказал Древин.

– Конечно, – ответила Зоя. – Мы что – купаться пришли? Давай только посидим немного.

И они сели на песок у самой кромки моря. Чуть слышно шелестел накат волн, вдали, в море, мерцали огни, а со стороны набережной слышались приглушенные звуки восточной мелодии.

– Ну, пошли! – поднялся Древин.

– Идем, – сказала Зоя.

Они не заметили этого человека во всем черном и в шляпе. Он стоял спиной к ним. Между ними и морем. Он стоял неподвижно, сгорбившись.

– Откуда он взялся? – раздраженно прошептал Древин.

– Не знаю, – отозвалась Зоя.

Матвей опять сел на песок.

– Подождем, пока уйдет, – сказал он.

Они ждали пять минут, десять, ждали час… Человек в черном не уходил. Он, казалось, застыл в одной позе и на одном месте.

– Знаешь, – тихо сказала Зоя. – Мне не нравится все это. Давай утопимся завтра – без этого страшного человека. Он наверняка бросится нас спасать. А нам не нужны спасатели.

– Хорошо, – согласился Матвей, и они направились обратно, к набережной.

Шагов через сорок Древин невольно обернулся, но никого не увидел у кромки волн. Пляж был пуст.

Эту историю рассказали мне сами Древины. Они так и не решились утопиться. Постепенно начали привыкать к новой жизни. Матвей даже устроился на работу по уборке, а Зоя нашла добрую подругу: такую же учительницу литературы из Вологды.

Телевизор старики смотрят гораздо реже, а вот к морю прогуливаются чаще, особенно после заката. Сидят там, у воды, на теплом песке, под высокими звездами и ждут чего-то. Наверно, того человека во всем черном. Но он ни разу больше не появлялся на пляже города Бат-Яма. Видимо, не было в том нужды.

1998 г.

Еврейская месть

Клавдия Васильевна Зотова, русская, немолодая женщина, прибыла в Израиль по гостевой визе, выручить из борделя свою взрослую (37 лет) дочь – Екатерину.

Никто не просил Клавдию Васильевну о помощи. Екатерина регулярно звонила маме, присылала деньги на содержание сына, оставленного с бабкой, и сообщала, что работает на одном из заводов центра страны.

Но, как это обычно бывает, нашлись «добрые» люди и сообщили матери, чем на самом деле занимается ее единственная дочь. Известие это потрясло Клавдию Васильевну и заставило предпринять столь долгое путешествие. Человек сильный и решительный, она не стала уговаривать дочь по телефону бросить сомнительный промысел, а решила все уладить лично и быстро. Пристроила внука у близких людей, без особого труда преодолела сложности с визой и в конце марта 2003 года оказалась на берегу Средиземного моря.

В Израиле Клавдия Васильевна столкнулась с известными трудностями. Прежде всего, ее дочь была недовольна визитом мамы и наотрез отказалась возвращаться домой, в город Судогду, Владимирской области. Зотова тем не менее решила твердо добиться своего различными путями.

Зачем ей понадобился разговор с журналистом русскоязычной газеты, не знаю. Сразу сказал, что в этом деле помочь мы вряд ли ей сможем, но вскоре понял, что нуждается Клавдия Васильевна только в одном: ей нужно, чтобы кто-то терпеливо выслушал ее исповедь.

История жизни Зотовой мне поначалу не показалась интересной, но тут Клавдия Васильевна обронила одну фразу, упомянув падение дочери: «Это мне лично еврейская месть».

Вот тут я и насторожился, спросил гостью Израиля, в чем ее грех? А в ответ услышал совершенно фантастическую историю, достойную внимания читателя.

«Из колхозу мне удалось сбечь в четырнадцать годков, – начала свой рассказ Зотова. – Нужны были работницы на торфоразработки. В деревню нашу прислали ответственного товарища, он меня и внес, без лишнего разговору, в списки, не поглядев, что годков мне мало. Я росту была большого и сильная на вид.

Два года потом жила в бараке и работала формовщицей на прессе по двенадцать – четырнадцать часов в сутки, но к пятьдесят первому году предприятие это свернули за

нерентабельностью, в бараках селить стали бывших зека, высланных на сто первый километр. Я ж должна была вернуться в колхоз с голодухи пухнуть, но тут нашелся добрый человек, и устроил меня на ткацкую фабрику в город Порхов. По швейному делу я и трудилась до пенсии. Школу вечернюю закончила, потом техникум, а ушла на заслуженный отдых с должности мастера цеха.

Теперь скажу о главном. Работал у нас на фабрике один еврей семейный по фамилии Лонж, Яков Самойлович. Фельдшером работал в здравпункте. Был он женат, имел двоих детей, с большой разницей в возрасте. Старшему сыну – Вене, как мы познакомились, было уже семнадцать лет, а младшенький – Сашок – только народился.

У меня случилась большая любовь к этому Вене. Можно сказать, я из-за этой любви и поступила в вечернюю школу учиться в пятый класс, а он, Венечка, как раз, десятый кончал в школе обычной. Вене, может, поначалу тоже показалось, что мила я ему и желанна. Я у него первой женщиной стала в жизни. Наша любовь с год продолжалась, а потом его в армию забрали, и он мне оттуда письмо отписал, что просит прощения за все, но больше близость со мной соблюдать не намерен, не хочет меня обманывать и предлагает его не ждать с Дальнего Востока, а устроить свою личную жизнь с другим человеком.

Много времени прошло, но могу смело сказать, что горя сильнее не было в моей жизни. Хотела даже руки на себя наложить.

Нужно вспомнить, какое было время тогда. Все вокруг говорили, что евреев скоро высылать будут на север, в лагеря, так как они «убийцы в белых халатах». Отца Вени с медицинской работы выгнали, но директор наш был человек добрый и умный. Он Якова Самойловича оставил при фабрике разнорабочим. Так и сказал: «До лучших времен».

Мне доброты и ума не хватило. Я страшным письмом Вене ответила. Смысл письма был такой: как он, жидовская морда, посмел меня, русскую девушку, бросить, надсмеяться над моими высокими чувствами.

Веня на это письмо не ответил, а я все горела страшным огнем. Я вдруг возненавидела не только его, но и все семейство Лонжей. Я тогда задумала страшную месть: решила украсть их недавно рожденного сыночка, отнести его в дальний лес и там бросить в снег, чтобы он умер холодной смертью. Я тогда подумала, что мне за это ничего не будет от властей, потому что все евреи в СССР будто стали людьми вне закона и с ними можно было делать все, что угодно.

Надо сказать, что наше общежитие было близко от дома Венички моего. Вот однажды и случился подходящий момент младенца выкрасть. Маленький меня хорошо знал и улыбался, когда я его в коробку большую из фанеры посадила. Так и несла до леса. Он мне оттуда агукал из коробки, а потом даже заснул. Так я почти бежала с Сашком боле часа, а потом ушла от дороги по глубокому снегу в лес, поставила коробку под ель и стала бечь от этого места.

Тут Сашок будто понял все и заплакал. Он плачет в крик, а я бегу. Потом, как-то вдруг, силы кончились, упала, хватаю снег губами и ясно понимаю, что не смогу бросить маленького так, на смерть.

Вернулась, взяла его на руки, а Сашок сразу плакать перестал. У него всю жизнь был такой характер. К людям с большим доверием относился. Никогда потом не верил, что человек человеку – волк, даже во взрослом возрасте не верил.

Ну вот, пригрела я маленького и думаю, что мне с ним делать? Ясно что: вернуть обратно родителям. Но как только я об этом подумала, сразу вернулись ко мне все мысли о моей несчастной доле брошенки и вся ненависть к Венечке и его еврейскому семейству тоже вернулась.

А надо сказать что до соседнего поселка было совсем недалеко от этого лесного места. Вот я и решила идтить туда, найти попутку и отвезти маленького в мою деревню, к маме. Она у меня, пусть ей земля пухом будет, добрая была женщина, хоть и совсем неграмотная и одинокая. Бог ей только одну дочь и дал, а отец наш погиб на фронте сражений с Гитлером.

На счастье мое – в том поселке сразу одного нашего деревенского встретила на мотоцикле с коляской. Он меня и отвез к маме. Веселый такой парень. Он меня сразу узнал.

– Клавка! – кричит. – С прибавлением.

Тут и поняла, как перед мамой объясниться. Я, надо сказать, больше года ее не видела и решила, что выдам Сашку за своего сынка, прижитого от случайного человека. Поначалу эту фантазию знакомому парню рассказала – мотоциклисту Федору. Он на меня как-то странно посмотрел и ничего не сказал.

А потом мама за мной бегала с вожжами и орала на всю деревню, чтобы все соседи слышали. Лошади-то у нас давно не было, с этой самой коллективизации, а вожжи так и висели на стенке сарая. Раз я дала для виду себя хлестнуть, на этом наказание и кончилось. Мама моя родная была вроде и довольна, что теперь у нее внучек объявился, и такой ладный, кормленый и красивый… Вот я оставила с ней Сашку, а сама, устроив в сельсовете все дела с метрикой, вернулась в Порхов.

А там уже большой переполох был. Младенца искали, но никто меня не заподозрил, как близкого семье человека. Решили, что цыгане (было у них стойбище рядом с городом) ребенка увели. Устроили даже налет милицейский на табор, но никого не нашли. На этом все успокоилось. Только родительница Лонжей места себе не находила, вроде как не в себе стала.

Сталин помер. Положили его в Мавзолей рядом с Лениным, а Якова Самойловича хотели вернуть на прежнее место в здравпункт, но он отказался, так как решила эта семья к родне ехать в Биробиджан, да и поближе к месту службы сына. Там его еще и ранило слегка во время танковых учений. Вот они и уехали, а я, как школу закончила, подала документы в училище города Судогды, туда и перебралась, там и работать стала на фабрике, будто подальше от греха.

Работала, училась, в деревню часто ездила, помогала маме Сашку растить. Время прошло, и стала я о нем думать, как о родном моем сыночке. Шесть лет так ездила, а потом зарабатывать стал неплохо, комнату получила и решила Сашку к себе забрать вместе с мамой. Она болеть стало тяжко, что-то с сердцем.

Так мы и стали жить на пятнадцати метрах втроем. Сашка в школу пошел, способным оказался к наукам. Учителя к нему относились по-доброму, ребята в классе тоже. Только однажды, ему только десять лет исполнилось, прибежал домой весь в слезах и кричит, что его кто-то жидовской мордой назвал.

– Мама, – плачет навзрыд. – Я же русский, а они так, почему?

– Русский, русский, – говорю. – Это они, дураки, по злобе.

Тогда мама моя в первый раз и спросила, от кого я Сашку понесла. Я тогда и сказала, что от еврея. Я тогда даже подумала, что отцом его мог вполне стать Венечка. Я даже сама себе поверила в эту неправду, что это так.

Теперь я вам немного расскажу о личной жизни. Мужикам я всегда нравилась. И дочка у меня, к беде, похожей выросла на мать… Были у меня романы. Были серьезные предложения руки и сердца, но ненависть свою к Венечке излечила я грехом своим, кражей ребенка. Ушла, значит, ненависть, а любовь осталась. И никак я не могла приблизить к себе человека, чтобы он постоянно был рядом со мной. Как подумаю об этом, так с души и воротит.

А в шестьдесят третьем году мама моя умерла от инфаркта, и решилась я на брак с человеком положительным, непьющим, который потом признался, что любит меня давно. Это он, Федор, меня тогда подвез на мотоцикле с дитем украденным.

В шестьдесят четвертом году родилась дочь моя единственная, Екатерина, выходит – обманная сестра Сашеньки.

Федор, надо сказать, и к Сашку всегда относился, как к родному, ни в чем не могу его упрекнуть. Только жизнь наша не заладилась как-то. Не смогла я к Федору привыкнуть, как к мужу. Вот мы с ним и расстались по официальному разводу через три год после рождения Екатерины.

Ну что дальше? Сашок мой на отлично школу кончил, медаль получил, приняли его в Московский университет имени Ломоносова, на математика стал учиться. К нам с Катей, часто приезжал, не обижал невниманием и потом, когда учился в аспирантуре, работать стал в «почтовом ящике» и женился. Счастливый был характер у моего украденного сынка, я вам об этом говорила. И не имелось у меня никакой тревоги за его судьбу.

Но тут – болезнь. Тяжело заболела раковым заболеванием груди. Случайно подслушала разговор врачей о своей судьбе, что жить мне осталось совсем недолго. Меня совесть стала мучить, и вызвала я Сашко прямо к операции своей. Он прилетел сразу же. Сел у моей кровати в этой чертовой районной больничке, смотрит на меня и говорит всякие слова и руки мне целует. Вот он отговорился, тогда и моя очередь пришла говорить.

Он все и узнал из моего больного шепота. И про ту коробку из фанерки зимой, и про своих родителей, и про мою любовь к его брату – Венечке. Шепчу и плачу, шепчу и плачу. Глаза закрыла, боюсь на Сашку смотреть. Потом открыла глаза: смотрю – по его щеке тоже слеза бежит.

– Жалко мне тебя мама, – говорит мой сынок украденный. – Так жалко, что и сказать тебе не могу.

Надо же, такие слова мне… Что дальше. Как видите, не померла я. Живу, вот уже тринадцать лет после того смертного приговора. А Сашка мой нашел отца, совсем старенького, и брата (мама его к тому времени померла). Он их нашел, выправил свои документы по новой, а в 1993 году подались они всей семьей в Израиль.

У него и здесь все ладно пошло, встроился в вашу жизнь. Счастливый характер – он везде счастливый. Живут они с братом в разных городах, но дружат крепко. У Венечки мого не все сложилось, как надо бы. Возраст все-таки не молодой. Маялся он тут долго, но как-то и у него все образовалось. Семья у Вени хорошая, детей трое, уже внуки имеются. Я с ним два раза виделась. Один раз в России, другой – здесь, недавно. Все прощения просила, но он вздыхал только тяжко, ничего не сказал. Думаю, и не простил он меня из-за матери. Та всю жизнь Сашеньку своего вспоминала… Не простил, может, и потому, еврейское государство наказало меня за давний грех через дочь

Екатерину».

Вот такой рассказ. Я по просьбе Клавдии Васильевны встретился с ее дочерью. Больше из любопытства, наверно, чем с надеждой помочь Зотовой. Сидели мы с Екатериной в кафе у старой автобусной станции в Тель-Авиве, и выслушал я на этот раз совсем другую, простую историю о тяготах жизни в России, о том, что за год работы в борделе Екатерина накопит немалые средства, а потом вернется в свою Судогду. А там, кто знает, может, и найдет нормальную работу, а возможно, и снова выйдет замуж за хорошего человека. Первый муж Екатерины, отец ее ребенка, «зашибал сильно и ходил на сторону». В Израиле работа у нее, конечно, не сахар, но «мужчины здесь народ деликатный». Так она и сказала – «народ деликатный».

Я что-то стал говорить о горе ее матери, но Катерина только отмахнулась.

– Вы не думайте, – сказала она. – Мамашка моя сюда явилась больше на Венечку своего посмотреть, да на Сашку. У нас с ней сызмала особой любви не получилось…

Клавдия Васильевна позвонила мне перед отъездом – попрощаться. Я испросил разрешения рассказать письменно о драме ее жизни. Она разрешила это сделать, только попросила изменить кое-какие детали в биографии и имена своих близких в Израиле, которым, может быть, будет этот мой рассказ не совсем приятен. «Да и Сашеньке, – как она сказала, – совсем не нужно знать, что его названая сестра на старости лет служит в борделе и не хочет, до времени, возвращаться домой».

Яблоки после грозы

В этой истории документы использованы подлинные.
Только фамилия главного героя изменена…

> *Дано сие в том, что в метрической книге о родившихся по м. Тальное евреях за 1902 год под номером 174 мужской графы значится следующая запись: 18 декабря 1902 года у Лейзера Яновского из м. Кракинова и жены его Этель ур. Шапиро родился сын, коему дано имя Хаим.*

Отец новорожденного владел мельницей, амбарами и большим магазином на первом этаже собственного дома. Погромы начала XX века Тальное миновали – там был сильный отряд самообороны. Старший Яновский сохранил нажитое и даже приумножил его, полагая, что делает это с благой целью дать образование детям и вывести их за «черту оседлости» в мир больших возможностей. Торговец хлебом соблюдал обычаи, но в глубине души был убежден, что миром правит не Б-г, а деньги. Лейзеру Яновскому удалось подняться над чесночной местечковой бедностью, и он желал, чтобы его дети отличались от всех остальных детей мира не пейсами и лапсердаком, а уровнем знаний и удачливостью в карьере…

Бедняга совершил обычную ошибку, полагая, что само богатство есть гарантия правильного воспитания потомства. Он не был готов к Великому переделу 1917 года.

Его сын принял переворот с восторгом. Разбогатев, отец Хаима мечтал стать свободным человеком. Сам Хаим решил выполнить ту же задачу, расправившись с богатеями. Спятившее, бегущее время вербовало скороходов, не спрашивая на то их согласия. Сила противостоять безумию большинства – качество редкое. В любом случае за три года большевистского кошмара Хаим без особых проблем избавился от пут «веры Моисеевой» и отцовских «предрассудков».

> *У.С.С.Р*
> *Действителен по 9 декабря 1921 г.*
> *Уманский уездный уголовный розыск*
> *9 ноября 1920 года.*
> *Мандат дан сей агенту Досовского района судебно-уголовного розыска рабоче-крестьянской милиции тов. Яновскому Хаиму, в том, что он призыву в ряды Красной*

армии не подлежит и по роду своей службы имеет право ношения всякого рода холодного и огнестрельного оружия, производить обыски и аресты по делам судебно-уголовного характера. Ему обеспечивается бесплатный проезд по железным дорогам, бесплатное пользование телефоном, телеграфом при беспрепятственном входе во все театры, кинематографы и увеселительные места. Он также имеет право требовать перевязочные средства по служебным делам и право свободного хождения по городу и проезд по уезду во всякое время дня и ночи. Военным и гражданским властям надлежит оказывать полное и законное содействие при исполнении им служебных обязанностей.

Его личность и собственная подпись
Яновский Х.
Подписями и приложением
печати удостоверяется.
Начальник уголовного розыска
В. Пилипов
Секретарь
Башинлов
Делопроизводитель
(подпись неразборчива).

Вот она – свобода. «Проклятый царизм» евреев в полицию не брал. Да и не только в этом дело: отец годами отвоевывал «гильдейство», стремясь без помех жить там, где заблагорассудится. А сыну даже проезд предоставили бесплатный. Отец привык платить за все, но и сам требовал, чтобы ему платили. Сын мог посещать «на халяву» «увеселительные места», имея вместо билета «кожан» и маузер на бедре. Как известно, в годы военного коммунизма частная торговля была запрещена, и все тяготы по справедливому распределению народных богатств взял на себя лысый коротышка в Кремле. Страна гибла, но ускоренно двигалась к коммунизму. Из семейных преданий известно, что ускорение нового времени оказалось не по плечу Лейзеру Яновскому. Совсем он отчаялся и опустил руки, предоставив заботу о доме жене.

К счастью, оказалась она женщиной деловой, энергичной и тайно приторговывала остатками пшенички, спасая от голодной смерти все семейство. Подтвердить это документами не могу, но думаю, что все так и было – младший Яновский страдал, но маму не арестовывал. По мягкости характера и из-за исключительной

привязанности к родителям он закрывал глаза на «страшные преступления» против народной власти.

За скудной трапезой Хаим учил стариков азам политграмоты, рассказывая родителям о сияющем, счастливом мире завтрашнего дня. Рассказывая, он вскакивал и начинал размахивать руками. Глаза Хаима горели, а штаны, отягощенные мандатом и маузером, сваливались…

– Были бы все здоровы, – бормотала несознательная мама агента. Отец, как правило, отмалчивался. Он тяжко болел и готовился к смерти…

В 1920 году мужик вернулся с гражданской бойни и понял, что к Великому переделу он не поспел. В награду за службу комиссары реквизировали у верных слуг последнее. Крестьянин отказался подыхать безропотно и снова взялся за винтовку. Уголовный розыск потерял свою актуальность. Сознательного Хаима бросили на борьбу с мужичками. Очередной мандат не сохранился, но уцелели строчки автобиографии:

> *В 1921 году вступил в отряд самообороны по борьбе с бандитизмом. Где побыл до января 1923 года, т. е. до реформирования ОПВДа.*

Безумцы в Кремле поняли, что от мертвого крестьянина не дождешься ни хлеба, ни покорности, и заменили грабеж продразверстки обычной и привычной данью налога. Бунтующий народ успокоился и спрятал обрез за стреху сарая.

Хаиму тоже пришлось разоружиться и вернуться в Тальное. Отец его к тому времени благополучно отмучился, успокоившись под камнем на еврейском кладбище, а мать уже на законном основании продолжала торговать хлебом.

Два десятка лет прожил Хаим. Ложь догм учит человека только одному – жестокости и глупости. Хаим желал и дальше сражаться за дело мировой революции, но пришло время работать: создавать что-то в любви, а не разрушать в ненависти. Впрочем, новая власть учла заслуги своего защитника и определила его на должность полуначальственную: Хаиму вручили чернильницу с мухами и потрепанную амбарную книгу сапожной артели.

Шесть долгих месяцев держался «юноша со взглядом горящим», но на седьмой не выдержал: сорвал нарукавники, сплюнул под ноги старорежимным сапожникам и «рванул» в город Киев добровольцем Красной армии. В Тальном, при всем старании, он продолжал быть обычным еврейским парнем, а он считал себя «пламенным интернационалистом». Бывший агент желал превращаться, перерождаться активней.

Хаима записали в солдаты и вновь даровали привилегии. Были они пожиже, чем в «уголовке», но все-таки были. В стране повальной уравниловки все, и с самого первого дня, было построено на неравенстве. Понять наших прадедов и дедов легко. Столетия – никаких привилегий – одно бесправие, а тут вдруг все сразу…

Удостоверение

Дано сие отделенному вверенного мне полка тов. Яновскому Х. в том, что на его иждивении состоят члены семьи: мать, Яновская Этля – 55 лет, брат, Яновский Давид, 14 лет, сестра Мириам, 18 лет…

…настоящее выдано на предмет получения вышеупомянутыми семейного пайка…

Кроме пайка, семья Яновского Х. не подлежала выселению из своего собственного дома, а брат и сестра могли и дальше «учиться коммунизму» в любом городе необъятного отечества.

В двадцать два года несчастный Хаим жрет скудный казенный харч и живет слишком уж нервной жизнью. Природой он не был подготовлен к такому быстрому превращению. У «солдата революции» открывается язва, и отправляют его к маме в бессрочный отпуск, удовлетворив жалованьем и положенной амуницией по арматурному списку.

Шинель дали «отделенному» – одну, рубаху летнюю, гимнастическую – одну, шаровары летние – одни, ботинки – одни, рубах нательных – две, брюк исподних – две пары, утиральник один и портянок одну пару…

Рубах походных, шаровар суконных, шлемов летних и зимних, сапог, лаптей и фуфайки выдано не было. Прочерк в арматурном списке.

По аттестату демобилизованный получил хлеб, соль, спички, чай и даже перец, а также кормовые деньги от ст. Киев до ст. Тальное.

«…по расстоянию в 390 верст из оклада удовлетворен на 2 дня – итого 76 коп.»

Вот они – тайные знаки превращения: копеечки, рубахи нательные, брюки исподние. Правда, лаптей не получил Яновский, да и данное при рождении имя осталось прежним – Хаим, согласно иному «арматурному» списку – свидетельству раввина.

Все же и здесь был сделан первый шажок. Сатана не торопится. К столу с договорчиком он нас подводит ласково и

медленно. (Знаю точно, потому как и сам по этой дорожке топал.)

Но автор этого сочинения весь компромат уничтожил, а бедный Хаим был неосторожен. Так вот, сохранился документ в твердой корочке: билет члена дома («будынка») Красной армии им. Ильича. В билетике этом сын Лейзера и Этли впервые застенчиво именуется Ефимом… И все же хочется думать, что труден был первый шаг. Не так просто отказаться от своего имени. Впрочем, время было такое – время повального и всеобщего отказа. Хотя не совсем понятно, почему отказ этот, как правило, был односторонним. Не установлено ни одного случая превращения Льва в Лейба, хотя бы и в честь доблестного товарища Троцкого…

Отказался наш герой от гордого и радостного имени, означающего в переводе «жизнь». Дальше – проще. Стоило только начать…

> *Поручение*
> *Предъявитель сего субагент Госстраха тов. Яновский Ефим Лазаревич командируется в село Павловку…*

Покойный отец уже не Лейзер, он Лазарь, но пока что не Леонид. Все впереди. Агент Госстраха Яновский получил вторую книжицу в твердой обложке: Ефим Лазаревич стал членом Центрального рабочего клуба «Заповедь Ильича». Клуб занимался:

> *«Сплочением масс в товарищескую семью на почве пробуждения и всестороннего углубления классового самосознания, культурно-творческой самодеятельностью, а также предоставлением разумного отдыха и развлечений».*

Товарищеская семья «на почве пробуждения классового сознания». Сегодня что-либо понять в этом бреде совершенно невозможно. Какой больной мозг смог придумать все это и переродить в звуки? Бедный Ефим-Хаим жил в перевернутом мире, внезапно пораженном повальной эпидемией буйного помешательства. В этом мире все отказывалось от старых имен и получало дурные кликухи: города, деревни, улицы, театры… Почему бы и Хаиму не превратиться в Ефима?…Имечко вроде бы безобидное. Но уже отмечалось, как осторожен дьявол, – это дети новообращенных станут полными уродами: Виленами, Сталинами и Кимами…

Оставим в покое нечистую силу. Из автобиографии:

В августе 1925 года я переехал в Ленинград и был принят на завод им. Энгельса, где проработал до апреля 1932 года.

В дорогу взял Яновский не только старую шинель и мешок с провизией, но и справку из поселкового совета. На серой бумажке слева – штамп на украинском языке, а справа – на идише древними буквами иврита. В бумажке с великими знаками народной памяти наш герой вновь именуется Хаимом. Сопротивлялось первородство, из последних сил сопротивлялось. Все еще сыном своего отца уехал он из местечка, но ровно через год вернулся в Тальное полным Ефимом Леонидовичем… В те нервные годы никто без справок не ездил. Страшно было ездить без документика. Вот и рабочему человеку, гегемону, пролетарию, выдали на заводе им. Энгельса отпускное свидетельство. Выдали, как солдату Армии Труда.

Под документик этот использовало заводское начальство старую платежную ведомость за 1914 год. Старорежимная эта бумажка даже номер имела, подробный анализ работ, итог к денежной выдаче, штрафы и примечания. Напечатана была ведомость просторно, красиво и точно, а совковая писулька на обороте отбита безграмотно, бледно, на изношенной машинке. Тут не нужна никакая статистика, ученые труды по экономике, социологии и прочему. Плохо было в новообращенном городе с полиграфией, да и не только с ней. В Тальном хоть солнышко светило вволю, да и овощи, фрукты перли из чернозема в изобилии. Городские ездили в деревню на «откорм». Поехал и новый питерский пролетарий. Без особой охоты, надо думать, поехал, потому что в Тальном каждый знал, что Ефим Леонидович обрезан в срок, что отец комсомольца был эксплуататором-буржуем, а мать за торговлю мукой лишили в свое время избирательных прав…

В большом же городе, до поры до времени, конечно, все «грехи» списывались без труда. До поры до времени. Сколько же бедных «троцкистов, сионистов, врагов народа» попалось на эту удочку. Наш пролетарий был всего лишь сыном буржуя и «лишенки», потому и «пуповину» не смог оборвать сразу. Это только при рождении ее перерезают без труда. Мать упрашивала старшего сына остаться, помочь в торговле, одуматься, наконец, но он вернулся в Питер, потому как твердо решил, следуя завету вождя, учиться. Тут и матери нечего было возразить.

Вернемся к автобиографии:

Работая на заводе Энгельса, одновременно учился в Финансово-экономическом техникуме, в вечернем

отделении, в течение двух лет, но ввиду двухсменности работы и женитьбы был вынужден бросить учебу.

Бедный Ефим-Хаим. Не стал он агентом, военным, счетоводом, торговцем, бухгалтером. Даже путным рабочим он стать не смог. Вступил, правда, в компартию, но и оттуда его поперли в 1935 году «за сокрытие социального происхождения». Кто-то из земляков настучал на буржуйского сынка.

Получилось у Яновского то, что получалось у всех его предков. Он женился и стал отцом мальчика и девочки. Женившись и отдав партбилет, Ефим-Хаим потерял революционный запал. Глаза его перестали гореть, а штаны сваливаться, но старший сын торговца зерном принял свое больное время и покорился ему. В чужом городе, в чуждой среде романтика борьбы за передел мира сменилась тупой покорностью в жизни пошлой, тяжелой, отличной от прежней доли только повальной бедностью и беспросветной ложью. Штрафы Хаим-Ефим не платил. Он состоял членом всевозможных организаций.

Чернорабочий завода им. Энгельса был сразу же записан в общество «Рабочий патронат “Друг детей”». Платил чернорабочий за честь быть «другом» по 30 коп. в месяц, в военно-научное общество отдавал гривенник, за право быть членом Профсоюза рабочих-металлистов – 2 рубля ежемесячно, членом МОПРа (Международной организации помощи борцам революции) Яновский стал, поддерживая огонь мировой революции 15 копейками в квартал. Деньги небольшие, но членский билет он имел под номером 489036. В 1926 году получил Ефим Леонидович красивую книжечку с профилем почившего вождя на обложке и стал еще одним членом Ленинградского рабочего общества смычки города с деревней. Тут же, в книжечке, и объяснялось чернорабочему, за что отдает он этой «смычке» 15 копеек в месяц:

> *«Город давал деревне при капитализме то, что ее развращало политически, экономически, нравственно, физически и т. п. Город у нас, само собой, начинает давать деревне прямо обратное». (Ленин)*

В цитате этой самое замечательное – два словечка «само собой». После гражданской бойни, разрухи и голода – «прямо обратное». И верно, стоит только поставить закорючку подписи под «договорчиком», а все остальное придет «само собой». За право жить впроголодь, в вечном страхе и мерзости, послушное население отдавало кровавой власти свою душу.

Главные «корочки» получил бывший Хаим в 1940 году. На

обложке красной книжицы значилось:

Союз Воинствующих Безбожников С.С.С.Р
членский билет 6073430,
Фамилия – Яновский,
имя – Ефим,
отчество – Леонидович,
вступительный взнос – 15 копеек.

Любой владелец билета платил по 1 рублю 25 копеек в квартал. Шли эти денежки, надо думать, прямо в банк сатаны. Дьяволу платил несчастный Яновский – силе, превратившей его в ничто.

Шесть миллионов граждан стояли впереди Ефима Леонидовича. Сколько их появится еще, до начала самой страшной войны с «воинствующими безбожниками» по другую сторону границы?

В 1935 году составил Яновский подробную анкету. Страшная существовала некогда бумаженция из 30 пунктов с подпунктами. Государство не нуждалось в живом и свободном человеке. Каждый был заключенным огромного концлагеря, именуемого СССР, в котором охранники общались с населением на языке допроса:

Состояли ли раньше в каких-либо политических партиях, в каких именно, где, когда и причина выхода.

Принадлежали ли к антипартийным группировкам, разделяли ли антипартийные взгляды вы и ваши ближайшие родственники?..

Были ли за границей, если были, то на какие средства существовали?

Кем были ваши отец с матерью, а также родители жены?

Принимали ли участие в Великой Октябрьской революции и служили ли в старой армии?..

Эти «ли-ли-ли-ли», как удары гонга в пустоте, как звон колоколов на похоронах превращенного и приговоренного гражданина «самой свободной страны мира» заставляли писать доносы на самого себя…

Эволюция неизбежна и плодотворна. Только революции обладают смертоносной дозой облучения, способной вызвать в человеке мгновенную нравственную мутацию…

В последних числах июля 1941 года Яновского убило

осколком германской мины у бревенчатой стены хлева. Ефим Леонидович вышел на воздух облегчиться, но успел только протянуть руку к ширинке… Об этом событии документов не сохранилось. Как и о самом главном в жизни Хаима-Ефима, успешно превращенного проклятым временем в бездыханный труп.

Летние грозы отмывали и преображали пыльное местечко. Кипу тогда носил маленький Хаим, а не партбилет. Босиком, по лужам мчался он к яблоневому саду деда. После грозы там, на холодной и мокрой траве, лежали сбитые ненастьем яблоки. Плоды эти принадлежали только ему – Хаиму. Весь случайный урожай был его собственностью. Малышу казалось, что родились эти яблоки от грозы, упали с неба. Хаим ласкал прохладную тяжесть в ладонях и медлил, сколько хватало сил, с первым надкусом. Потом он сидел на отмытой траве, в центре чистого и счастливого мира. Он смотрел на далекую радугу и знал тогда, что радуга эта – знак согласия между Б-гом и человеком…

Ефим Леонидович Яновский не умел мочиться на людях. Ему нельзя было выходить из хлева по малой нужде. Ефима пробовали остановить солдаты отступающей роты, но он все равно вышел на воздух, дождавшись конца грозы. Вышел без страха и с чистым сердцем, когда в окрестных садах падали на землю яблоки и ничего плохого не могло случиться…

Счастье, конечно, просто родиться в этом прекрасном мире. Еще бы угадать – когда.

1997 г.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Недавно прочел статью, в которой доказывалось, что Древней Греции не существовало, а «копиист» Рим как раз и был подлинником всяких античных чудес. Подобной «сенсационной» литературы всегда было в избытке. Утверждалось, что татаро-монгольское иго – миф, что инквизиция никогда не разжигала костры, и Холокоста никакого не было, а евреи Европы сами вымерли по причине эпидемии тифа. Подобное не похоже на форму покаяния и следствие мук совести, Все эти попытки доказывают только одно: готовится новое рабство, новое иго, новые костры и новый геноцид…

Тысяча лет пройдет, и какой-нибудь писака сочинит «научный» труд, в котором легко докажет, что никогда не существовало нацизма в Германии и большевизма в России, Гитлер был всего лишь известным литератором и архитектором, а под кличкой Сталин скрывался медицинский феномен, долгожитель, человек проживший 182 года – Лазарь Моисеевич Каганович. На самом деле все было на белом свете, а потому и герой данного рассказа существовал. Свидетелей тому предостаточно. Вот и я постарался записать эту историю на манер свидетельского показания, также просто, как она была рассказана мне.

Хейфец Вениамин считался хирургом от Бога, а Соколовский стал врачом случайно.

В январе 1953 года «случайный врач» написал донос, в котором сообщал компетентным органам, что его коллега неправильным лечением умертвил генерала Кубасова, а также способствовал преждевременной кончине еще ряда ответственных работников областного и районного масштаба. Донос попал к сыну главного врача больницы, старшему лейтенанту КГБ Агапову, и сын, в нарушение всех правил, сообщил отцу краткое содержание доноса. Чекист сделал это, потому что доктор Хейфец спас ему жизнь, когда младший Агапов вернулся тяжелораненым с фронта.

Главный врач сразу же вызвал Хейфеца в свой кабинет.

– Что там было с Кубасовым? – спросил он.

– Он умер, – ответил хирург.

– Я помню это. Причина?

– Острая коронарная недостаточность. Мы сделали все, что могли. Федор Николаевич, а почему вдруг?

– Пойдешь в отпуск, – вместо ответа распорядился главный врач.

– Зимой? – удивился Хейфец.

– Да, и немедленно… С завтрашнего дня.

– Но у меня больные… Плановые операции…

– Завтра утром ты должен уехать из города, – сказал Агапов, – и как можно дальше.

Хейфец был из породы трудоголиков, в политике разбирался слабо, но и он что-то слышал о процессе «убийц в белых халатах». Хирург сел за стол главного и написал заявление с просьбой о предоставлении очередного отпуска по семейным обстоятельствам. Агапов сразу заявление подписал и сказал, что позвонит и распорядится о выдаче отпускных денег. У двери Хейфец замешкался, затем повернулся к начальству и поблагодарил Агапова. Главный врач промолчал, сделав вид, что ничего не услышал.

Утром Хейфец уехал, взяв с собой шестилетнего сына Антона. Мать ребенка умерла родами, и хирург воспитывал мальчика сам, но с деятельной помощью соседки, Алевтины Георгиевны, доброй одинокой женщины средних лет.

Соседка пробовала воспротивиться такому шагу, потому что сын Хейфеца страдал ангинами, и зимнее путешествие ребенку могло повредить, но отец сказал, что они едут на юг, там тепло, и мальчик, как раз напротив, поправит свое здоровье.

На самом деле он взял билет на поезд, идущий в западном направлении. Через сутки отец и сын прибыли в городок, на родину доктора Хейфеца, где он родился и жил до самого поступления в медицинский институт.

Городок этот был оккупирован фашистами на третий день войны, вся родня хирурга погибла, о чем и сообщил ему сосед, друг детства, Шамайло Тимофей Фомич, письменно, летом 1945 года. Сам Шамайло воевал в партизанах до осени 43-го года, потом вместе с Красной армией дошел до Праги, вскоре был демобилизован, вернулся домой и стал работать на местном сахарном заводе…

Отец и сын постояли у дома Хейфеца, где теперь жили совсем другие люди, а потом перешли заснеженную улицу, освещенную единственным фонарем на углу, и постучали в калитку высокого забора дома напротив. Сразу же хрипло и зло подал голос цепной пес, но смолк послушно, остановленный резким приказом. Звякнул засов – и сам Шамайло открыл гостям калитку. (По раннему времени он еще не успел уйти на работу.)

– Кто такие? – спросил хозяин, щурясь.

– Это я, Тимош, – ответил Хейфец, – Веня.

Шамайло отшатнулся, как от призрака, потом, всхлипнув, прижал щуплого доктора к своей могучей атлетической груди.

– Мой сын, – сказал хирург, высвободившись, – Антоном зовут… Я в отпуск, Тимош… Вот решил родные места навестить. Поживу у тебя, если не возражаешь?

Шамайло не возражал. Был он человеком хоть и крупным, но негромким, а семью имел и вовсе тихую – жену и дочку пять лет.

Он ушел на работу, оставив гостей заботам жены, и Хейфец, завтракая яичницей на сале, расспросил у Татьяны (так звали жену хозяина), кто теперь живет в его родительском доме.

Оказалось, что поселились там многодетные бедные люди. Отец семейства – инвалид, потерявший ногу в войне с японцами, а раньше все они жили в соседней деревушке, сожженной немцами дотла за связь с партизанами.

Дети понравились друг другу. Девочка показала Антону своих тряпичных кукол, а мальчик сказал, что может нарисовать ее портрет. Чистой бумаги в доме не оказалось, но нашелся карандаш, и Антон нарисовал дочь Шамайло на обложке брошюры – руководства по складированию сахарной свеклы. Рисунок он сделал удачный, и все потом радовались этому рисунку и говорили, что сын Хейфеца обязательно станет знаменитым художником и, возможно, получит Сталинскую премию за свое искусство.

После завтрака Хейфец взял детей и отправился на прогулку по родному городку. Он узнавал дома и улицы, водокачку, торговый ряд на центральной площади, но людей совсем не узнавал, потому что до войны в местечке этом жили в основном евреи, а теперь ему встретилось по пути всего одно еврейское лицо, да и то совершенно незнакомое хирургу.

Хейфец с детьми направился к школе, а потом вдруг подумал, что совсем необязательно афишировать свое присутствие в городке, и ограничился пустыми рядами базара и синагогой неподалеку. От синагоги мало что осталось – одна кирпичная стена с окном без стекол, но во дворе, по странной случайности, сохранился навес с железной раковиной и ржавым краном, Здесь, до 32-го года, отец Хейфеца резал кур. Он был резником и один в городке имел на это право. Потом синагогу закрыли, но старший Хейфец продолжал обслуживать население вплоть до начала войны…

Дети покорно шли рядом с Хейфецем, и ему было тепло от детских ладоней в рукавицах.

Так начался зимний отпуск хирурга. Гость с нетерпением ждал возвращения Шамайло, чтобы узнать подробности гибели своей семьи. Он обрадовался, что Тимофей пришел поздно, дети к

тому времени крепко заснули. Хирург выложил на стол городскую водку и колбасу, хозяйка отварила картошку и подала ее, дымящуюся, на большом блюде. Блюдо, украшенное поблекшими цветами, гость узнал, а хозяин и не стал отпираться.

– Как их… это… повел немец на Фрунзе, мамка твоя забежала, блюдо это сует и говорит: «Бери, Тимофей, на память о нас и за все хорошее».

Шамайло рассказал, что евреев всех собрали на улице Фрунзе и держали там изолированно почти год, до весны 42-го. Людей из гетто использовали на лесозаготовках, но кормили очень плохо, и многие умерли еще до АКЦИИ, потом всех отвели в старый карьер и там расстреляли ночью из пулемета. В живых к тому времени осталось не больше пяти сотен, но сосед знал, что мать Вениамина и его младшая сестра не умерли с голоду, а лежат в карьере… Потом он рассказал о себе, как в тяжелые зимние месяцы собирал харчи для партизан, как немцы узнали об этом. Отца и мать Тимофея убили сразу, а его забрали в полицию, там били и требовали, чтобы он указал местонахождение партизанской базы, но Шамайло ничего не выдал врагам, а потом ему удалось бежать…

– Там, в карьере, есть что-нибудь? – спросил Хейфец.

– Ничего, – ответил хозяин, – вот только… березу я посадил на откосе, уже после войны.

– Завтра сходим, – попросил Хейфец.

– Завтра никак, в воскресенье, – сказал Шамайло.

Но в этот день случилось непредвиденное: Антону стало холодно, и он залез в будку злобного цепного пса. Мальчик не боялся собак. Он вообще ничего не боялся, потому что родился смелым, и у него совсем не было опыта страха.

Антон сидел в конуре, прижавшись к всклокоченной, вонючей шерсти животного, и пес постепенно перестал рычать и даже лизнул мальчика в щеку. Сын Хейфеца заснул в конуре и, когда к хозяину зашли чужие люди с какой-то просьбой, пес не стал выбираться на свет, лаять и греметь цепью. Он не решился потревожить мальчика.

– Спортили мне собаку, – сказал тогда Шамайло.

Он взял охотничье ружье, заменил цепь поводком и направился прочь со двора.

– Что ты хочешь делать? – спросил обеспокоенный Хейфец.

– Пошли, узнаешь, – буркнул хозяин.

Они долго брели через поле, к лесу. Место было открытое, ветер уносил снег, и по твердому насту им было нетрудно идти.

В лесу выручила протоптанная тропинка. По ней они и выбрались к карьеру, где еще до войны рыли песок для нужд

цементного завода.

– Вот здесь, – сказал Шамайло и привязал пса к стволу березы.

– Мама здесь? – тихо спросил Вениамин Хейфец.

– И Дорочка, – сказал Тимофей.

И от того, как было произнесено имя сестры, Хейфец не смог сдержаться, и заплакал, наверное, впервые со дня смерти жены и рождения сына.

Он не нашел в кармане платок и вытер глаза ладонью.

– Я твою сестру… это… любил крепко, – сказал Тимофей.

– Я не знал, – прокашлявшись, отозвался Хейфец.

– Она меня тоже любила, – сказал Тимофей, – я им в гетто харч таскал… Бульбу там, свеклу…

– Спасибо, – сказал Хейфец. Место это казалось ему страшным еще и потому, что на дне карьера лежал снег, могила была холодной, и ничто не отмечало ее, кроме памяти Шамайло, а теперь и его, Хейфеца, памяти… Он вспомнил о березе и поднял глаза. К дереву была привязана собака.

– Отвяжи ее, – попросил Хейфец.

Шамайло не ответил, он думал о своем. Он смотрел в другую сторону и сказал гостю, не поворачиваясь к нему:

– Это я их убил… всех.

– Что ты сказал? – не понял Хейфец.

– Я… это, – повторил Шамайло, повернувшись к гостю.

– Не понимаю, – сказал гость.

– Чего там понимать… Били тогда… Молчал, знал, что долго размовлять не будут – шлепнут, но молчал, никого не выдал… Они ночью пришли в камеру пьяные и рыгочут, что Великая Германия мне оказала особую честь покончить жидив. Дали минуту на думу, а потом, значит, пулю за отказ – там же, в камере… Выпить дали самогону… Вот здесь пулемет стоял станковый, где березка. Фриц надо мной топтался, с пистолетом, на всякий случай… Грузовики светили фарами. У ваших уже и сил не было, чтобы бежать, а так можно было: ночь… Меня никто снизу не видел. И я никого не видел, видеть не хотел… Потом полицаи внизу достреливали шевеление всякое… Опосля они меня отпустили, но сказали, чтобы домой не шел… Я в лес подался… Вот и все…

Хейфец сел на землю, захватил снег в пригоршню и стал растирать им глаза, лоб и щеки.

– Я Дорочку убил, – сказал Шамайло, – и твою маму… Держи ружье, можешь и меня убить. – Тимофей чуть ли не силой поднял гостя на ноги и заставил взять оружие. – Стрелять умеешь?

Хейфец кивнул.

– Ну, стреляй!

Он стоял перед гостем. Мел смертельной бледности покрыл щеки Шамайло, в глазах его уже не было жизни.

– Я не смогу, – сказал Хейфец.

– Сука! Трус! Правильно вас! Стреляй, гад! Жидовская морда! – заорал хозяин.

– Не могу, – повторил Хейфец.

– Так, я счас, – вдруг засуетился Шамайло, – вот карандашик чернильный… Счас мы на «Беломоре»… «Прошу в моей смерти никого не винить»… Подпись, число… Какой нынче день, Венька?

– Пусть тебя судят, – прошептал Хейфец, – ты иди в милицию.

– Дурень, – сказал хозяин, – за что? За жидов? Ты сам долго не пробегаешь, газеты читай… Я орденоносец. Меня пионеры на сбор приглашают… Свидетелей нет… И… это… только ты меня казнить право имеешь.

– Я не палач, – сказал гость, – живи с этим, если можешь.

Хейфец ушел вперед. Но вскоре услышал выстрел и повернулся на звук. Шамайло стоял у березы живой. Он выстрелил в собаку, но сделал это плохо, только ранил животное. Пес визжал от боли, и тогда хозяин выстрелил в собаку вторично.

Антон долго прощался с девочкой и приглашал ее в гости, а жена Шамайло Татьяна крепко поцеловала на прощание сына хирурга… Они успели на воскресный поезд и через день были дома.

Наутро Хейфеца арестовали, но сын Агапова сделал все, чтобы затянуть следствие. А потом умер Сталин, и люди в России перестали повсеместно мучить друг друга с таким рвением, как прежде.

Хейфеца освободили, и он сразу же приступил к работе, потому что сложных случаев в больнице накопилось много, а «случайный врач» Соколовский уволился, написав заявление об уходе «по собственному желанию». Он испугался последствий своей «бдительности». Город был невелик, все в нем знали друг друга, и доносчик был убежден, что местные евреи ему отомстят: отравят или даже пристрелят, будто бы случайно, «по шороху» – на его любимой охоте за кабаном.

2000 г.

Кошелек

Рассказ солдата

Сплю я крепко, но тут проснулся среди ночи. Слышу – всхлипывает кто-то и громко всхлипывает. Ясно кто – Нафтали. Он мой сосед по комнате. Слушайте, если здоровый мужик по ночам слезы льет – это, я считаю, событие. Тут надо разобраться.

Но прежде о Нафтали. Парень – мой дружок хороший, но вырос в теплице. Нет, он как раз не кибуцник, а городской, но родился в семье богатого промышленника, сестер-братьев никогда не имел и вырос не то что балованным парнем, но каким-то не от мира сего. Его, видать, от всякой пакости берегли, охраняли. Отца его видел – нормальный мужик, а как иначе бизнесом заниматься. Матушка Нафтали – это совсем другое дело. Такое нежное создание с тихой улыбкой. Думаю, это он от матери набрался оранжерейного воспитания.

Нафтали, похоже, и в школу-то не ходил – дома учился. И сразу, из домашнего уюта, попал в боевые части. Но ничего, все выдерживал, даже как-то весело тянул солдатскую лямку. Тиранут[1] прошел отлично. Помню, весь ночной кросс по пустыне тащил за спиной пуд ленточного пулемета «МАГ». Пятьдесят два километра тащил по бездорожью. Все в общем нормально было, только на каждую обычную черноту-негатив реагировал Нафтали так, будто до того и не знал, что этот негатив в мире – дело обычное.

Доходило до полной ерунды. Вот, например, отдают ему приказ вполне нормальным тоном, а он и говорит офицеру:

– Не надо на меня кричать, убедительно тебя прошу.

Один раз пошли мы на дискотеку, а там он одной девчонке понравился очень. Ее Риной звали. Так мне потом эта Рина и говорит:

– Твой приятель, он что – сумасшедший?

– Это, – спрашиваю, – почему ты так решила?

– А он мне сказал, что поцеловать меня не может, потому что не испытывает ко мне чувства любви.

Помню, в Ливане он, в плечо раненный, рану скрыл и в вертолет забрался последним, да еще другим помогал. Я тогда удивился и спросил, чего это он скромничает, а Нафтали ответил, что он и раненый – сильнее многих здоровых. Это было правдой. Таким он был силачом, при всем своем тепличном воспитании. Я таких редко встречал. В общем лежит этот амбал, не спит, а рыдает, как девочка.

– Ты чего? – спрашиваю. Сразу замолчал, только, помолчав,

вздохнул тяжко. Тогда я вылез из мешка спального. Холодина была, дождь на улице хлестал. Очень, помню, не хотелось вылезать. Прошлепал к лежанке Нафтали, сел рядом. – Болит чего? – спрашиваю.

– Нет… Иди спать, – отвечает.

– А чего плакал?

– Тебе показалось.

Ну не хочет человек откровенничать – его право. Я встал, но тут Нафтали и говорит:

– У меня кошелек украли.

– С документами? – спрашиваю.

– Там все было.

– И деньги?

– Пятьдесят шекелей.

– Ладно, переживешь, – говорю. – Только в полицию сообщить надо и в банк.

– Ты ничего не понимаешь, – снова всхлипывает Нафтали. – Не в деньгах дело и документах.

– А в чем еще?

– Я его подвез. Он тоже солдат. Такой парень хороший. Так говорил хорошо. Мы с ним за час подружились. Он вышел на перекрестке, а я потом ищу кошелек – и нет его. Он между нами лежал. Он всегда там лежит.

Дело в том, что у Нафтали своя роскошная машина. Он на ней домой ездит, в Тель-Авив. Всех всегда возит и на обратном пути таких же, как он, солдатиков подсаживает.

– Ты проверял, – говорю я. – Может, кошелек дома забыл?

– Все перерыли – Нафтали даже из мешка вылез до пояса и сел. – Понимаешь, такое у того парнишки лицо хорошее было и улыбка. Он мне сказал, что у него сестра есть – красавица, и он хочет свою сестру со мной познакомить, потому что я ему тоже очень и сразу понравился.

– А как зовут, сказал?

– Кого, сестру?

– Да нет, этого, с трампа?[2]

– Нет… Погоди, он сказал, что в школе у него была кличка – Груша. И правда, что-то у него в лице было от груши: нижняя часть шире верхней…

– С документами, – говорю, – возни будет много.

– Да не в этом дело! – прямо-таки сердится на меня Нафтали. – Как же он мог? Ты мне скажи, как он мог? Документы ему мои ни к чему, а деньги я бы и так ему дал, если бы попросил. Как можно брать чужое?

– Наф, – говорю я. – Ты спи сейчас, а утром разберемся.

Ночью нельзя горевать, потому что темно, холодно и дождь, а утром будет солнце – и мы разберемся обязательно, а люди разные бывают.

– И воры такие? – тихо спрашивает этот чертов ангел. Тут я не выдержал, да как заору:

– И воры, и бандиты, и шлюхи, и насильники, и такие придурки, как ты! Перестань реветь! И спи! Завтра разберемся.

Нафтали, похоже, моего крика испугался. Залез в мешок и затих. Утром мне в увольнительную. Я уже размечтался, как мы с моей девушкой… Нет, зря размечтался. Уже ночью понял, что с любовным делом придется подождать.

Было нетрудно вычислить, у какой базы Нафтали высадил того воришку. Подкатил на перекресток тремпом, потом пешком протопал километра три. База как база.

Лейтенанта по кадрам нашел в офисе. Эта публика всегда важничает, и тот офицер сначала сделал вид, что занят, но на самом деле не знал этот толстяк лысый, куда время девать. Он мне чем-то понравился. Так понравился, что все лейтенанту и рассказал про нашего ненормального Нафтали. Хорошо вышло, потому что кадровик о нашем силаче слышал всякие добрые слова. Потом я ему описал эту самую «грушу». Лейтенант долго не слушал.

– Есть такой, – сразу сказал этот командир над кадрами. – Он мог. Вызвать полицию? Сделаем обыск.

– Не надо, – сказал я. – Сами разберемся. Где его найти?

Груша на складе тюки таскал с новым барахлом для новобранцев. Лейтенант сразу ушел, так что мы вдвоем остались в ангаре. Я подонку этому сначала помог сгрузить тюки на тележку. Груша все принял, как должное, даже как-то сразу от дела отстранился и покрикивать на меня стал. Хорош гусь, а?

– Перекур, – сказал я, сел на тюки и достал сигарету. Этого негодяя тоже пришлось угостить. Потом я сказал:

– Знаешь, парень, есть люди, которых нельзя обижать, – большой это грех. Это как малого ребенка кровно обидеть. Ты меня понимаешь?

Тут он насторожился.

– Ты кто? – спрашивает.

– Сержант Кранц, – говорю. – Друг Нафтали – человека, у которого ты кошелек спер.

Он встал так резко, что руку обжег окурком, кистью стал трясти и дуть на пальцы. А потом просто и молча двинулся к выходу со склада.

Ты видишь – роста во мне немного, но всегда этим мучился и наращивал мышечную массу. Меня в родном городе Ташкенте

сызмала обижали за этот самый рост и не ту национальность. Потом обижать перестали. Так что такую «грушу» отрясти – дел на минуту.

Ворюга этот стал орать, будто я его не только «отряс», но и сожрать вознамерился. Тут сразу лейтенант-кадровик появился. Глянул он на нас безучастно – и вышел, плотно прикрыв за собой тяжелые ворота.

Тогда негодяю этому говорю:

– Слышь, друг, я тебя сейчас долго буду мучить, делать больно. Я это люблю с детства. Причем умею делать это без всяких следов.

Груша попробовал вырваться, даже ткнул мне в нос вялым кулачком, но почти сразу понял, что дергаться бесполезно, – и затих.

Я, сидя на нем сверху, так сказал:

– Хотел же миром, без полиции и обыска. Сошлись – разойдемся – и все дела. Что ж ты такой несмышленый оказался?

Тогда этот сукин сын говорит:

– Деньги я потратил… И слезь с меня.

Я слез. Потом мы отправились в его берлогу. Груша кошель не сразу нашел. Копался долго под койкой, что-то передвигал, кряхтел, потом еще вздохнул, там ползая и себя жалея:

– Вот дурак, что сразу не выбросил. Кожа хорошая, надо было выбросить.

Он вылез с кошельком. Тут я не выдержал и оставил-таки след на его физиономии. Потом сказал: если услышу о каком воровстве при трампе, сразу к нему приду – разбираться. Что дальше? Да ничего особенного. Вернулся я на нашу базу в обед. Нафтали в комнате не было. Я и засунул его кошелек за тумбочку, только предварительно положил туда свои пятьдесят шекелей. И сам отправился обедать.

Нафтали удивился.

– Я думал, – говорит, – что ты уже дома.

– Вернулся, – говорю. – Слушай, а ты не мог в затмении кошелек свой из машины забрать и куда-то его… Ну, понимаешь?

– Нет, не мог, – твердо отвечает Нафтали.

– И все-таки, – настаиваю. – В комнате нашей надо пошуровать на всякий случай.

Долго пришлось Нафтали уговаривать, еле он согласился. Кошелек свой за тумбочкой нашел сразу и вопить стал, будто миллион в лото выиграл.

– Да как же я мог, как же я забыл?! – причитает. – Нет, быть того не может!

Стал он в кошельке копаться и вдруг насторожился.

– Слушай, – говорит. – Деньги здесь, но одной бумажкой, а у меня была пара двадцаток и десять шекелей – монетой. Я точно помню… Ничего не понимаю.

– Плохо у тебя стало с памятью, Нафтали, – говорю. – К врачу надо. Ты же помнил, к примеру, что кошель у тебя в машине лежал, а он здесь оказался.

Сидит Нафтали, сгорбившись, «закрыв» себя могучими плечами, кошелек раскрытый на коленях, головой покачивает, как старик на молитве. И в голосе снова слеза.

– Как же я мог, – говорит. – На такого хорошего человека подумал, что он – вор. А он еще хотел меня с сестрой своей познакомить. Надо его найти и извиниться, обязательно это сделаю.

Вот это, думаю, фишки!

– За что, – спрашиваю, – извиняться? Этот парень ни сном ни духом, что ты о нем так плохо подумал. Он себе живет-служит тихо, спокойно, а ты его только расстроишь своей ошибкой и подозрением.

– Верно, – сразу же соглашается со мной этот ненормальный и тут, распрямившись, поворачивает ко мне сияющее свое личико: – А ты говорил, что все люди – бандиты, насильники, шлюхи и воры. Получается, что не все. А я совсем не придурок, как ты сказал. Бери свои слова обратно!

Хотел я этого ненормального опять послать подальше, но потом передумал. Если человека в теплице вырастили, нельзя его сразу в открытый грунт пересаживать. Опасно это – завянет такой росточек, хоть и роста в нем под два метра и кулачища дай Бог каждому.

1997 г.

Некоторые обстоятельства

Гражданка Израиля Элла Нурик весной 2003 года получила странное письмо из Белгорода: «Не будучи знаком с Вами, уважаемая Элла Исааковна, все-таки решился составить это сообщение, – писал отправитель. – Я – Сергей Иванович Потапов, 1933 года рождения, при некоторых обстоятельствах обнаружил запечатанный воском патрон на месте боев в нашей области. В патроне была найдена записка с данными погибшего красноармейца Исаака Абрамовича Флейшера. Я лично предпринял некоторые розыскные действия, в ходе которых выяснил, что Исаак Флейшер, год рождения 1912, место рождения г. Херсон, является Вашим отцом. В том случае, если мои данные верны, готов при визите в Государство Израиль встретиться с Вами и передать лично Вам в руки эту священную реликвию. С самыми добрыми пожеланиями, Сергей Потапов».

Теперь я должен рассказать, что за человек Элла Нурик, чей адрес в городе Бат-Ям был выведен крупным почерком на конверте письма.

Элла осиротела в ходе войны: отец ее пропал без вести летом 1943 года, а мать погибла сразу после войны на работах по лесосплаву. Близкие родственники сгорели в огне Холокоста. Элла Флейшер попала в детский дом тринадцати лет от роду. Дом оказался обычным по тем послевоенным временам, а потому, во многом, и судьба Эллы сложилась далеко не лучшим образом. Озлобленная на весь мир девушка-красавица пошла по дурной дорожке и к 1958 году «отмотала» пятилетний срок на зоне за воровство.

Спасла Эллу любовь военного человека, еврея – Бориса Нурика. Характер женщины оказался восприимчивым к покою, заботе и ласке. Часть ночи, после того как Нурик сделал ей предложение, Элла Флейшер горько проплакала, а утром проснулась без ощущения привычной горечи, радуясь наступающему дню.

– У тебя, Эллочка, лицо стало совсем другим, – сказал ей тогда Борис.

Это и в самом деле было так. С новым лицом Элла пошла учиться, закончила техникум и проработала технологом на местном металлургическом заводе почти сорок лет. Дети у Флейшеров родились друг за другом – в 1960 и 62-м годах, девочка и мальчик. Все складывалось в дальнейшей жизни Эллы как обычно, без особых проблем и событий. Но в 1981 году после продолжительной болезни умер ее муж, не дожив и до

шестидесяти лет.

Элла тяжело переживала смерть Бориса, но горе свое не выказывала при посторонних и детях. Трудная судьба научила ее сдержанности, даже суровой сдержанности, которую малознакомые люди принимали за черствость характера и даже жестокость, обычную для людей с тяжелым детством и криминальной юностью.

Так вот, Элла Нурик прочла послание из Белгорода будто это была квитанция на оплату за электричество. И сунула письмо в деревянную распорку, где лежали эти самые оплаченные квитанции, потом вышла на балкон своей квартиры и закурила. Элле понадобилась не одна, а три сигареты, чтобы прийти в себя.

Ей исполнилось семьдесят лет, но до сих пор она не могла простить своим родителям их смерть и то, что подростком попала в ад послевоенного детского дома. «Я ненавижу вас! – немо кричала она тогда в вонючую, грязную подушку. – Ненавижу!»

И вот теперь обида вновь возникла в сердце пожилой женщины, но продолжалось это недолго, и Элла вдруг решила, что полученное письмо – весточка от отца, который просит у нее прощения за то, что не смог сберечь себя на фронтах страшной войны с нацизмом.

Выкурив третью сигарету, Элла Нурик вернулась в холл, села за письменный стол и, не раздумывая долго, сочинила ответ Сергею Потапову:

«Уважаемый г. Потапов! Спасибо за память о моем отце. Буду рада встретиться с вами в Израиле. Элла Нурик». И все. Она не стала расшаркиваться перед незнакомцем. Решив так: если он человек добрый – не обидится, а если злой – то и комплименты в этом случае не помогут.

Теперь о том, как в руки Потапова попал патрон с запиской Исаака Флейшера. Его сын – Дмитрий Потапов – зарабатывал себе на жизнь «черной археологией». Раньше он служил шофером в райкоме партии, возил начальство, а с 1994 года занялся новым и весьма прибыльным делом.

Человек обстоятельный и серьезный – Дмитрий – начал с того, что приобрел необходимые знания и инструменты для успешного ведения дела. Он стал читать труды генералов и военных историков. И не просто читать, а внимательно прорабатывать найденный материал. Затем он составил подробные топографические карты и приобрел современный металлоискатель. Младший Потапов не рискнул работать в одиночку. Он прекрасно знал буйный характер местных «черных археологов», но постепенно, благодаря «научному» подходу и связям с «братвой», добился определенной независимости и

перестал работать на «общий котел».

Специализацией Дмитрия Потапова стало оружие. В лесах и окрестных полях его было множество. Глинистая почва способствовала сохранности металла. Впрочем, он только чистил найденное оружие. Его реставрацией, переделкой и продажей занимались другие люди в специальной мастерской. Потапов даже не знал, где она, эта мастерская, находится. Каждую неделю он встречался с посредником, отдавал ему «улов» и получал вознаграждение, как правило, в валюте.

Попадалось Потапову, конечно, не только оружие, но и памятные знаки погибших солдат. Причем не одних солдат Красной армии, но и немцев. На знаках тоже можно было заработать, но этими реликвиями Дмитрий не занимался. Он сдавал их другим «черным археологам» и тем самым гарантировал свой покой при основном направлении бизнеса.

Иногда, из досужего любопытства, он вскрывал найденные солдатские памятки. Вот и патрон с запиской Исаака Флейшера вскрыл.

– Жидок попался, – сказал он отцу. – Исачок… Слушай, может, торгануть записочкой этой? Евреи – народ богатый – расплатятся.

– Все они, что ли, богатые? – насупившись, спросил Сергей Потапов.

– Все, даже бедные, – решительно ответил «черный археолог».

Надо сказать, что отец Дмитрия антисемитом не был. Он просто по складу своего характера не мог им быть. На эту тему Сергей Потапов часто спорил с сыном еще в советские времена. И вообще, отношения между ними никогда нельзя было назвать мирными и спокойными. Яблоко от яблони далеко упало – бывает и такое.

Не любил, если уж честно, старик сына. Он внуков любил безмерно, а потому и навещал часто семью Дмитрия. И вот во время такого визита и произошел у них разговор по поводу патрона с данными на красноармейца Флейшера.

– Подлость это! – сказал тогда Николай Потапов. – Человек погиб за родину, а ты его памятью торгануть хочешь. Подлость это и негодяйство.

– Ты, папаша, глубоко не прав, – сказал сынок. – И пролежал бы этот патрончик до скончания века. Я работал, я его отрыл. Я, может, радость этим его жиденятам доставлю. Почему даром?

– Глаза бы мои тебя не видели пожизненно, – сказал старик. – Отдай мне этот патрон.

– Еще чего!

– Тогда продай.

– Сто баксов.

Сергей Потапов бедным человеком не был. Всю жизнь он и его покойная супруга помнили о черном дне, жили по-спартански в своем доме на окраине города и имели солидное хозяйство на десяти сотках чернозема.

Сто долларов сын получил.

– И чего ты с этой писулькой делать намерен? – спросил он.

– Найду родных этого человека и отдам патрон, – сказал Николай Потапов. – Хоть твой грех, подлеца, немного замолю.

– Псих ты, папаша, – улыбнулся Дмитрий. – Честное слово, псих.

Завладев патроном, старик тут же отправил письмо по имеющемуся в записке адресу. Ответа он не получил и, подождав больше месяца, сам отправился в город Херсон.

Никого из Флейшеров он, естественно, не нашел, но совершенно случайно встретил в порту старика – рыбака и горького пьяницу. Старик этот Флейшеров помнил. Потапов распил с ним бутылку и в конце распития узнал, что жена красноармейца эвакуировалась с дочерью на Север и там, по сведениям старика, погибла, а дочь Флейшера была отправлена в детский дом. Рыбак дал адрес знакомой – пожилой женщины из Батайска, которая, он точно знал, переписывалась некоторое время после войны с женой Флейшера.

В общем затянули поиски Сергея Потапова. Та женщина в Батайске умерла несколько лет назад, но дочь ее оказалась бережливым человеком и нашла старику необходимое письмо, но не от самой Фаины Флейшер, а от ее подруги. Подруга писала, что «моя дорогая и любимая Фанечка погибла утонутием, а ее дочь приютил наш местный домок для сирот».

Еще месяц шел старик по следу Эллы Флейшер. И наконец, в его руках оказался адрес в Израиле, по которому он и отправил приведенное выше письмо.

Денег, потраченных на розыски, Потапов-старший не жалел. В долгих разъездах он перестал чувствовать острое и тоскливое одиночество безделья, от которого даже внуки не спасали.

Возможность отправиться по делу в далекую заморскую страну он воспринял тоже с радостью. Точку в его деле следовало поставить именно в Израиле.

Элла Нурик встретила Потапова в аэропорту и сразу спросила, где он намерен остановиться. «В гостинице, конечно», – ответил старик.

Элла промолчала и, только устроив гостя в своей машине, сухо произнесла, что он может пожить у нее.

Потом они сидели за столом, в холле квартиры Эллы Нурик-

Флейшер, и пожилая женщина читала и перечитывала строки, написанные рукой ее погибшего отца.

Она хотела вернуть старику патрон с запиской.

– Что вы? – удивился Потапов. – Это – ваше.

– Скажите, – строго спросила гостя Элла, – вы долго меня искали?

– Пришлось побегать, – улыбнулся старик.

– Зачем вам все это было нужно?

– Не знаю – Сергей Потапов пожал плечами. – Для равновесия, может, так… Сынок у меня… Ну, чтобы не было нарушения природы.

– Мои дети работают в США, – сказала Элла. – Они хорошие дети. Я человек не бедный и могла бы вернуть вам часть затраченных средств.

– Обидите кровно, – сказал Потапов.

Через две недели он улетел на родину, но спустя год вернулся в Израиль по приглашению Эллы Флейшер.

Для того чтобы зарегистрировать брак, старикам пришлось отправиться на Кипр. Элла ругала при этом израильские порядки, а Сергей Потапов был в глубине души рад еще одной возможности совершить не столь дальнее, но все-таки путешествие.

2002 г.

Потомок Грубого Джона

Ностальгией не все эмигранты болеют. Но те, кому эта болячка досталась, сильно мучаются, страдают. Им часто советуют съездить на родину – увидеть все чистым глазом и успокоиться, наконец.

Но я вам расскажу сейчас о человеке, с которым все получилось совсем иначе, и по причине не совсем обычной.

Среди женщин тоже попадаются умные люди, сказал он. А среди евреев хорошие, раздраженно дополнил я.

Он не понял меня и не обиделся. Зуся, как мне кажется, вообще не умел обижаться… или не считал нужным.

Зуся маленький человек и некрасивый. Только руки у Зуси на загляденье. Длинные пальцы, аккуратные ногти, даже цвет кожи на руках был какой-то особенный – благородного бронзового оттенка. Он всегда говорил: «Эти пальчики мне достались от другого гражданина, и совершенно случайно».

– Зуся, – спрашивал я. – Признайся честно: делаешь маникюр.

– Конечно, – говорил Зюся, улыбаясь всей своей невзрачной физиономией. – Еще массаж дважды в день, джакузи от Кузи, а на шабат езжу в Монте-Карло – крутить рулетку.

Зуся хорошо зарабатывал на Алмазной бирже Тель-Авива. Он мог себе позволить рулетку, но не позволял. Он вообще никогда в жизни не играл в азартные игры. Зуся говорил так:

– Я – сумасшедший, – как утверждает моя неверная жена Сима. – Из всех удовольствий жизни я выбираю работу.

И он работал, вытворяя своими пальчиками настоящие чудеса. Зуся сидел за стеклом в большом и сверкающем как новогодняя елка магазине, и, вооружившись оптикой разных систем, доводил драгоценные камни до полного блеска.

Все посетители заведения могли любоваться работой Зуси. Раньше он шлифовал брильянты без свидетелей, но потом его повысили, доверив общение с клиентом. Хозяева не прогадали. Маленький человек и большой мастер мгновенно догадывался, что от него хотят, и исполнял просимое с исключительной учтивостью и точностью.

Клиентами Зуси, как вы догадываетесь, были в основном капризные и состоятельные дамы, отсюда и его несколько скептическое и даже насмешливое отношение к женскому полу.

– Зуся, – спрашивал я. – Почему ты жену – Симу подозреваешь в неверности?

– Для гармонии, – отвечал Зуся. – Пусть она думает, что я ее ревную, как Отелло. Пусть она гордится, что ее подозревают во

всех смертных грехах.

С Симой я знаком. Заподозрить ее даже в самом маленьком, микроскопическом грехе очень трудно. Как это обычно бывает – маленький Зуся выбрал себе в пару настоящую гренадершу с усами, и эта огромная женщина родила Зусе пятерых сыновей. Все дети выросли и преуспели в этой жизни. Даже самый младший – Давид – стал недавно победителем городской олимпиады по химии.

Зуся к детям своим относился скептически. Он говорил так, перечисляя их достоинства:

– Один – физик, другой – химик, третий – лирик, остальные два – полные засранцы.

Он их так обижал, потому что старшие сыновья давно покинули Израиль и работали в Канаде по научной части в каком-то крупном исследовательском центре.

Зуся в Израиле давно – ровно четверть века. Старшие его сыновья родились еще в России, а остальные трое – здесь, на земле предков.

Я так подробно остановился на его семейном положении и социальном статусе, чтобы стало понятным все остальное в этом рассказе. Главное, та странность в судьбе человека, ради которой и стоит пачкать бумагу.

Познакомились мы с Зусей в аэропорту. Встречал знакомых, но самолет из Москвы запаздывал. Зуся неслышно опустился рядом на твердое железное кресло. Так неслышно, будто это муха села, а не человек.

Наши глаза встретились. Мой сосед, видимо, встречей этой остался доволен и спросил:

– Московский ждете? – улыбнулся он, как я уже отмечал, всей своей некрасивой личиной. Бывает, люди улыбаются губами, глазами и даже морщинами, а Зуся улыбался именно всей физиономией. Казалось, что даже уши его оттопыренные смеются над вами.

– Жду, – сказал я. – Вы тоже?

– Нет, я улетаю, – ответил Зуся.

– Так вам не здесь находится нужно, а в зале отлета, – сказал я.

– А я люблю здесь, – продолжал улыбаться сосед. – Сумку сдал. Наверху тоска – одни магазины. А здесь весело: люди встречаются, целуются… Опять же фонтаны имеются и телевизор большой на стенке.

– Это верно, – сказал я. – Зал встреч лучше зала прощаний.

– Стишками балуетесь? – подозрительно покосился на меня Зуся и улыбаться перестал.

– Иногда, – сказал я. – Грешен. А вообще-то в газете работаю.

– Ну, ну, – задумчиво покачал ушастой головой Зуся, а потом пальчиками своими красивыми сделал так, как обычно делают пианисты перед началом игры, перед тем как опустить руки на клавиши. – Сами откуда будете?

Доложил – откуда, потом кратко пересказал анкету, но оборвал себя на полуслове, заметив, что сосед больше не расположен к разговору. Мы сидели рядом молча.

Потом Зуся сказал:

– Никогда не задумывались, почему птицы возвращаются к своим гнездам? Вот появился птенец весной где-нибудь на севере. Научится летать, жить своей жизнью. Зимой летит на юг, побудет в тепле и сытости несколько времени – и обратно за тысячи километров. Тяжко, мучительно, а птица возвращается к своему гнезду.

– Тоже стихи пописываете? – спросил я.

– Никогда не думал, – хмуро отозвался Зуся. – Ну, вы человек образованный, я вижу. Так что же наука говорит по этому поводу?

– Не знаю, – сказал я. – По-моему, это загадка неразрешимая. А потом, далеко не все птицы способны на перелет.

– В том-то и дело, – отозвался Зуся. – Даже птицы разными бывают, почему люди должны быть под лиловую копирку? Вот она, как заведенная, всякий год ворчит: «Куда ты, да куда?! И что ты там забыл? Деньги некуда девать? Лечиться тебе надо на курортах, а не…»

– Кто ворчит? – спросил я.

– Супруга моя неверная – Сима, – вздохнув, ответил Зуся. – Кто еще право имеет ворчать на нас – только жены.

– Насчет курорта ваша половина права, – сказал я. – Люди мы с вами не очень молодые, пора и о здоровье подумать.

– Так мне мои Ямцы лучше любой здравницы! – вновь засиял мой сосед, но вдруг вновь стал совершенно серьезен и перешел на шепот. – Я вам сейчас секрет открою научный. Он и для птицы годится, и для человека. Живая душа всю жизнь в детство просится, чтобы не стареть раньше срока. А где наше детство остается? Там, где родились и выросли. Где же еще? Вот я и летаю каждый год в свое детство. Как птица, например, селезень.

На селезня Зуся не был похож. Скорее, на воробья взъерошенного, а воробьи, как известно, домоседы. Мысль о возвращении в детство не показалась мне оригинальной, но была в ней, в связи с исходом нашим, некоторая острота и особый вкус, что ли.

– Хороший город Ямцы? – поинтересовался я.

– Спрашиваешь, – легко перешел на «ты» Зуся. – Скажу так: по

молодости лет я сионист был ярый. Первые годы в Израиле свою прошлую жизнь и не вспоминал. Да какие годы – целых пятнадцать лет. А потом открыли границу – и понял я, что должен в детство свое ехать, иначе сдохну раньше положенного срока. А это обидно, правда?

Я не спорил, а Зуся продолжил свой рассказ с упоением:

– Вот говорят: ностальгия, ностальгия, вроде как болезнь без причины. Ерунда все это. Причина есть, и самая понятная… Сима меня спрашивает первый раз: «Куда, старый дурак, намылился?» Я ей тогда ответил, что еду омолодиться. Она как закричит: «Найди себе молодуху у Таханы – и омолаживайся. Дешевле обойдется». Очень невоспитанная женщина – моя неверная жена Сима. Кстати, тоже уроженка нашего города Ямец. Но ей, что наш родной город, что Нью-Йорк – все равно… Нет, этот чужой совсем Нью-Йорк она больше уважает. Ну разве может такая женщина понять душу человека мужского пола? Нет, не может. Я в тот первый год поехал зачем? Чтобы вернуться в свои пятнадцать лет, когда мальчишечкой влюбился. В Москве, веришь, и день не задержался. Сел на электричку – и к нам. Стою в тамбуре, нюхая запахи, и сердце поет. Уже стал омолаживаться по дороге. Два часа стою в тамбуре. Народ толкается, шумит, курит, водяру лакает. Рожи вокруг – не дай Боже, а я омолаживаюсь… Ты слушай дальше… Когда мы в Израиль прилетели – совсем была другая страна. В автобусах курили, шелухи семечек по колено, урн мусорных на улице не было. А что теперь? За четверть века все другое – напрочь. Другая страна. Все другое… Это и хорошо и плохо. Вот родился человек, рос в какой-нибудь развалюхе, а теперь на этом месте дом высотный. Может он омолодиться, вернувшись в свое детство? Да никоим образом. Не сработает машина времени… А с Россией не так. Там, особенно в провинции, мало что меняется. Ну дерево подрастет, крыша прохудится, мосток отремонтируют, дорогу подлатают – вот и все… Веришь, за двадцать пять лет, каким наш вокзальчик был, таким и остался. Платформа с достройкой деревянной, домок с залом ожидания на две скамьи у стены, касса тут же, в простенке между печкой и окном. За окном старая береза. Так она и при мне в возрасте была.

От вокзала мы тогда и оправились в путешествие. У девчонки моей был велосипед, а у меня – только ноги. Зато моя тетка в вокзальной кассе билетами торговала, и стоял в ее закутке велосипед отличный, харьковского завода. Тетка на нем приезжала из поселка торфяников. Она там жила, еще с войны. Вот эта тетка – Лея – мне и давала покататься. Ровно на час, не больше. Очень она любила точность и порядок. Вот я свою

девушку и уговорил совершить путешествие по родным просторам. Крутим мы педали от вокзала. Она впереди, я сзади. Очень, тебе скажу, отличное зрелище, когда твоя любимая девочка впереди тебя крутит педали. Вот мы едем мимо складов, потом сворачиваем в перелесок, а дальше поле ржи в цвету. Ты знаешь, что такое рожь в цвету? Ну, это не важно… Поехали дальше. Велосипеда нет, и тетки моей Леи давно нет на свете. А поле это сохранилось. И вот я, старый дурак, иду через рожь по пыльной дороге к лесу – и омолаживаюсь, вспоминая, как мы с девочкой моей крутили педали… Знаешь, что у нас с собой было? Половина черного хлеба, два соленых огурца и фляжка с молоком. Как тебе такой обед? Я ничего вкуснее никогда в жизни не ел. Мы тогда расположились в дубовой роще. Место просторное, светлое. Сидим в тени, на траве – и подкрепляемся. Потом я говорю моей любимой девочке: «Можно я тебя поцелую?» Она отвечает так просто: «Конечно, можно. Чего бы я с тобой поехала? Меня вот Фимка приглашал. Я с ним отказалась ехать. А с тобой – другое дело». Тут мы стали целоваться, как умели. Я завелся, полез дальше, но получил по роже очень даже сильно. Кровь из разбитой губы закапала. Я расстроился. «Тебе, – говорю, – надо боксом заниматься. Убить же могла». А она говорит: «И убью, если торопиться будешь. Всему свое время». – «И сколько ждать?» – спрашиваю. А она так серьезно отвечает: «Года три, думаю, не меньше»… И вот я сижу на травке в той самой дубовой роще. Все это вспоминаю. И кровь во мне бегает ускоренно, до полного разогрева внутренностей. Скорость крови, я тебе скажу, самое необходимое дело для омоложения.

– А вещи-то свои на вокзале оставил? – спросил я.

– Какие вещи? Рюкзак за спиной – и все. В нем и весу-то, так – ерунда… Только не то спрашиваешь. Ты спроси, почему я, немолодой еврей и сионист всем своим нутром, солдат Ливанской войны, раненный в плечо разрывной арабской пулей, отец и дед, чьи внуки даже не говорят по-русски, прилетел за тысячи километров, бросив все, чтобы посидеть под дубом на травке, в лесу, у родного города Ямцы?

– Так все ясно, – сказал я. – Для омоложения организма. У тебя небось и сад в этих Ямцах имеется, где молодильные яблоки растут.

– Откуда знаешь? – покосился на меня Зуся.

– Не знаю, а догадываясь, – сказал я.

А теперь хочу признаться, что рассказ моего соседа хитро скроил из нескольких бесед в одну для удобства. Мы с ним потом неоднократно встречались, так как жили неподалеку друг от друга в одном районе Холона. И я не помню, когда и где

рассказал мне Зуся про эти «молодильные яблоки». Он сказал, что в тот старый, запущенный колхозный сад входил человек, как в зеленый и родной дом, и трава в этом доме была особенно густой и мягкой. Только яблоки на тех деревьях росли плохо. Мало их было, а если и попадались, то кислые до ломоты в скулах.

– В этом саду, – сказал Зуся. – Мы чаще всего встречались с любимой девушкой. И в тот сад прибегал к нам грубый Джон – дворняга такая, а еще в нашем городе жил обычный Джон, как две капли воды похожий на грубого, но мы с ним мало общались. А грубый вовсе не был грубым, а очень даже ласковым. Только лаял басовито. За этот лай его так и прозвали.

– Значит, потом ты отправился в старый, яблоневый сад, – сказал я тогда.

– Ну, точно, – улыбнулся Зуся всем своим некрасивым ликом. – Там яблоки были кислыми, а поцелуи – сладкими. Все там было по-старому. Я сел на перевернутое ржавое ведро и стал искать яблоки на деревьях, но их совсем не было – молодильных яблок. Я долго искал: ходил-бродил по саду. И наконец, нашел одно. Правда, высоко, чуть ли не на самой вершине. Залез я на дерево. Сбил яблочко палкой. Потом опять сел на ведро и дичок этот сжевал весь, без остатка, вместе с косточками. Проглотил – и думаю: вот сейчас должно случиться что-то особенное. И знаешь, случилось. Смотрю: собачонка трусит. Ну в точности грубый Джон. Подбежала ко мне, хвостом вертит. Я руку поднял и говорю: «Голос, Джони!» И эта псина, как залает басовито. Ну точно какой-нибудь внук-правнук той нашей любимой собаки.

– Хватит, – сказал я тогда. – Ну что у тебя в рассказе одни леса, сады, яблочки да собаки. А люди где? Люди твоего детства? Где друзья-приятели и любимая девушка из города Ямец.

– Как где? При мне, – удивился Зуся. – Куда она денется. Как раз перед армией, ровно через три года, отдала она мне то, что обещала. Дождалась, вышла за меня замуж. Вот живем уже тридцать четыре года, мучаемся.

– Так вот! – заорал я тогда. (А дело, как помню, происходило на дому у Зуси, в беседке, увитой виноградом.) – Вот твой настоящий секрет омоложения: жена твоя неверная Сима.

– И чего ты расшумелся, – сказал Зуся, нахмурившись. – Ты теперь попробуй посадить ее на велосипед. Она в машину помещается, да так кряхтит, будто ее на верблюда затаскивают. Нет, я лучше буду к той Симе каждый год ездить, чтобы омолодиться.

Тут к нам на веранду вышла, ковыляя, старая псина Зуси.

– Слушай, скажи честно? – спросил я. – А это кто?

– Потомок грубого Джона, – ответил Зуся.

В этом году, в августе, он вновь отправится в свой Ямец. Он сказал, что на этот раз хочет пожить в доме, где родился сразу после войны. Дом этот цел и невредим. Только на первом этаже здания «новые русские» открыли магазин по продаже удобрений. Но Зуся сказал, что его это не волнует, потому что родился он на втором этаже, как раз в комнате с широким окошком, за давно обвалившимся балконом.

– Совсем уж омолодишься, – пошутил я тогда. – Соску с собой захвати.

– Грубый ты человек, – улыбнулся Зуся. – Ну совсем как наша собака – Джон.

1999 г.

Колодец

Они не понимают, как здесь хорошо, думал Зеев, и все-таки они заботливы. Два одеяла из верблюжьей шерсти и кувшин с водой – вот и все, что мне нужно.

Одеяла утром он сразу отправлял наверх. Они мешали работе. Час начала трудов своих Зеев угадывал безошибочно. Он просыпался, открывал глаза и несколько минут наблюдал, как огромные звезды над его головой меркли, растворялись в свете неба. В тот момент, когда исчезала самая большая звезда, он складывал одеяла, садился на них и съедал ломоть хлеба с куском пресной брынзы. Глоток воды – и Зеев был готов к работе.

– Поднимай! – кричал он невидимому помощнику там, наверху. Иногда ему приходилось кричать несколько раз, прежде чем корзина с одеялами начинала медленно уходить в посветлевшее небо над головой.

Ворот скрипел нещадно. Раньше он не мог привыкнуть к этому скрипу, нервничал каждый раз и кричал вслед корзине, чтобы ворот наконец смазали. Но со временем Зеев вспомнил, как скрипел ворот колодца в местечке, где он родился, и скрип перестал терзать обнаженные нервы, а может, и сами нервы закалились и перестали реагировать на внешние раздражители любого толка.

Он, например, перестал читать записки жены, полные ворчливого раздражения и странных желаний. Фрида писала по-русски с чудовищными ошибками, и это казалось Зееву не меньшим проступком, чем само содержание писем.

Записки приносил ему напарник. Помощники регулярно менялись. Редко кто выдерживал два дня подряд этой проклятой, как они говорили, работы на дне колодца.

В письмах жены было, по обыкновению, категорическое требование подняться на поверхность. Она заклинала его детьми, сообщала о бедственном положении семейства и грозила уходом.

Поначалу люди наверху писали о том же, сообщая, что воды в колодце нет и не будет, что все сроки работ вышли, а наверху уже недостает хлеба, и бедуины отказываются привозить воду. Потом такие требования становились все реже. Наверх уходили корзины, полные земли и камней, и его молчаливое упрямство заразило колонию.

– Держись, – написал ему однажды один из стариков. – Мы сходим с ума вместе с тобой.

Пинхас спустился по веревочной лестнице. Корзина не выдерживала тяжести человека. Следовало заменить веревки

цепью. Но достать пятидесятиметровую цепь они не могли. Пинхас принес еду и новый черенок для мотыги.

На родине, в Харькове, Пинхас работал конторщиком на сахарном заводе Бродского, но руки у него были сильные, и Зеев почему-то был уверен, что в тот день, когда рядом с ним будет Пинхас, они придут к воде или вода придет к ним. Как случилось в тот последний день зимы и последнего дождя, когда Зеев проснулся от радости и восторга, потому что вода лилась на него сверху и вода была под ним. Проснувшись, он не сразу понял, что происходит, и решил, что святая влага пробилась к нему со всех сторон. Он ловил ртом воду, он размазывал капли по грязному, худому телу. Он завопил так, что песок посыпался сверху, скрипнул ворот подъемника, и проснулись люди в развалине арабской хижины.

Потом он не увидел над головой звезды, и понял, что это был всего лишь случайный дождь, последний дождь зимы. Зеев лежал на мокрой земле и ждал, когда над его головой возникнет привычный ночной пейзаж.

Дождь ушел, вскоре появились звезды, и он заснул, все еще улыбаясь своей случайной радости и обману чувств. Тогда он копал на отметке двадцать пять метров, поселенцы наверху верили, что вода скоро придет из глубин земли, а не только с неба.

Пинхас сказал:

– Здесь холодно сегодня, как в могиле.

– Всегда так, – сказал Зеев.

– Нет, сегодня что-то уж слишком, – сказал Пинхас.

– Давай работать, – сказал Зеев. – И будет тепло.

И они стали работать. Пласт попался жесткий. Пинхас разбивал землю мотыгой, а Зеев загребал ее широкой лопатой, насыпая корзину доверху. Потом он дергал веревку, и земля уходила наверх. Он знал, что вокруг колодца растет холм. Он знал, что наверху люди тоже не сидят без дела.

– Ты помнишь, скоро шабат. Ты поднимешься? – спросил Пинхас и опустил мотыгу, чтобы перевести дыхание.

– Нет, – сказал Зеев, ожидая корзину. – У меня есть еще свечи, и молитвы я еще не забыл.

– Тебя ждут, – сказал Пинхас.

– Подождут, – сказал Зеев. – Осталось еще немного.

– Я бы не смог спать здесь ночью, – сказал Пинхас.

– Я тоже не сразу привык, – сказал Зеев. – Мне все казалось, что свод обрушится на меня, спящего.

– Там, наверху, многие думают, что ты спятил, – сказал Пинхас.

– Наверно, – согласился Зеев. – Я понимаю, что так нельзя… Только… если я вылезу, они перестанут копать и уйдут. Уйдут совсем, а многие уедут обратно.

– Нас нигде не ждут, – сказал Пинхас. – Ты знаешь, это и есть одиночество, когда тебя нигде не ждут.

– Наверно, – сказал Зеев. – Давай работать.

У них был бур. Странную машину подвезли к колодцу люди барона. Бур работал исправно два дня. Два дня пряморогий вол ходил по кругу, вращая ворот. Потом бур сломался. Его попробовали отремонтировать, но поломка оказалась существенной. Зеев спустился в колодец, когда кто-то сказал, что надо подождать новой машины.

– Будем копать, – сказал Зеев. – Вода близко.

В первый день он натер руки до крови. Было больно не только вгрызаться в мертвую землю, но просто держать древко лопаты. В первую ночь он не мог заснуть от боли. Зеев не знал профессии землекопа. В молодости у него был хороший голос, и он пел в синагоге. Он был кантором и пел на свадьбах и похоронах. А потом был погром. На глазах Зеева изнасиловали его невесту. Его держали крепко, но он кричал так, что потерял голос. Фрида молчала, и он, охрипнув, замолчал тоже, поняв, что любовь его уходит и на место любви приходит жалость. Он женился на Фриде из жалости. Их первый ребенок появился на свет с голубыми глазами, и волосы его были светлыми, как лен…

Утром он обмотал руки тряпками и продолжал работать. На тряпках выступала кровь, но он работал. И боль физическая постепенно излечила боль души. Он тогда был уверен, что вода появится совсем скоро, что в каждой земле есть вода, и в этом колодце она должна быть непременно, потому что они купили этот клочок суши в складчину, на последние гроши, нигде больше у них не было своей земли, и, потеряв эту, они снова могли стать обычными бродягами, чужими на планете, где у каждого есть свой надел. Только у евреев вот уже две тысячи лет не было своей земли. И вот они вернулись и купили эти дунамы, чтобы начать новую нормальную жизнь. Для этой нормальной жизни требовалось только одно – вода, но воды пока что не было, а была дыра в земле, и человек, решивший, что он лучше умрет, но не выйдет на поверхность, пока не ощутит живительную влагу под ногами и на своих губах.

– Арабы не пьют вино и не сажают виноградники. Они вообще не хотят вмешиваться в жизнь земли, – сказал Пинхас. – Может быть, и нам попробовать жить так… Вместе с ними.

– Мы – это мы, – сказал Зеев. – А они – это они.

– Земля диктует свои законы, – сказал Пинхас. – Они живут

по законам этой земли, по законам пустыни.

– Нет, – сказал Зеев. – Они живут, как рабы земли. Нам это не подходит. Мы свободные люди. Давай работать.

Они снова стали грузить корзину землей, но на этот раз делали это долго, потому что Пинхасу попался большой валун. Камень испугал их своей огромностью. Твердь приходилось крошить ломом, чтобы поднять на поверхность. Но обошлось. Они вывернули валун из земли, подняли его вдвоем и погрузили в корзину. Зеев резко дернул веревку. Груз поплыл наверх, но вдруг что-то случилось, корзину перекосило, и камень рухнул на дно сухого колодца. Он чудом не убил их и упал гулко, будто толстяк, подпрыгнув до потолка, рухнул на перину.

– Земля стала мягкая, – сказал Зеев, когда они вновь отправили камень наверх. – Ты слышал, какой мягкой стала земля.

– Это вокруг камня, – сказал Пинхас. – Вокруг камня всегда так, а потом опять начнется… Вот увидишь.

– Увижу, – сказал Зеев, оставил лопату и тоже взялся за мотыгу. На размахе им трудно было работать вдвоем, да и корзина на этот раз вернулась быстро.

– Подожди, – сказал Зеев, оставив мотыгу. – Сердце бьется… Что-то не так со мной. Я полежу.

– Ты сдохнешь тут, – сказал Пинхас. – Тебя и закапывать не придется. Набросаем сверху землицы – и все… На этот шабат ты поднимешься, а вместо тебя останусь я.

Зеев промолчал. Он прислушивался к себе и гнал боль сердца всеми силами, потому что хотел жить на своей земле и со своим народом. Он прогнал боль одним нежеланием смерти.

– Мне все равно теперь не подняться, – сказал Зеев. – Слишком много ступенек.

– Мы поднимем тебя в этой люльке, – сказал Пинхас, бросая лопатой землю в корзину. – Ты уже ничего не весишь. Одни кости торчат.

– Здесь темно, – поднимаясь, сказал Зеев. – Ты мои кости не можешь видеть.

– Ну конечно, – сказал Пинхас. – Тебя видит только Бог. Все слепы. Только Он зряч.

– Не шути с этим, – сказал Зеев. – Я не знаю, кто меня видит, но Он помогает мне работать. Это точно.

– Перестань, – сказал Пинхас. – Тебе помогают Эли и Феликс, а еще твоя жена. Она печет лепешки из последней муки. Осталось чуть больше половины мешка. Мука кончится – и тебе не поможет никто, даже Бог.

– Когда она кончится? – спросил Зеев. – Мука эта?

– Дня через два, – ответил Пинхас.

Корзина, полная мягкой земли, ушла наверх. Зеев поднял глаза, провожая ее взглядом, и увидел солнце. Странно, он видел солнце, но горячие лучи не попадали на дно колодца. Он видел пылающий диск из вечной тени.

«Когда будет вода, – подумал Зеев, – солнце не сможет выпить ее. Это очень хорошо, что колодец получился таким глубоким».

И он сказал об этом Пинхасу. Пинхас только усмехнулся. Он сказал, что дыра в земле – это еще не колодец. А потом предположил, что они прокопают всю землю насквозь и выйдут наружу где-нибудь на Американском континенте. Только бы не прозевать момент, когда копать они начнут над головой, а не под ногами. Пинхасу очень понравилась идея туннеля, и он стал смеяться. Он смеялся так заразительно, что и Зеев невольно улыбнулся, наверно впервые за недели его жизни и работы под землей.

Они пообедали отваренными в соленой воде початками кукурузы, разделили на двоих круглую лепешку. Воду им спустили в глиняном кувшине с узким горлом.

– Как твое сердце? – спросил Пинхас.

– Стучит, – ответил Зеев. Есть ему не хотелось. Он ел, потому что знал: голодным он не сможет работать дотемна, до первой звезды шабата.

– Мы поставим здесь паровой насос, – сказал Пинхас. – Он будет качать воду на наши поля. Я видел такой насос во Франции.

– Ты хорошо говоришь, правильно, – сказал Зеев. – А еще мы устроим ванну для детей, большую и прямо в земле. Пусть купаются, сколько захотят. Пусть хоть целый день не вылезают из воды.

– Мой паршивец так и сделает, – сказал Пинхас. – Он даже спасибо отцу не скажет. Он просто залезет в эту ванну и будет там плескаться – вот и все.

– Арабы признают только молоко от скотины и мясо, – сказал Зеев. – Но скотину кормит земля. Земля кормит всех. Это понимать надо. Если не дать земле воду, она погибает. Пустыня – это смерть всему. Наша земля не будет пустыней. Ты слышишь меня?

Пинхас не слышал. Он спал. Он имел право на двадцать минут сна.

Зеев не стал будить друга. Он подумал, что совсем скоро наступит XX век, что хорошая цифра – 20: круглая и веселая, и технический прогресс сделает жизнь людей свободной от тяжелого, рабского труда. Он думал о судьбе своего народа. Зеев

был убежден, что совсем скоро вся земля Палестины станет еврейской. Гонимые найдут пристанище и начнут жить счастливо, сытно и без страха перед чужой ненавистью… Так будет. Только нужно вырыть этот колодец до водоносного слоя. Вырыть обязательно. А это зависит от одного человека. Этим человеком оказался он, а мог на его месте быть Пинхас, Эли или Давид. Но так получилось, что жребий выпал на его имя.

Пинхас проснулся ровно через двадцать минут. Они работали молча до сигнала сверху.

– Я остаюсь, – сказал Пинхас на идише. – Лезь наверх.

– Нет, – сказал Зеев. – Осталось совсем немного. Я не прощу себе этого, если уйду.

– Сколько еще? – сказал Пинхас. – День, неделю, месяц, год?

– Не знаю, – ответил Зеев, опершись на черенок лопаты. – Это знает только Он.

– Ты – сумасшедший, – сказал Пинхас. – Но это не так опасно. Ты заставляешь и нас быть безумцами. На этой земле будут жить сумасшедшие евреи.

– Уходи, – сказал Зеев. – Скоро шабат. Я буду отдыхать целый день. Знаешь, как здесь хорошо. Наверху небось жара, дышать нечем, а здесь хорошо. Здесь мир субботней прохлады.

На это Пинхас ничего не сказал и полез наверх, кряхтя и отдуваясь… Лестница дергалась по-змеиному еще долго. Зеев держал руку на нижней ступеньке, словно провожая друга, потом лестница замерла.

Ночью Зееву приснилось, что большая собака облизывает холодным языком его пятку. В полусне он подумал, что подземные малые звери шуршат в углу, стараясь пробраться к корзине с едой. Потом он подумал, что снова пошел дождь. Дождь?! Летом?! Потом он проснулся окончательно, дрожащими руками зажег свечу. В колодец толчками пробивалась вода. Ее было немного, совсем немного, но становилось все больше. Вода на глазах набиралась сил, размывала, рушила, отталкивала землю. Зеев прижался лицом к луже на дне колодца. Потом он пил эту воду, жадно глотая ее вместе с песком. Потом он сел на дно колодца, обхватив колени руками. Так было неудобно петь, но он запел, легко выговаривая слова субботней молитвы:

– «Да сжалится милосердный Отец над народом, о котором заботится, и вспомнит Союз свой с праотцами, и спасет наши души в недобрые времена, и изгонит злое начало из сердец тех, кого опекает, и отмерит нам то, о чем просим мы, щедрой мерою, даруя спасенье и милость».

Поговорив с Богом, он вспомнил о людях. Он закричал так, с такой бешеной силой, будто и не было за спиной Зеева недель

каторжного труда. Он выдыхал из себя с нечеловеческой силой одно-единственное слово:

– ВОДА!!!

Конечно, все было не так. И самого упрямого поселенца не так звали, и судьба его была другой, и думал он о другом, но по сей день существует тот колодец, как памятник первым хозяевам земли Израиля. И еще сохранились воспоминания тех, кто впервые испил воду из той шестидесятиметровой дыры к центру земли:

«Все от мала до велика устремились к колодцу… В воздухе стоял гул от оглушительных выстрелов, безумных криков “Ура!”, “Вода!”. Прыгали, танцевали, благодарили Бога, обнимались, рыдали, как маленькие дети… Удалось извлечь немного мокрого песку. Боже мой! Что делалось наверху с этой грязью: рвали друг у друга из рук и жадно, с неизъяснимым блаженством, глотали…»

2002 г.

Вместе

Юг Израиля. Небольшой провинциальный город. Русское кладбище. Пятьдесят могил. Пустые заасфальтированные ячейки для новых захоронений. Ни одного креста над могилами или звезды. Встречаются надгробия с надписями только на иврите, но на большинстве лишь кириллица.

На самой давней могиле дата: 1990 год. На самой свежей, засыпанной еще не увядшими цветами, табличка из жести: «Смирнов Геннадий Афанасьевич. 1957–2002».

Смирнова Геннадия вышиб пинком из кабины фургона знакомый, угнавший в шутку эту машину вместе с ним. Смирнов погиб под колесами автобуса, следовавшего по встречной полосе.

Оба – и сам погибший, и его приятель – выпили в тот день по случаю субботы. Впрочем, навеселе они были чуть ли не каждый день недели.

Жена Смирнова Анастасия выплакала все слезы за три года до смерти мужа, на могиле сына Василия, зарезанного в пьяной драке еще в России, у шалмана «Ракушка», на центральной площади райцентра К.

– Пусть правосудие покарает убийцу, – тихо сказала Анастасия, стоя над могилой мужа.

На самом деле она не хотела суда, ей не нужно было правосудие. Она страшилась властей, расследования, допросов… Больше всего несчастная женщина боялась возвращения домой, в город К.

У Анастасии Смирновой двое детей – мальчик десяти лет и дочь. Девушка заканчивала школу и готовилась к службе в армии. Анастасия знала, что в родном городе ее дети погибнут, как погибли старший сын и муж, уже здесь, в Израиле.

Ей хотелось, чтобы похороны мужа закончились как можно быстрей. Вдову пугали люди на кладбище. Анастасия давно оплакала и своего беспутного, шального мужа, и свою несчастную бабью судьбу.

Какой-то человек в кипе говорил на иврите непонятные слова над могилой ее покойного мужа. Она не знала, зачем нужно это подобие ритуала, но тихий голос кладбищенского служителя успокаивал Анастасию. Значит, ее все еще признавали за свою.

В городе К. пили почти все мужики: одни запоем, другие каждый день, третьи эпизодически. Как раз в этом городе, на местном заводе арматуры, директор стал выплачивать премиальные тем, кто приходил на работу в трезвом виде.

Директора показали по центральному телевидению, будто в

шутку. Но многие из руководителей производств шутку приняли всерьез и стали у себя на предприятиях вводить передовой опыт из города К.

Сын Анастасии Смирновой работал на том самом заводе арматуры и никогда премиальных за трезвость не получал. Пил он, как правило, вместе с отцом, рабочим на железной дороге, а потом отправлялся куролесить в компании таких же молодых парней, как он сам.

Осталось не выясненным до конца, при каких обстоятельствах Василий Смирнов получил смертельное ножевое ранение. Собственно, все эти обстоятельства были похожи одно на другое, и мало кто из буйной компании обычно помнил, почему начиналась драка.

Одно было ясно всем: зарезал Смирнова его бывший одноклассник и друг Зорий Псарев – сын начальника местной милиции.

Поздно вечером, в день гибели Василия Смирнова, семью погибшего посетил сам Псарев Иван Николаевич. Его приняли как полагается: отец убитого поставил на стол бутыль «Московской», а хозяйка позаботилась о нехитрой закуске. Выпили по стакану.

– Светлая память Васе, – сказал Псарев. – Хороший был хлопец. Не воротишь теперь. Так что же другую судьбу калечить, сажать сына моего единственного на парашу? Много дать не могу: десять тысяч долларов деньгами и еврейский документ.

– Чего? – не понял Геннадий.

– Выправлю бумаги, – поднялся во весь свой могучий рост Псарев. – И валите отседа за кордон, в ихний Израиль.

Два слова чаще всего произносились в городе К. И оба из трех букв.

– Куда, в жидовию? – только и смог выдохнуть ошарашенный Геннадий Смирнов.

– Туда, – кивнул начальник милиции, ополовинив второй стакан и закусив коркой черного хлеба.

Сердце Анастасии Смирновой сладко заныло. Ей было все равно, куда бежать из этого города и страны, где она родилась. Все рушилось на глазах и гнило. Не было у нее больше сил сопротивляться сивушному духу. Младший сын подрастал, и женщина знала, что и этого мальчика рано или поздно увидит она пьяным, жестоким и наглым.

– Там пьют? – тихо спросила у начальника милиции Анастасия.

– Так наш Абрашка Сыркин рази пьет? – напомнил Псарев. – Тольки по праздникам.

– Пятнадцать тыщ, – выпалил Геннадий. – И по рукам!

– Ты свой паспорт дай и метрику, – повернулся к Анастасии всем своим могучим телом Псарев.

В архиве местного отдела милиции хранились старые бланки метрик. Псарев лично выправил один документ, из которого можно было заключить, что бабушку Анастасии Смирновой звали Саррой Натановной Коган.

Шел 1999 год. Сохнут в областном городе, в свою очередь, быстро соорудил все недостающие бумаги, необходимые для переезда в еврейское государство.

В последние годы у Сохнута было совсем мало работы, и эта организация открывала объятия любому, желающему перебраться в Израиль.

Враги Псарева пробовали, несмотря ни на что, инспирировать процесс над его сыном. Особенно старался редактор местной газетки «Ленинское знамя» некий Благосветов, но в одну дождливую ночь во дворе Благосветова загорелся сарай, в котором стояла кормилица его большой семьи корова Диана. Сарай сгорел дотла. Диану не смогли вытащить из огня. На следующий день сын Благосветова был сбит мотоциклистом, когда мальчик шел домой из школы. Малыш отделался сильными ушибами, но редактор газеты понял, что поединок с начальником милиции ему не выиграть малой ценой. А к большой редактор не был готов.

Смирновы оказались в Израиле летом 2000 года. Первое время отец семейства пил робко. Он даже посещал вместе с Анастасией ульпан. Затем робость прошла. Геннадий был приятно удивлен стоимостью и обилием спиртных напитков, и муки несчастной Анастасии вернулись к ней в прежнем объеме.

Спасалась она тем, что сын и дочь, неплохо освоив иврит, учились, и у нее на глазах из бледных, запуганных, тихих зверьков превращались в обычных человеческих детей.

Геннадий работал на хозяина столярной мастерской и пил. Много работал и много пил. Хозяин платил ему минимум, но терпел в своей мастерской русского алкаша, потому что в трезвости за час Смирнов успевал сделать больше, чем его сосед за полдня.

В Израиле Геннадий меньше измывался над женой и детьми, чем в городе К., просто потому, что реже их видел. Климат позволял гулять на природе. Смирнов любил море, а потому приходил домой только к ночи, чтобы завалиться в койку и, если силы позволяли, потребовать от жены Анастасии плотских утех.

Анастасия тоже определилась на работу – уборка. Жилье Смирновы нашли в бедном районе, где жили почти сплошь выходцы из России. На каждом магазине в местном торговом

центре висела афиша на русском языке, ниже русских букв название писалось на иврите. Таков был порядок, установленный мэрией.

Слепые стены и столбы в этом районе лохматились объявлениями на одном русском языке. Здесь администрация городка была бессильна.

Тяжело жилось Анастасии, а все-таки гораздо легче, чем в родном городе. Быт отнимал не так много времени. Ей удалось спасти часть денег, полученных от начальника милиции, и понемногу, как ей казалось, жизнь входила в нормальную колею.

Только об одном не могла забыть Анастасия Смирнова: о том, что находится в Израиле по подложным документам и бабушку ее покойную звали Екатериной Богдановной Пилипко, а не Саррой Натановной Коган.

Сама Анастасия Смирнова вела себя тихо, но муж ее, Геннадий, особенно в подпитии, терял над собой контроль и начинал поносить Израиль всеми бранными словами. У него теперь был замечательный предлог, чтобы оправдать свое пьянство.

– Замуровали, гады! – шумел Геннадий, устроившись на поливной травке, под пальмой, неподалеку от пляжа, вместе с приятелями. – Родины лишили, жиды проклятые. Разве тут жизнь?! Одно жулье. Арабы их гноят почем зря, а не заноситесь! Будь все они прокляты! Эх, на родину бы, ребята! Ну, наливай! Будем здоровы! Живите порхато!

Ребята наливали, соглашаясь в глубине души со всем, что говорил Геннадий Смирнов. Безобразий вокруг было множество, и чужие испытывали подлинное удовольствие, списывая эти безобразия на специфические особенности еврейского народа, как они особенности эти, родовые черты, понимали.

Анастасия не любила ругани в адрес Израиля и всячески пробовала урезонить мужа.

– Ген, – говорила она. – Ты бы потише, а то вышлют. Проверят документы, так и вышлют обратно.

– Ага! – гоготал муж. – Спугалась? Продала родину да великий народ свой, а теперь дрожмя дрожишь. У, жидовка! – и Геннадий замахивался на Анастасию, но никогда не бил ее, как случалось в городе К. Видимо, стал чувствовать между собой и женой некую дистанцию, в чем и сам однажды признался.

В тот день водку друзья разбавили какой-то дрянью. Дрянь прибавила особого куражу к обычной агрессии. Решили угнать фургон знакомого парня. Точнее, это знакомый Смирнова решил, а Геннадий только присоединился к нему, потому что очень уж хотелось прокатиться на халяву. В дороге повздорили. Приятель

уже не помнил, по какому поводу. Слово за слово – вот он и вышиб Смирнова из машины под колеса встречного автобуса…

Все, народ стал расходиться. Кладбище быстро пустело. Только теперь Анастасия заметила, что сын ее младший привел на похороны отца своего приятеля по имени Эли. Приятель родился в Израиле, русского языка не знал. Дочь, будущий солдат ЦАХАЛа, поддерживала мать под руку, хотя в этом не было необходимости. Они шли позади мальчиков. Сын Анастасии и Эли говорили на иврите.

Кое-что Анастасия Смирнова смогла понять.

– Чего твой отец умер? – спрашивал черноволосый и курчавый Эли.

– Болел, – отвечал русый, с хохолком на темечке мальчишка. – Пил гадость эту. Вот и умер.

«Гадость», – подумала Анастасия Смирнова и, не отдавая себе в этом отчета, улыбнулась.

Люди, бредущие от кладбища рядом, с осуждением смотрели на вдову. Ей было не положено улыбаться в этот день и в этом месте.

2000 г.

Нет меня!

В детстве Феликс очень любил сказки. Особенно нравились ему волшебные истории о шапке-невидимке. Он все головные уборы в доме перемерил у зеркала. Мальчик трогательно верил в возможность своего исчезновения, но так и не смог стать невидимым на радость родителям.

Папам и мамам совсем не нравится, когда их дети исчезают. Нет, сами они эту пакость практикуют часто. Вот был в семье папа – и вдруг исчез. Бывает, и мамы пропадают… Все бывает на этом свете и чаще всего то, что и быть-то не должно…

Ладно, к делу… Феликс был добрым мальчиком, и он совсем не хотел огорчать своих родителей исчезновением. Он так и решил, что разные шапки не действуют, потому что он еще не готов расстроить близких своей невидимостью.

Тем не менее он продолжал тайком примерять чужие шапки. Соберутся гости на какой-нибудь праздник, оставят на вешалке головные уборы, а Феликс тут как тут; стул подставит – и тащит с полки фуражки, кепки, береты, шляпы, ушанки (если дело происходило зимой) и прочие головные украшения.

Все знали за ребенком эту слабость и прощали ему невольный беспорядок на вешалке. Гости даже смеялись над Феликсом и называли его «шапошником», а потом нарекли Шапой, и эта кличка накрепко пристала к ребенку.

Даже папа с мамой стали звать единственного и ненаглядного сыночка Шапой. И Феликсу нравилась эта кличка. Было в ней нечто невидимое, родное, теплое и желанное.

Шапа и в прятки любил играть до невозможности. Он всех уговаривал на эту игру. И прятался с удивительным искусством. Сначала папа и мама делали вид, что не могут найти сына, потом и притворяться им не пришлось. Шапа прятался с профессиональным искусством. И родителям приходилось сдаваться и громким голосом звать сына-невидимку, умоляя его откликнуться:

– Шапа! – кричали они. – Ты где?!

– Нет меня! – весело отзывался Феликс, вылезая из такой щели, куда нормальный ребенок никогда бы не смог втиснуться.

Со временем родители перестали играть с сыном в прятки. Жутковато им стало, неуютно как-то от фатальных исчезновений родного существа и невозможности сразу обнаружить свое чадо. И Феликсу пришлось искать партнеров на стороне. Поначалу с ним соревновались охотно, потом вечные проигрыши сделали эту забаву для всех, кроме самого Шапы, скучной.

Уже на десятом году жизни никто, кроме собаки соседа, не соглашался играть с Феликсом в прятки. Собаку эту мальчик сильно полюбил и всегда предлагал взять пса на прогулку.

Соседи радовались такому помощнику, а Шапа устраивал для себя праздник души. Он уходил с овчаркой в сквер, и там они весело и долго играли в прятки. Пес всегда находил мальчика по запаху. Феликс понимал это и не обижался, что его, невидимого, все-таки можно обнаружить.

На день рождения Шапе всегда дарили головные уборы. Все знали: лучше подарка для этого мальчика не найти. У Феликса скопилось множество шапок, целая коллекция. Он содержал подарки в полном порядке, регулярно устраивал чистку и смотр своего богатства, надеясь в тайне, а вдруг одна из шапок сделает его наконец совершенно невидимым.

Так Шапа и рос, с тайной надеждой на сверхъестественное, никому не рассказывая о фантастической мечте этой. Он понимал, что поведать людям о сокровенном – это и разрушить в себе тайную веру в чудо.

В семнадцать лет Феликс влюбился, да так сильно, что мечта о невидимости отошла на второй план. Он даже шапки перестал примерять. Он хотел ясности, простоты, силы и жил только мигом встречи с любимой, днем сегодняшним.

Но девушка не смогла полюбить Шапу. Она влюбилась в другого человека, и тогда Феликс подумал, что кончить жизнь самоубийством, – это и есть способ стать невидимым для окружающих. И здесь нет необходимости в волшебном головном уборе, а нужна обыкновенная веревка, камень на шее, бритва или пистолет.

Он тогда решительно и искренне выбирал способ стать невидимым, но об этом, к счастью, догадалась другая девушка, и она сказала Феликсу простую фразу:

– Шапа, милый, что случилось? На тебе лица нет.

– Совсем нет? – спросил Феликс.

– Совсем, – ответила девушка. (Ее звали Мариной.)

Феликс Марине поверил, подошел к зеркалу и увидел, что на нем и в самом деле нет лица. Все остальное есть, а лица нет. И Шапе все это понравилось. Он стал хохотать от радости, а потом заключил спасительницу свою в объятья и крепко ее поцеловал.

Девушка Марина только и ждала этого. Она ответила на ласки Феликса, и сделала это так умело, что примерно через час Шапа подошел к зеркалу и увидел: лицо к нему вернулось, и было оно, лицо это, в полном порядке.

Феликс снова захотел быть видимым, но продолжалось это недолго. Вскоре тяжело заболела мать Шапы. Болела она

мучительно, но недолго – и умерла в коме, так и не придя в сознание.

Феликс очень любил маму. На кладбище, во время похорон, он явственно ощутил утрату половины своего существа. Понял, что отныне остается без защиты и любой злой человек сможет совершить над ним насилие.

В этот момент, на кладбище, он снова захотел стать невидимым. Тогда же Феликс невольно, вопреки всем правилам, нахлобучил кепку на уши. Он стоял так и плакал до тех пор, пока гроб с телом мамы не превратился в невидимку под землей. Тогда он успокоился как-то сразу. Отец взял сына под руку, и они ушли с кладбища вместе, говоря о том, какой замечательной женщиной была покойница и как теперь им будет не хватать ее.

Отец Шапы переживал искренне, но он никогда не хранил верность своей жене, мучил и расстраивал маму Феликса при жизни. У отца было множество внебрачных связей, и где-то через год вдовец объявил сыну о решении вновь связать свою жизнь с женщиной по имени Клара. Он даже устроил смотрины этой Клары.

Невеста появилась на пороге дома в огромной соломенной шляпе с цветами за розовой лентой.

«Она!» – в восторге подумал Феликс, но не о гостье, а о шляпе.

Потом они сели за стол, и Шапа не мог дождаться, когда он наберется смелости выскочить в прихожую и дрожащими от нетерпения руками примерить шляпку Клары.

Сын вдовца сделал это. Он поправил синие цветы за розовой лентой, поднял глаза на потемневшее от времени зеркало в прихожей – и ничего не увидел в нем.

– Нет меня! – радостно выдохнул Феликс.

– Перестань дурачиться, – сказал отец, появившись в прихожей. – И сними шляпу Клары. Ты ее помнешь. Почему ты выскочил из-за стола в самый неподходящий момент? Это неудобно наконец, тебя ждут.

Слова отца вновь сделали Феликса видимым. Он нехотя снял шляпу Клары и вернулся к столу.

– Мальчик, – кокетливо сказала немолодая женщина взрослому парню. – Ты так красив в своей молодости. У тебя есть избранница сердца? Скажи, ты полон любви?

– Ненависти, – сухо ответил Феликс, придвинув к себе тарелку с винегретом.

– И кого ты так ненавидишь? – улыбаясь, спросила Клара.

– Вас, – коротко ответил Шапа, сделав внезапно невидимым весь мир вокруг себя.

Он был в этом мире, а мира не было. Феликс тогда понял: только ненависть способна на это. Ненависть – это шапка-невидимка, могущая скрыть от глаз наших все сущее, кроме нас самих.

Шапа стал жить ненавистью. Он прогнал от себя девушку Марину. Он всех прогнал от себя, решившись на полное одиночество.

Феликс учился в университете, он общался с сокурсниками, он ходил на вечеринки, пил водку, ухаживал за девицами, но он ненавидел все вокруг до полной невидимости, но зато мог мериться с невидимым, не помышляя о самоубийстве, об исчезновении себя самого.

Он возненавидел одну девушку – Ольгу – больше остальных девиц и решил на ней жениться. Феликс получил диплом, устроился на хорошую работу и осуществил свое намерение.

В день свадьбы девушка Ольга сказала Шапе:

– Милый, спасибо тебе, что ты меня полюбил.

– Что ты! – улыбнувшись, ответил Феликс. – Я тебя ненавижу!

И девушка Ольга рассмеялась, думая, что ее суженый так шутит: непринужденно и весело.

Феликс стал жить семейно. Ничего особенного не было в его брачной жизни, кроме странной привычки дарить жене по всем праздничным дням головные уборы.

Ольге все это казалось наивной причудой. Она покорно становилась перед зеркалом, ожидая, когда Шапа собственноручно напялит на нее очередную шляпку или берет.

– Не то, – раздосадованно говорил муж, и Ольга охотно и торопливо стаскивала с себя очередное уродливое сооружение.

Ей не шли головные уборы. У Ольги были отличные волосы, и даже зимой она не любила прятать их в тесное тепло и темноту.

Но Шапа упрямо и тупо продолжал одаривать жену дурацкими шляпками, втайне и вновь надеясь на чудо. Он вдруг поверил, что, примеряя очередной подарок, его законная половина вдруг исчезнет, испарится, а вместе с ней исчезнет и греховная ненависть Феликса к близкому человеку.

Через пять лет Ольга родила сына, и Шапа понял – все это навсегда, и никакие шляпки ему впредь не помогут. В роддом он принес огромный букет цветов, и Ольга очень удивилась этому. Она была уверена: рождение сына ее муж и отец первенца отпразднует новым и нелепым головным убором.

Феликс увидел своего сына – и ровным счетом ничего не почувствовал. Так он вспомнил о том, что, кроме любви и ненависти, человек способен на третье состояние души – равнодушие.

Равнодушный воспринимает мир без боли и радости. Мир этот становится одноцветен и существует вокруг равнодушного бесплотными тенями, неспособными задеть тебя, огорчить или обрадовать.

Феликс стал жить в мире теней. Нет, он совершал положенные действия, ходил на работу, в необходимый момент говорил необходимые слова, встречался с друзьями, смотрел телевизор, посещал кино и театры, читал книги, но все это происходило с ним как бы по инерции, без заметного напряжения физических и духовных сил.

Происходило подобное, потому что Шапа напрочь утратил мечту стать невидимым. Он и так видел вокруг одни тени и себя считал тенью, существующей только при свете дня.

Ночью же, когда душа Шапы отлетала, он и вовсе переставал существовать, даже в образе тени. Так он жил долгие годы, пока не пришло время переместить себя в пространстве.

Но прежде случилась с ним еще одна случайная примерка. Однажды, собирая в осеннем лесу грибы, Феликс встретил странного старика в белом халате поверх замызганной телогрейки. Старик попросил у Шапы прикурить, и они разговорились.

– Тебе плохо, милый, – ласково сказал старик. – Ты хочешь исчезнуть, но не знаешь, как это сделать. Все твои головные уборы – дрянь, не годная ни на что. Тебе нужен терновый венец. Только пострадав, ощутив боль, ты сможешь излечиться от равнодушия и явиться в новом обличье перед другими людьми.

Шапа послушался старика. Он не нашел тернии, а сплел венок из колючей проволоки. Он примерил новый головной убор, но ничего не почувствовал, кроме досадной боли.

«Все верно, – подумал Шапа. – Меня нет. Вместо меня существует боль, страх новой боли и желание от всего этого избавиться».

Он сдернул венок. Прижег раны йодом и стал собираться в дорогу.

В новой географической точке было слишком много солнца. Так много, что привычные тени уплотнились до материальной значимости. Они стали разноцветными, шумными, свободными. И в свободе своей даже поднялись над землей.

Феликс был в панике. К нему вернулось страстное желание исчезнуть.

В отчаянии Шапа вспомнил о своей коллекции. К счастью, он захватил ее с собой.

В новой географической точке люди, несмотря на палящее солнце, терпеть не могли головные уборы. Врачи советовали

носить их, но любая, даже самая легкая, панама обрекала в этом климате на дополнительное, мучительное тепло. Врачи тем самым советовали людям пострадать во имя будущего здоровья. Но пациенты не желали жить завтрашним днем и предпочитали не мучиться от жары сегодня.

Люди вокруг были открыты солнцу, но Феликс упрямо носил свои головные уборы в любую погоду. Он начал с кепки – восьмиуголки с пуговкой, а назавтра отправился гулять в цилиндре… Каждый день он накрывал свои поседевшие и поредевшие волосы новой «крышей» и делал это без стеснения, потому что сразу понял: людям вокруг совершенно безразлично, чем он украшает свою персону.

Даже дети не обращали на Шапу внимания. Дети в этой географической точке вообще не обращали внимания на взрослых. Феликс был несказанно рад этому, потому что счел себя наконец невидимым, хотя бы для детей.

Даже родной сын Шапы перестал его замечать, увлеченный своими задачами и проблемами новой жизни. Да и жена Ольга давно научилась проходить мимо мужа так, будто его и не существует на свете.

Феликс прятался под тенью шапок, но мир, залитый солнцем, упрямо не желал его превращения в невидимку. Мир этот постоянно высвечивал Шапу, как изображение на пленке.

– А где вы купили такую красоту? – спрашивали Феликса.

– Можно подумать, что эту шляпочку вы получили в наследство от прадедушки. Скажите, он был не из Кишинева?

– Что вы себе позволяете, уважаемый? До Пурима еще далеко.

Здесь, в новой географической точке, не могла помочь утраченная любовь, забытая ненависть и благоприобретенное равнодушие. Феликс был отвратительно зрим на солнце, под безоблачным и высоким небом. Мало того, всем своим существом он чувствовал: зримость эта налагает на него обязанности, прежде неведомые.

И тогда, в полном отчаянии, он решил наконец проститься с жизнью. Ближе к вечеру, после работы, Шапа ушел на пустырь, захватив с собой мешок с головными уборами. Там, на песчаном склоне холма, Феликс вывалил всю свою коллекцию из мешка и поджег ее с разных сторон.

Костер разгорался плохо. Промасленный тяжелый фетр сопротивлялся огню, козырьки фуражек не желали плавится, только прозрачная солома шляп вспыхивала покорно, легко и радостно.

К сумеркам он уничтожил свою коллекцию, а вместе с ней и детскую безумную мечту о невидимости.

Шапа сидел в темноте на все еще горячем песке, у догорающего, вонючего костра, и прощался со своим детством.

Он думал, что прощание это будет стоить ему жизни. Но Шапа ошибся, он благополучно выдержав испытание видимостью.

Потом Шапа услышал в темноте крики родных. Феликса искали.

– Шапа! – кричали сын и жена. – Ты где?!

«Я им нужен, – подумал Феликс. – Они волнуются. Я им нужен зачем-то».

– Я тут, – совсем тихо отозвался Феликс, почувствовав вдруг, что забытая легкая радость любви возвращается к нему. Подброшенный вверх этим внезапным чувством родства, он вдруг вскочил и заорал радостно: – Я здесь! Сюда!! Ко мне!!!

Его нашли сразу, но не стали спрашивать о причинах столь внезапного ухода в темноту. Впрочем, если бы жена и сын спросили Феликса об этом, он бы ответил им просто:

– Я спрятался, а вы меня нашли – вот и все.

2002 г.

Шалом, Кецеле!

Рассказ о том, чего нет и быть не может в Интернете

У Леонида Зорина прочел: «Одиночество спасает от жизни, смерть спасает от одиночества. Всегда есть тропка из тупика». Выходит, что одиночество – прямой путь на кладбище. Вернее всего, так оно и есть, но человек живуч, изворотлив и хитроумен. Он придумал особую форму одиночества, способную имитировать жизнь во всей ее красе, – Интернет. Ничего более гениального за последний век мозг потомков Адама не выдал. Проще говоря, Интернет – спасение в одиночестве.

Волшебное, фантастическое это дело, но коварное. Любые голоса услышать можно: пение ангелов и гнусные вопли чертей. Человек у компьютера, как под контрастным душем, то он в сладком уюте райской прохлады, то душит его трупная вонь ада. Весь мир застрял в электронной паутине, все идеи, цвета, краски и запахи. Каждый у Интернета волен выбирать собеседника по своему вкусу. Мало того, активный пользователь сам может забросить себя, свои мысли, свою святость или свои пороки в необозримый космос информации. Какое поле открылось для тщеславных амбиций! Какая отдушина появилась, какая возможность «спустить пар»! Вот раньше некто В. должен был резать ножом кору несчастного дерева, чтобы запечатлеть на века свое имя при жизни, или кайлом выбивать его в скалах. Теперь этот В. может чистенько и без особых трудов донести до всего мира не только свое имя, но и свои мысли и чувства по любому поводу. И он доносит.

Есть в Интернете фантастическая, по количеству документов и томов, библиотека. Немыслимая, невозможная по своему объему. Совсем недавно о таком складе легко доступной информации можно было только мечтать. Вполне возможно, что изобретение это ниспослано человеку, чтобы смог он, как можно быстрей, вырваться из самого страшного одиночества – одиночества во Вселенной.

Но я увлекся, а хотел рассказать совсем о другом: об одной из тайн старого, доброго человеческого общения, а вот застрял на реальности виртуальной, казалось никакого отношения к моей давней истории не имеющей. Впрочем, и здесь мне пришлось задать вопрос Интернету. Совершенно дикий вопрос, настолько странный, что и на ответ не надеялся. Выглядел этот вопрос так: «Какими цветами был обозначен четырнадцатый трамвай в Ленинграде?» У нашего дома останавливались три трамвая: семнадцатый, девятнадцатый и четырнадцатый. Белый и голубой

«глаза» девятнадцатого трамвая помнил, помнил и цвета семнадцатого – белый и желтый, а раскраску четырнадцатого забыл. Пишу запрос, жму на клавиши, две секунды ожидания – и передо мной подробный перечень всех питерских трамваев с исторической справкой и разноской цветов по номерам. Мой четырнадцатый трамвай был обозначен красным и синим цветом, но два года назад, как написано, этот маршрут «был снят». Бизоньи стада автомобилей заполонили узкие улицы старого Петербурга и начали вытеснять экологически чистый и благородный транспорт.

Почти полвека назад (нет! быть того не может) я нехотя вылезал из постели под звуки гимна великого и нерушимого, а в начале седьмого часа уже топтался на углу Кирочной и Литейного в ожидании огней четырнадцатого трамвая: красного и синего.

Я тогда работал на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина, токарем в 24-м, инструментальном цехе. Четырнадцатый трамвай шел на Пески и останавливался как раз у проходной завода.

Утренний маршрут всегда был многолюден и дышал вонючим, человеческим теплом, особенно зимой. Втиснувшись в вагон, как правило, приходилось стоять, вцепившись в поручень. Всегда старался занять место, поближе к электропечи под сиденьем, а устроить на этом сиденье тощий, холодный зад и вовсе было праздником души и тела.

Зимой грязно-белые, морозные узоры закрывали окна трамвая, но я все равно, по характеру перестука колес, знал пункты маршрута: вот под нами Литейный мост, затем крутой поворот у Финляндского вокзала, а дальше – прямой путь по Кондратьевскому проспекту…

Основная масса пассажиров толпой вываливалась из трамвая у Металлического завода, и я шел в этой массе к проходной, нащупывая в кармане пропуск, а за турникетом охраны брел дальше, через складские заснеженные пустоши к теплу родного цеха.

Трамвайный билет стоил три копейки. Если не ошибаюсь, никаких «долгоиграющих» проездных документов тогда не было, как не было и ящиков кассы, куда нужно было опускать монету и откручивать с бобины лоскуток билета. Билеты тогда продавали живые люди. В четырнадцатом трамвае чаще всего занимался этим старик, ярко выраженной семитской внешности. Не помню, как он был одет, вернее всего, точно так же, как и все остальные граждане Ленинграда полвека назад. Помню только его

шерстяные рукавицы с обрезанными «пальцами» и сами эти пальцы – красные от холода, с темной каемкой под ногтями.

Однажды я узнал, как зовут старика.

– Что, Абрашка, замерз? Холодно сегодня? – сказал кто-то из пассажиров, получая билет и сдачу из «обрезанных пальцев».

Старик что-то ответил своим обычным, каким-то хриплым, будто простуженным и чем-то всегда недовольным голосом. Им же он объявлял остановки:

– Полюстровский – выходим… Улица Жукова.

Помню, что обиделся тогда за продавца билетов. Солидный человек, а его пренебрежительно Абрашкой кличут. Стало досадно, что старик на это амикошонство никак не отреагировал, ничего такого сердитого пассажиру не сказал, а «проглотил» Абрашку спокойно, будто и не ожидал никакого другого обращения.

Должен признаться, что к пятнадцати своим годам национально я был ориентирован слабо. Нет, я ясно сознавал, к какому народу принадлежу, ничуть этого не стыдился, еврейство свое не прятал, но и не делал никаких попыток образовать себя по этой части, да и мое еврейское окружение вело себя в лучшем случае пассивно, медленно сползая в навязанную ассимиляцию. Вот и я сползал туда же.

Как получилось, что именно этот «Абрашка» стал толчком в проснувшемся интересе к своему народу – не знаю, но произошло именно это. Не зимой, а в сентябре, когда начались занятия в вечерней школе.

Все тот же четырнадцатый трамвай, ныне не существующий, я еду домой после занятий. Поздно, хочется спать. В трамвае пусто. Старик – продавец билетов – дремлет и даже не считает нужным объявлять остановки.

А мне не спится. Я сижу и разглядываю дремлющего старика, и мне вдруг начинает казаться, что этот сутулый, горбоносый человек совершенно случайно оказался на своем обычном месте у центрального входа в трамвай-американку, что он попал сюда по чьей-то злой воле и даже прикован цепью к железной основе сиденья. Собственно, и о себе самом я вдруг так подумал. Почему я здесь, в этом скрипящем всеми суставами старом вагоне? Кто приковал меня к маршруту четырнадцатого трамвая, отмеченного, в ночи, синим и красным цветом.

И вдруг я увидел широко открытые глаза старика. Он смотрел на меня и улыбался. Прежде я никогда не видел улыбку на губах продавца билетов. Морщинистое лицо «Абрашки» мне всегда казалось застывшей, скорбной маской. А теперь он смотрел на меня, улыбаясь, и уже не казался таким несчастным стариком,

прикованным к своему месту.

Он поймал мой ответный, удивленный взгляд и произнес еле слышно: «ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ».

Я уже знал, конечно, что такое «шалом», но почему-то это слово в устах незнакомого человека подействовало на меня удивительным образом: я вдруг испытал что-то вроде внезапно нахлынувшей радости, даже восторга, словно я, инопланетянин, тоскующий от одиночества, вдруг встретил посланца с родной планеты. То, что случилось со мной в результате услышанного приветствия, было похоже на неожиданный приступ вдохновения, когда тебе кажется, что ты всесилен, все тебе по плечу, а впереди жизнь, полная радости настоящих достижений.

Впрочем, продолжалось это недолго. На остановке ввалилась в вагон шумная, мокрая от дождя и возбужденная чем-то компания, и улыбка на лице старика погасла. Он принимал от новых пассажиров копейки и уже не смотрел в мою сторону.

Так случилось, что больше я «Абрашку» в трамвае не встречал. Наверно, заболел старик или ушел на пенсию, но одной этой встречи, одного слова ШАЛОМ оказалось достаточно. Я стал с жадностью выискивать все, что тем или иным боком касалось Израиля и евреев. Я все это копил с жадностью скряги и складывал в картонную папку с тесемками: редкие книги, брошюры, черно-белые фотографии, вырезки из газет. Все найденное, как правило, носило юдофобский совковый характер, но я был рад любому продолжению того неожиданного слова, обращенного ко мне незнакомым стариком, в загаженном вагоне трамвая.

Он улыбнулся, сказал ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ – и будто перенес меня совсем в иное измерение, заставив отныне жить совсем иначе, словно открыл передо мной дверь, прежде накрепко запертую. Что такое КЕЦЕЛЕ я тогда понятия не имел, да и сейчас не знаю, но по тону догадался, что за словом этим стоит тепло и нежность.

Сегодня моим детям и внукам здесь, в Израиле, не объяснишь, что значили для меня эти два обычных слова, сказанные стариком – продавцом трамвайных билетов осенью 1961 года. Они конечно же примут за глупость и чудачество мою уверенность, что именно с этого момента и начался мой и их путь в Иерусалим. Но это так. Все наше нынешнее бытиё началось с той неожиданной улыбки старика «Абрашки». Не уверен, кстати, что звали его именно так, да и не важно это.

Важно другое: подаренное этим человеком чувство родства и возможности обретения себя самого и своего рода.

Пройдут годы, я сочиню свою первую русско-еврейскую

повесть: «Дело Бейлиса», поставлю точку и вдруг вспомню старика – продавца билетов. Вспомню так ясно и живо, с таким чувством благодарности, что захочу посвятить именно ему это свое сочинение. Не посвятил, напечатал без посвящения и до сих пор жалею об этом.

Вот только теперь, видимо в знак благодарности, уплаты душевного долга, я записал эту историю и подумал, что при всей космической мощи Интернета ему не по силам многое. Не найти в нем, к примеру, настоящего имени старика – продавца трамвайных билетов, нет и меня самого у поворота судьбы, когда родная душа инопланетянина улыбнулась щербатым ртом и сказала ШАЛОМ, КЕЦЕЛЕ мальчишке-пассажиру, узнав в нем земляка с родной планеты.

2001 г.

Собака – тоже человек

Зимой, в шесть утра, на улице все еще темно, и за витриной парикмахерской всегда горит тусклый свет, а в допотопном кресле, перед зеркалом, сидит, развернувшись лицом к двери, маленький, седой старичок – хозяин парикмахерской – Дани Крафт.

Так на афише значится: «ДАНИ КРАФТ. СТРИЖЕТ И БРЕЕТ».

Из рекламы можно отметить еще одну, пожелтевшую от времени, бумажку. На ней сообщается, что хозяин понимает русский язык.

Иногда, в теплое и погожее утро, Дани Крафт стоит на улице, у двери своей парикмахерской и приветствует каждого проходящего мимо.

Мне он сказал однажды вот что:

– Зачем надел петлю на животное? Собака – тоже человек.

Он сказал это, а я сразу полюбил Дани Крафта за сказанное. Так полюбил, что однажды сел в кресло перед мутным, по краям, зеркалом его парикмахерской.

– Стричься, бриться? – спросил Дани, включая «праздничную» люстру под потолком.

– Стричься, – сказал я. – Уже побрит.

– Это тебе только кажется, – приглядываясь к моей поредевшей шевелюре, определил Дани Крафт. – Наша щетина не хочет покидать хозяина. Бог нас не любит с голым лицом. У еврея щетина, как правило, резиновая.

– Не понял, – удивился я.

– Она боится бритвы и прячется, – объяснил Крафт. – Не хочет бриться. Ты снял щетину аккуратно, а через пять минут снова небрит. Я всегда бреюсь дважды, с паузой.

– Хорошо, – кивнул я, тронув ладонью щеку. – Пауза есть – бреемся.

Через месяц снова опустился в кресло салона Дани Крафта.

Пустую завязку той, нашей беседы исключим. В конце процедуры, после стрижки, разговорились о мастерстве.

– У меня простой девиз работы, – сказал Крафт. – Молодой должен уйти отсюда красивым, а старый – молодым.

– Сделай меня сразу молодым и красивым, – попросил я.

– Это невозможно, – покачал головой Крафт. – Ты в парикмахерской, а не в цирке.

Возраст – ему было трудно работать. Руки начинали дрожать в самый неподходящий момент. Но Дани Крафт – мастер настоящий – трудился в минуты невольной слабости «на

автомате».

Во время третьей стрижки узнал, что репатриант он давний – с 1974 года, а до переезда «ударно трудился» в лучшей парикмахерской города Гомеля.

– Нас отпустили сразу, – сказал Дани. – Той лохматой стране не нужны были парикмахеры. Я даже обиделся, как быстро меня отпустили. И сказал жене Берте, что обиделся. А жена Берта сказала так: «Кому ты нужен, Даниил, кроме жены и детей». А теперь дети совсем взрослые, а Берта умерла… Выходит, я никому не нужен? – Он даже перестал щелкать ножницами, и внимательно посмотрел на меня в зеркале.

– Ерунда, – бодро возразил я, возомнив себя великим утешителем. – Ты нужен любому, кто заходит в твою парикмахерскую.

– С каждым днем все меньше таких, – вновь приступил к работе Дани. – Старые клиенты уходят туда, откуда не возвращаются, а новые ко мне не торопятся. Ты видел, какие сейчас роскошные салоны строят?

– А кто тебе мешает свою парикмахерскую отреставрировать? – спросил я. – Посмотри: стены обшарпанные, кресло музейное, в зеркало твое только по центру смотреть можно.

– Ты прав, – не обидевшись совершенно, кивнул Крафт. – Знаешь, и деньги на ремонт есть, и человек я не жадный, а боюсь чего-то, сам не знаю чего… Вот думаю: изменю я здесь все, а зайти в новое помещение не смогу. Чужое оно будет. Понимаешь?

– Нет, – сказал я. – Ты, Дани, мастер настоящий, но как алмаз без шлифовки. Можешь стать брильянтом, а не хочешь.

Он не сразу ответил на мою банальную образность, да и заговорил как-то нехотя:

– Мы с мамой из эвакуации вернулись в сорок шестом году. Мне как раз пятнадцать лет исполнилось. Пришли к своему старому дому, а там уже наши соседи – Оноприенки – живут. Хорошие люди, старые знакомые. Они нам обрадовались и сказали, что помещение сразу освободят, потому что всегда уважали моих дедушку и бабушку, погибших от фашиста, и в память моего отца, павшего смертью храбрых в боях за Советскую родину… Нас с мамой оставили ночевать, а утром мама сказала: «Посмотри, Данька, стены вроде наши, а внутри даже запах не наш. Нет, не буду я здесь жить, не смогу. Да и зачем нам двоим такой большой дом».

– Призраков она боялась, горькой памяти, – сказал я.

Дани Крафт усмехнулся.

– А здесь, ты думаешь, в этих стенах, их нет, призраков-то?

– Может, и есть, – сказал я. – Только они не стригутся и не бреются. Кассу с ними не сделаешь.

Он не ответил. Задумался. Лишь освободив мою шею от простыни, сказал так:

– Мастер, да, – ты правильно сказал. А теперь растолкуй, почему людям этого мало? Почему им еще побелка свежая нужна? Да я в своем плохом зеркале лучше клиента вижу, чем мои соседи на целой выставке новых зеркал. Разве не так?

– Дани, – поднимаясь, сказал я. – Это старый и пустой спор. Человеку приятно сидеть в уютном, чистом и красивом помещении. И с этим ничего не поделаешь.

– И что твоему человеку важнее? – сердито продолжил Крафт. – Красота эта для вида или качество обслуживания?

– И чистота и качество, – сказал я.

– Так не бывает, – вздохнул Крафт. – Помнишь, ты хотел уйти от меня молодым и красивым? Что я тебе сказал?

– Ты сказал, что это невозможно именно в моем случае, – сказал я. – Но у скольких людей есть еще на это шанс.

– Может быть, – неопределенно пожал плечами Дани Крафт. – Может быть.

Так получилось, что месяца два не заходил к старому парикмахеру. А когда появился на том углу, увидел, что в салоне Крафта начат капитальный ремонт.

Я тогда подумал: сяду скоро в новое кресло перед чистым и новым зеркалом и скажу хозяину, что теперь начинается у него вторая жизнь и от клиентов отбоя не будет.

Сделали ремонт быстро, и недели через две парикмахерская открылась во всем своем великолепии. Теперь там стояли два кресла, а не одно, но за креслами этими не было старого мастера.

Вошел, спросил у молодого парня, скучающего в углу за низким столиком с журналами, куда подевался Дани Крафт.

Он сказал, что понятия не имеет. Дело они с женой купили. Где живет прежний владелец, не помнит. Адрес и телефон есть в договоре, но все документы у него дома.

Тут появился обросший клиент, и парень приступил к работе. Мне тогда показалось, что мастер он никудышный, а может быть, только показалось это.

Адрес Крафта дали мне в соседней овощной лавке.

– Привет! – сказал старик, широко распахнув дверь. – Видел, я тебя послушался. Теперь там не парикмахерская, а музей красоты.

– А ты здесь, – сказал я.

– Как видишь, – не стал спорить Дани. – Что мне делать в музее?.. Да ты проходи.

В салоне небольшой квартиры было полно призраков старых вещей.

– Нет, – сказал Дани. – Сначала и не думал продавать… А потом… День там поработал – не мое. Все не мое! Понимаю, что дурь старческая, глупость, а не мое… Вот продал молодым… По дешевке отдал, хорошие ребята… Из Винницы… Не получился из меня брильянт в оправе.

И тут я увидел, что уголок свой из старой парикмахерской Дани Крафт не выбросил, а перенес полностью к себе домой. Вот кресло допотопное, вот тумба и зеркало, тусклое по краям.

– Ладно, – сказал я. – Некогда мне, извини. Я к тебе постричься пришел.

– Это ты правильно сделал, – обрадовавшись, засуетился Дани. – Это ты молодец. Ты смотри, я сюда свет хороший провел… У меня тут все в полном порядке для старого клиента. Мы еще поживем!

– А куда торопиться? – сказал я, усаживаясь в продавленное, неудобное кресло с вытертым бархатом подлокотников.

– Как собака твоя? – спросил Крафт, вытащив из тумбы чистую простыню, расправил ее, взмахнув, как белоснежным, но победным знаменем. – Снял удавку с шеи?

– А как же, – ответил я. – Собака – она тоже человек.

1998 г.

Положительный образ

Рассказ солдата

Нас как учили в советской школе? Очень даже просто: образы в литературе бывают положительные и отрицательные. Вот Герасим и Муму – положительные образы, а помещица – образ отрицательный, Нагульнов с Давыдовым из «Поднятой целины» – положительные, а Половцев, вражина, очень даже отрицательный. И так далее и тому подобное. Причем учителя, добрые люди, нам не лгали. Они толковали не о людях живых, а о этих самых «образах», какими их задумывали авторы, о героях литературных.

Наивные и глуповатые ученики понимали те давние уроки буквально, а умные ребята сразу усваивали, что жизнь – это одно, а литература – другое.

В жизни все гораздо сложней. Да и с литературой все не так просто. Выяснилось, например, что тот же Давыдов вовсе не такой уж положительный образ, а один из тех, кто замучил рабством и голодом русскую деревню. И так далее.

Все это я вспомнил, записывая рассказ солдата.

Он начал так: «Бывают люди – ты такого хоть и видишь, даже пощупать можешь, а их вроде бы и нет. Вот этот наш Вася был точно такой. Тенью жил, как-то по касательной. В армии так существовать трудно, но он умудрился проходить «бочком» и молча все три года.

На нем все было, как с чужого плеча. Форма сидела как-то нелепо. Даже имя он носил чужое. Вася, да с таким еврейским носом – один конфуз.

Я ему говорю однажды: «Слушай, Ткач (у него еще и фамилия была чужая – Ткачев), ты бы имечко поменял. Давай мы тебя Велвелом звать будем. Ну, Велей. Все-таки ближе к телу, так сказать. И что ты думаешь, он мне просто ничего не ответил. Улыбнулся криво и промолчал. Вот урод: нос кривой и улыбка кривая. Я его раз попробовал Велей кликнуть, не отзывается.

Этот Ткач никому в друзья не лез. Никогда в увольнительную не ходил. Не было у него никого в Израиле. И знаешь, чем он занимался в свободное время: вот не поверишь: носки вязал из шерсти и свитера. Это в нашем-то климате мужик-солдат сучит спицами. С ума можно сойти. Ладно, мы в свободной стране живем. Не хочет человек «светиться» и не надо. Хочет вязать на спицах, пусть вяжет. А в свободное от рукоделия время Ткач учил иврит. Ну, это хоть понятно. В страну он прибыл один, без родителей и всего два года назад по учебной программе.

Служил Вася нормально. Солдатом был

дисциплинированным. У командиров не было к Ткачу претензий. В походе, на учениях он лямку свою тянул, как положено, никого не подводил. Сторожевое дело тоже исполнял нормально. Вот он и получил, так сказать, право быть таким, каким был, ни на кого не похожим.

Слушай дальше. Я уже сказал, что молчаливее этого Васи человека не встречал. Все попытки контакта он с «порога» отвергал. Самую его длинную речь хорошо помню. Он, знаешь, как с ребятами познакомился. Вошел, опустил мешок на пол и говорит: «Мое имя Василий. Я ничего ни у кого не прошу. И сам ничего не даю. Вы уж извините, ребята».

Кто-то его спросил:

– Ты жадный, выходит?

– Очень, – кивнул Вася.

Ну мы тогда посмеялись такой откровенности. Потом видим, все с ним, как было сказано. И сам ничего не просит, и другим ничего не дает.

Не пил ничего с градусом, даже пива, и не курил. В магазине отоваривался редко. Купит большую бутылку самой дешевой минеральной воды – вот и все его удовольствия. Куда только деньги девал, солдатский паек, непонятно. Все-таки шестьсот шекелей на всем готовом.

Было подозрение, что он из сектантов. Спросили напрямик: смеется, рот свой тоненький кривит в улыбке. Потом решили, что он из «голубых». Подослали к нему одного «Эдика» из другой части. Тот разбежался – и совсем зря. Потом нам и говорит: «Нет, мальчики, он не из наших».

Тогда девицу к нему одну подослали. Не девица, а «всегда пожалуйста». Только спасибо скажет. Эта, дуреха, уж как старалась. Он и на нее ноль внимания. Тогда кто-то догадался, что Вася и вовсе не человек, а инопланетянин, а с такого какой спрос. Может, они там, на своей альфе Центавра размножаются почкованием.

Так мы и прослужили с этим инопланетянином все три года. Потом, когда демобилизовался, просматривал армейские фотографии. Веришь, ни на одной этого Васи не было, будто он нам всем приснился.

Мы тогда договорились ровно через год, после дембеля, встретиться. Ну, посидеть хорошо, потрепаться, былое вспомнить. Мне поручили всех ребят обзвонить. Тут я и спохватился, что у Ткача никогда телефона не было, и никаких координат этого Васи не имеется. Спрашиваю у ребят, никто не знает. Был человек – и пропал. Ладно, что делать: промаячил он одиночкой в армии и на гражданке, видать, решил продолжить свое несчастное

существование. Тут только пожалеть человека можно, что еще?

Встретиться мы договорились в Хайфе. Один из нас знал там отличный и дешевый кабак. У меня в этом городе была одна девочка знакомая. Мы с ней и раньше встречались. Вот я и решил «двух зайцев убить». Приехал в Хайфу часа за два до встречи. Думал домой закатиться к этой девчонке. Но у нее, как назло, «пересменка» случилась: переезд с одной съемной хаты на другую. Меня, как положено, запрягли. Час грузчикам помогал, носил самое хрупкое и родное. Вот невезуха! Потом мне нежный поцелуй достался – и все. Пора делать ручкой. Ребята ждут.

Девчонка мне и говорит: «Езжай на метро, как раз до места». А встретиться мы должны были в центре города. Я на нее вылупился: какое в Израиле метро? Есть, говорит, пойдешь прямо, до угла, а там площадь с фонтаном – и увидишь.

Вот теперь я вам скажу, что в нашем жарком государстве есть все, даже метро в городе Хайфе. Восемь лет в стране прожил, а ничего не знал о таком удивительном транспорте.

И какое метро замечательное: на «канатку» похоже и на детскую железную дорогу. Три вагончика всего: справа вход, слева выход, один путь на станции и два перрона. А остановок целых пять: двадцать пять минут можно ехать под землей. В моторном вагоне машинист сидел усатый и очень важный. Он станции объявлял, обслуживал пассажиров, а было их всего четверо: семейка рыжих, патлатых, и я.

И тут на одной из станций входит в вагон сам Вася Ткачев. Увидел он меня, попятился, но тут двери закрылись за его спиной.

– Все, – говорю, – Васек, ты попался. Со мной поедешь, на встречу армейских друзей. Как жизнь, рассказывай. Да ты садись, садись. А может, ты старого товарища узнавать не желаешь?

– Нет, почему? – говорит Вася и садится рядом со мной. – Я тебя сразу узнал.

– И сбежать хотел?

– Хотел, – он и не стал спорить.

Смотрю на этого Васю. Он и в гражданском наряде, как в чужом. И сидит так, неловко, будто за билет не заплатил, а едет «зайцем».

Тут мы и прибыли на конечную станцию. Как-то быстро кончилось это симпатичное, но очень уж игрушечное метро.

– Так ты, – спрашиваю, – идешь со мной.

– Куда?

Называю адрес и говорю, что там кабак, по сведениям местных людей, отличный.

– Я не хожу по ресторанам, – тихо говорит Вася.

– Ладно, – говорю. – Я за тебя эту сотню несчастную выложу. Ты что – не работаешь?

– Работаю.

– И где?

– Здесь, в порту, грузчиком.

Нет, с этим Васей не соскучишься. Надо сказать, что все мы, после армии, и перед учебой нашли себе работку не пыльную. Должен человек отдохнуть хоть немного после ратных трудов. А этот псих!.. Нет, стало мне тут противно от жадности человеческой так, что на этого Ткачева смотреть расхотелось, на его нос кривой, улыбку кривую и плохо выбритую черную щетину на маленьком подбородке. Вот, думаю, мерзкий тип. И зачем я его с собой тащу. Зашибает бабки бешеные на своей черной работе, а я ему еще содержание предлагаю, пожалел бедного.

Но тут он как мысли мои прочитал.

– Сто шекелей, – говорит, – не проблема. А потом ты забыл, наверно, я ничего ни у кого никогда не прошу.

– Тебя забудешь, – бурчу и вдруг завелся: – Что ты за человек такой, Ткач? Три года вместе лямку тянули. Под камнями стояли, под выстрелами, а никто о тебе ничего не знает. Может, ты шпион какой?

Улыбается своей кривой улыбочкой.

– Вот так, – говорю, – всю дорогу. Тебя спросишь, а ты молчок. Тоска, Вася, ты уж извини.

Тут мы пришли по адресу. Заведение оказалось и в самом деле симпатичным, и ребята уже ждали за дубовым столом. Все очень Васе удивились. Никто не ожидал его увидеть. Ну, сел Ткач и вокруг него, по обыкновению, будто колпак образовался из пуленепробиваемого стекла.

Мы выпиваем, мясом жареным закусываем, языками чешем, а он сидит молча и на всех нас смотрит, как чужой, но улыбается криво, мерзко. И зачем я его с собой притащил?

– Вась, – говорю. – Ты хоть пива выпей, обижаешь компанию.

– Пива? – говорит. – Можно.

Заказал я ему большую кружку. А потом и забыл о Ткаче. Очень уж мы с ребятами разошлись, вспоминая дни веселые. Потом смотрю, он эту кружку высосал всю до капли и смотрит на нашу компанию опять же с улыбкой, но не обычной – прямая получилась у захмелевшего Васи улыбка.

Тут я и понял, что настает для нашего друга «момент истины».

– Вась? – спрашиваю. – У тебя твои крючки-спицы с собой? Связал бы нам что?

– Вам-то зачем? – говорит Вася. – В Израиле разве думаешь,

что на себя надеть. Здесь мечтаешь все с себя побыстрее снять.

Во, какую длинную фразу выдал! Ребята на Ткача вылупились, будто в первый раз его увидели.

Шимон даже поднялся во весь свой баскетбольный рост:

– Ты чего сказал, повтори.

Вася повторил, только еще добавил, что в конторах кондиционеры работают. Там даже холодно бывает, но этот холод не на пользу, потому что выходит человек на улицу, в жару – и сразу может простудиться от перемены климата.

– Класс! – сказал Шимон, сел и сразу допил свой фужер с вином до капли.

Потом снова все пошло по-старому. Только я Васе еще одну кружку с пивом заказал. Очень уж мне понравилась его разговорчивость. И не зря позаботился о товарище. Он потом меня проводить вызвался до Центральной автобусной станции. А по дороге вышел у нас вполне человеческий разговор, без умолчаний и кривых улыбок.

– Извини, – сказал тогда Вася. – Мне пить нельзя, потому что мой папа был алкоголик. И мама всегда просила, чтобы я ни капли, никогда. Отец от цирроза печени умер, совсем молодым. Я его плохо помню.

– Так это ты «по маме» в Израиль попал? – спросил я его.

– Ну да, а что, какая разница?

– Не в разнице дело, а почему она тебя одного к нам отправила?

– Бабушка, папина мама, болеет очень… Мама ее с собой взять не может, она русская, а как оставишь? Меня бабушка растила, потом сестру Олю.

– Родную сестру?

– Сводную… Мама хотела еще замуж выйти, не получилось, а Оля получилась. Ты не думай – она отличная девчонка.

– Так, – сказал я. – С тобой все ясно… Хотя нет. Ты один мужик на троих женщин, как же они тебя отпустили?

– Все просто: в русской армии денег совсем не платят, – сказал Вася. – А в нашей сто пятьдесят долларов… Я деньги эти им посылал. Они на них и жили. Понимаешь, бабушка совсем не двигается, за ней уход какой нужен. Мама подрабатывает время от времени, но гроши. Сестренка в шестом классе учится. Ей еще работать рано.

– Так ты все деньги в Россию посылал?!

– Ну а мне-то они зачем, на всем готовом.

Тут у меня ноги дальше не пошли. Встал на тротуаре, через дорогу от автобусной станции, и дальше мне идти совсем неохота. Я на жизнь во всем мире почему-то обиделся, что есть

такая проклятая бедность, когда три женщины за тысячу километров от наших мест прожить смогли только потому, что этот Вася Ткачев получал свои несчастные доллары в Армии Обороны Израиля.

– Ну теперь порядок, – сказал я и двинулся дальше. – Много им посылаешь?

– Конечно, – обрадовался Вася. – И себе оставляю. Мы с одним человеком квартиру снимаем на двоих.

– Ткач! – заорал я. – Ты – женился?!

– Нет, – улыбнулся он. – Еще не совсем… Может быть, скоро.

– Все будет замечательно! – я продолжал орать. – Бабуля твоя помрет, и мама с сеструхой к тебе приедут. Заживете!

– Не нужно ей помирать, – нахмурился Вася. – Пусть живет. Знаешь, какая она хорошая. Хочешь, я тебе фотографию покажу.

Он вытащил бумажник и показал все свое семейство: и маму, и бабушку по отцу, и сестренку от неизвестного дяди-подлеца, который не захотел жениться на его маме.

Мне эта сестренка очень понравилась.

– Знаешь, – сказал я Васе. – Когда твоя сестра вырастет, ты нас обязательно познакомишь, ладно? Я смотрю, и нос у нее нормальный, не то что у некоторых.

– Оля через год приедет, учиться по моей программе, – сказал Вася.

– Тоже будет домой деньги посылать?

– Ну зачем? – Ткач даже обиделся. – Моей зарплаты на всех хватит.

Мы еще посидели в ожидании автобуса, по мороженому слопали. Я хотел было рассказать Васе о себе, но не смог этого сделать. Как-то стыдно стало. Нет у меня, похоже, в этой жизни проблем. Тут я о носках и свитерах вспомнил.

– Слушай, Вася, это ты им вязал на спицах?

– Им, кому же еще. Знаешь, как в Мурманске холодно.

Автобус мой въехал в положенный пенал. Стали мы прощаться, пожали друг другу руки, а потом я этого сукина сына приобнял и даже чмокнул в висок. И знаешь почему? Из благодарности. Потому что раньше я думал, что на свете хороших людей совсем мало, а с того дня стал в этом сильно сомневаться».

Вот какой рассказ. И я тоже тогда задумался невольно, а вдруг школьные учителя литературы в этом самом СССР были правы: есть положительные образы на свете, и не только образы, что удивительно, но и люди.

1998 г.

Мальчик и женщина

Славянск. Соленое озеро. В нем не утонешь, даже при желании распрощаться с жизнью. Женщине – 30 лет, а мальчику – 15. Отдых на природе, летние каникулы 1960 года.

Тогда мальчик узнал, что в стране евреев есть такое же озеро. Женщина сказала:

– Это озеро называется Мертвым. Там ничего не растет, и рыб нет, но я бы назвала это озеро Добрым. В этом озере живое утонуть не может. Человек утонуть не может. Вот как здесь.

Женщина сказала это мальчику в воде, во время купания. На берегу никого не было. И они обнимались во время этого разговора. Ей нравился тощий и горячий мальчишка, а ему в тот год очень хотелось избавиться от своей невинности. Так хотелось, что «преклонный» возраст случайной подруги не мог стать препятствием для объятий.

В воду женщина заходила, не снимая блузку с длинными рукавами, пуговицы на запястьях она не расстегивала никогда, но мальчика эта странность не волновала, так как пуговицы на груди женщины были в его власти.

Она, казалось, была на все готова. Вся – обещание счастья, от пяток до макушки. Женщина как будто знала толк в плотской любви, но сама казалась девочкой, из-за роста, наверно, и маленькой, острой груди.

– Когда? – спрашивал мальчик, неловко кусая ее губы. – Когда?

– Завтра, милый, – говорила женщина. – Ты потерпи. Все будет, обещаю тебе. Только не нужно торопиться.

«Не нужно торопиться», – говорила она, а сама дразнила мальчика всем, чем могла дразнить: телом своим и словом.

Они часто гуляли в дубовой роще, целовались без удержу, а когда уставали целоваться, держались за руки и говорили о разном, но бестолково, почти в бреду.

Однажды женщина сказала с неожиданной ясностью и даже холодом. Сказанное так запомнилось:

– У свободы человеческой много значений. Толковать ее можно по-разному. Я думаю, что главное рабство – это физическая невинность. Мучительное, страшное рабство. Моисей спас евреев не от тяжкого, подневольного труда. Он сделал наш народ взрослым, вывел его к своей земле, к своему государству, к своей истории. Раб – невинен в бесправии и душевном невежестве. Беда не в том, что ноги невольника в колодках. Мозг раба в цепях, а плоть бесплодна. Раб рождает раба… Я хочу быть

твоим Моисеем. Я выведу тебя из рабства невинности. И сорок лет мне для этого не понадобится. Я сделаю это сейчас. Хочешь? Хочешь?

– Хочу, – сдавленно отвечал мальчик, мало что поняв в рассуждениях женщины. Он и не старался понять.

– Подожди, подожди немного, – вновь останавливала его жадные руки женщина. – Предчувствие свободы иногда лучше самой свободы. Ты и это поймешь когда-нибудь.

Так она играла с ним. Так она мучила мальчика. Он не мог спать. Он вставал по ночам и отправлялся к окнам дома женщины. Их разделяло тонкое стекло окна – и только. Женщина была близко. Она ровно дышала во сне за этим стеклом. Он знал точно: на ней невесомая пижама. И больше ничего не было под этой пижамой. Мальчик звал ее, вышептывая имя, но женщина ничего не слышала даже тогда, когда он стучал ногтем по стеклу.

Женщина спала спокойно. Женщина давно потеряла невинность. Она казалась себе свободным человеком, и зов плоти не мучил ее так, как бедного мальчика.

Однажды рано утром, совсем рано, еще до рассвета, ему удалось разбудить женщину.

Она распахнула окно, спросила негромко и сердито:

– Что тебе?

– Пойдем, – сказал мальчик. – Я не могу больше.

– Хорошо, – неожиданно и покорно согласилась женщина. – Я сейчас.

Они направились к дубовой роще. Мальчик вел женщину к стогу старого сена, и она знала, куда он ее ведет.

За стогом, на опушке, было поле под паром. Мальчик и женщина окунулись в тяжелый дух чернозема. Особенно сейчас, влажным ранним утром, дух этот заполнял все пространство, и поле дымилось под первыми лучами солнца.

– Знаешь, – сказала женщина. – Возьми меня на руки и перенеси вон туда, на ту сторону поля, и там я стану твоей вся. Я вешу немного, тебе не будет тяжело. Пусть это станет твоим переходом через пустыню рабства.

Она говорила еще что-то с привычным пафосом, но мальчик уже поднял женщину и шагнул с травы в черные волны пахоты.

Идти предстояло недалеко – метров пятьсот, не больше, но к концу пути мальчику показалось, что он преодолел марафонскую дистанцию. Его ноги вязли в пахоте. Он с трудом вытягивал их из черной рыхлой земли. Тело женщины на его дрожащих руках тощего подростка с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее.

– Миленький, – шептала она. – Потерпи, родной… Там, там…

Но ему было уже все равно, что случится «там». В какой-то момент он даже возненавидел свою ношу, и мальчику захотелось бросить женщину на землю, освободиться от этой непосильной, изнуряющей, убивающей его тело тяжести.

– Ой! – вдруг сказала она. – Подожди, пуговица оторвалась. Ладно, черт с ней!

Мальчик не понял, при чем тут какая-то оторвавшаяся пуговица. Руки женщины обнимали его шею. Нет, не обнимали, а давили и мучили его кожу.

Что-то (он толком никогда и не понял что) заставило мальчика пересечь поле с живой и отвратительно воркующей тяжестью на руках.

Он сделал это и бережно опустил женщину на траву. Он растянулся рядом с ней. Мальчику показалось стыдным, что он не может справиться со своим дыханием, руки его дрожат, и нет сил открыть глаза.

Женщина сказала:

– Какой же ты молодец! Ты – герой! Ты не бросил меня! Ты спас меня! Слышишь, милый, ты спас меня.

Мальчик медленно приходил в себя. Сердце перестало выскакивать из груди, и спокойный, ровный и щадящий свет утреннего солнца разогнал темень перед глазами.

Злость осталась. Он набросился на женщину с возникшим желанием и непривычной злостью. Она была покорна, но руки почему-то не обняли мальчика, а упали за голову, рукав блузки поднялся, и он вдруг увидел выше запястья женщины цифры татуировки.

Все вдруг замерло. Он не мог отвести взгляд от этих цифр.

– Что случилось? – спросила женщина, отдернув рукав. – Что с тобой?

Мальчик молчал.

– Мой номер, – тихо сказала женщина. – В Аушвице детям давали номера.

Мальчик молчал. Он не знал, что такое «Аушвиц». Он знал, что татуировки на коже делают уголовники. Он решил, что женщина под ним воровка или убийца.

– Ты была в тюрьме? – наконец, кашлянув, спросил мальчик.

– В лагере, – с раздражением повторила женщина. – Пусти же меня.

Мальчик поднялся.

– Ты – идиот! – вдруг закричала женщина, лихорадочно одергивая рукав блузки. – Ты – кретин! Ты – ничтожество! Ты – животное! Я тебя ненавижу!

Она кричала так, но все тише и тише. Мальчик и женщина огибали поле, направляясь к дому.

– Аушвиц – там немцы убивали евреев, – сказала женщина. – И всем детям ставили номера. Понимаешь, всем. Там были тысячи детей, десятки тысяч… Но выжили только сотни… Нас солдаты освободили, русские… Вот и все.

Мальчик молчал. Он мало что в тот год знал о войне и Холокосте. Он был обыкновенным мальчиком: сначала пионером, а совсем недавно – комсомольцем. Он все знал о Павлике Морозове, о Саше Чекалине, о героях-панфиловцах, но он ничего не знал о татуировках на запястьях еврейских детей, приговоренных к смерти.

Цифры татуировки как-то вдруг состарили женщину. Между ней и мальчиком невидимо пролегла пропасть прожитых лет, и оба поняли это. Пропасть казалась непреодолимой.

– Мы прятались в деревне. Глухая была деревня, в лесу, – сказала женщина. – Там долго не было немцев, а потом они пришли вместе с полицаями. Полицаи собрали всех евреев, заставили вырыть яму, а потом убили. Маму и папу убили, двух деток и дедушку.

– За что? – вырвалось у мальчика.

– Какой же ты все-таки, – усмехнулась женщина. – Они были евреями, потому их и убили.

– А тебя? – спросил мальчик.

– Меня спрятал один страшный человек в деревне, – не сразу отозвалась женщина. – Он меня хорошо спрятал в овине, а потом изнасиловал и выгнал в лес. Было холодно, поздняя осень, но немцев и полицаев в окрестностях близко не было. Меня никто не увидел и не убил. Я тогда все шла через лес и думала, что скоро умру от холода и голода… Потом вышла на сгоревший дом лесника. Дом сгорел, но сарай с конюшней остались целы. В сарае было много сушеных грибов и целая бочка моченой брусники. Я ела грибы и бруснику. Там были еще какие-то вонючие кожи. Я завернулась в эти кожи, согрелась и решила, что никуда отсюда не уйду, пока не кончатся грибы и брусника.

Женщина замолчала. Ей не хотелось говорить. Идти дальше тоже не хотелось. Она села под дерево и вновь отдернула рукав блузки. Мальчик стоял рядом с женщиной.

– А дальше? – спросил он.

– Грибы кончились… Надо было куда-то идти. Целый день шла через болото, чуть не утонула. К вечеру выбралась к большому поселку. Там были немцы и полицаи, но мне уже было все равно… В поселке устроили порядок, там даже гетто было для порядка, а в гетто – евреи. Немного, человек двести, еще не

умерших от голода… Но скоро нас всех отправили в Аушвиц. Поезд шел почти неделю. Мы часто останавливались. Мертвых выгружали и двигались дальше. Рядом с Аушвицем был другой лагерь – Биркенау. Тех, кого оставляли там, быстро убивали газом и сжигали в крематории, но меня отправили в соседний Аушвиц. Там была лаборатория для опытов. Вот смотри – ожог на спине. Меня обожгли, а потом лечили. Мне очень повезло с этим ожогом. Вот и все. – Женщина поднялась. – Нет, ты знаешь не все… У меня после того страшного человека не было никого. Я боялась каждого мужчину и ненавидела их всех. Потом тебя увидела, и мне показалось, что ты сможешь вывести меня на свободу из рабства ненависти и страха. Вот не получилось… Пуговица проклятая… Ну, что загрустил? – спросила она, улыбнувшись. – Завтра я уеду. Хочешь, мы попрощаемся сейчас.

Они даже не поцеловались на прощание. Женщина ушла, а мальчик остался на краю вспаханного поля. На следующий день он все-таки помог женщине отнести чемодан к автобусной остановке. Так он ее проводил, но на вокзал мальчик не поехал.

Подошел пыльный, скрипящий всеми железными суставами автобус. Женщина нагнула голову мальчика к себе, поцеловала сухими губами в щеку.

– Прости меня, пожалуйста, прости, – сказала она. – Ничего не поделаешь. Я тоже, наверно, сгорела в том крематории, в Аушвице.

Мальчик долго помнил почему-то, что закрылась только одна створка двери автобуса. Вторая лихорадочно дергалась, стараясь безуспешно преодолеть неисправность механизма.

2003 г.

Крыша

Здесь, в кибуце, в пустыне Арава, на границе с Иорданией, вспоминаю свой дом. Там, далеко на Севере, в русской деревне Мележи.

Мы приехали в кибуц ночью, в чарующей тишине пустыни, под чистыми звездами.

Привык совсем к другим звездам, другому небу, на иной планете, оставленной как будто навсегда… Навсегда ли?

Утро. Нехитрый домишко. Внутри все, как положено, полный набор удобств, за окном птицы поют в зеленом оазисе. Всего лишь двадцать пять лет назад здесь был один песок и камни.

Как далеко отсюда я родился, а сейчас сижу за столом в кибуце Яхель и пишу эти строчки. Значит, не навсегда покинул тот мир, невозможно это.

И невозможно это «навсегда». Да и зачем? Что прожито, то прожито. И все связано воедино через мозг, душу, сердце.

Чеканов Федор Алексеевич, по кличке Чекан, жителей Мележей – Б-гом забытого места на 101-м километре от Москвы. Чекан со мной сегодня, в этот ночной час, в пустыне Арава. Он возник неожиданно. По дороге в кибуц проскочили мы место под названием: «101-й километр». Я знаю, что это место не «черта оседлости» для сомнительного элемента. Знаю о воинском подразделении генерала Шарона под этим именем… И все же.

Прямое отношение имеет Чекан к великому нашему празднику свободы – Пейсах. Он – раб, с проколотым ухом, был одним из тех, кто проложил для меня дорогу в эту пустыню, в оазис этот, к этому столу в домике, под жарким февральским солнцем.

Чекан жену свою пырнул некогда отверткой, за измену. Нанес ей увечье, почти смертельное. Был осужден на восемь лет лагерей строгого режима. Срок отбыл полностью, проскочив все амнистии. С дружком по заключению приехал в Мележи. Ближе к Москве, его родине, нельзя было. И присох к этому месту. Стал жить там, куда привезли.

Руками умел делать все. Никакой работы не боялся, на любое дело шел смело, как в атаку. Многого от жизни не просил: кирпич «чернушки» в день, картохи, клубней несколько, и водки бутыль. Вот и все, что было нужно Чекану для счастья. Пишу «было», так как не знаю: жив он или помер. Даруй ему Всевышний долгий срок жизни, не самого большого греха был человек.

Да, чуть не забыл: еще для полного счастья нужен был Чекану душевный разговор «про жизнь». Это, думаю или хочу думать,

было главным. Собутыльников без «разговора» Чекан не признавал. Не было этой «закуски», один пил, сам с собой рассуждая о разном, уходил от компании, «придурков» не признавал решительно.

Вот образец такой беседы, случайно мной подслушанной:

– Что, Чекан, помирать скоро. Старый ты стал, а тем годом еще жилистый был, шустрый по женскому делу. Почему так выходит? Почему человек стареет и зачем? За что наказание такое, приговор смертный? Не успел человек родиться, а ему уже давалы с кивалами срок отмерили… Вот тоска-то. Ну наливай, Чекан, чего ждешь?

Поздний вечер, почти ночь, под теми, крупными звездами. На веранде стараюсь не шевелиться, подо мной ржавая сетка скрипучей железной кровати. Делаю вид, что сплю, а Чекан неподалеку, за шатучим столом, под березой, меня, надо думать, подманивает. Но меня пить не тянет. Хочется Чекана слушать. Я и слушаю.

Наговаривал на себя Федор Алексеевич. Он и в свои немалые годы молодому парню фору мог дать. Жизни в Чекане было лет на двести, потому, наверно, и пил он без меры, чтобы не зажиться особо и не умереть с тоски.

Вот только с зубами у Чекана плохо было. Он и говорил, что водяру жалует, потому что ее жевать не надо. А еще руки не любил мыть перед едой. «С микробой – оно мясистее», – утверждал Чекан.

Поводы он любил, как положено. Без повода не признавал возлияний.

Помню, заманил меня как-то на деревенское кладбище, неподалеку от загаженной и полуразрушенной церкви.

– Пошли, – сказал. – Помянем мое семейство.

Дождь мелкий накрапывал. В высокой траве сырость по колено. Остановился Чекан у одной фанерной звезды. Мне в граненый стакашек налил. Сам приготовился хлебнуть из горла. Сказал так, протянув руку с бутылкой:

– Мама, дорогая моя, вечная тебе память от сына твоего – Чекана – Чеканова. Спи спокойно. Жди сынка твоего непутевого в гости с гостинцем, не сомневайся. При жизни не видела ты от него гостинцев-то.

– Чекан, – сказал я. – Ты чего? Здесь мужик похоронен. Вон – читай. Фамилия – Козлов Иван, жил шестьдесят четыре года, умер в семидесятом году.

– Ну так за козла и выпьем, – нимало не смутившись, парировал Чекан и глотнул положенное, запрокинув голову и дернув выдающимся, плохо выбритым, кадыком.

Закусили мы хлебом из кулька и луком зеленым… Дальше двинулись под тем нудным дождичком.

– Папа мой тут, – остановился Чекан на этот раз у старой могилы под крестом. – Вечная папе память. Погиб он от немецкой пули, на фронте войны с Гитлером. Светлый был человек, ласковый… Отец! Кровинушка моя…

Смолчал на этот раз. И так ясно, что в могиле совсем другой человек лежит: еще до войны почивший. Смолчал еще и потому, что знал о полном сиротстве Чекана, от рождения. Не знал он своих папу-маму никогда.

Он об этом своем сиротстве сказал как-то замечательно.

– Что плакать-то, – сказал Чекан. – Вся наша Россия – сирота.

В общем, деликатнейшей и добрейшей души был человек Чекан. И все-то он давно пропил, кроме разума и совести. Бывало, рано-рано утром явится с тайной мечтой опохмелиться. Сядет на означенную скамейку под березой и ждет терпеливо, но с мукой, как-то неестественно выпрямившись. Я уж по одному виду Чекана, без просьб, знал, что душа его горит адским пламенем, и спешил, как правило, на помощь.

Чекан мне дом большой ставил в компании с другими стариками из Мележей. Тогда, на старте строительства, он на бревна мои глянул и определил:

– По двое на срез потянем сруб твой, в восемь рук.

Но особо мне запомнилось, как старики крыли шифером крышу. С утра по стакану – и за дело.

Г-споди! Воля Твоя! Да я бы и без стакана на той крыше не удержался. До сих пор не пойму, как мои старики хмельные за полдня управились с пудовыми листами.

Прозрачную, в обрешетке, крышу вмиг покрыли они чернью рубероида. Потом взялись за шифер.

Я на подачу был поставлен. Просовывал лист в веревочный захват, в двойную петлю, а старики наверх по полозьям лист тянули, по свежеошкуренным сосновым стволам, по естественной, за весь день не засохшей смазке.

Крышу я задумал хитрую, хотел устроить на третьем этаже светелку. Старики не спорили: «Хозяин – барин. Его дело дурить, наше – работу ладить».

Две лестницы уцепили они «зубом» за конек крыши. С этих лестниц и клали шифер внахлест на черную смоль толя-рубероида и приколачивали его к обрешетке специальными длинными гвоздями с широкой шляпкой-«зонтиком».

Сейчас, посреди пустыни Арава, сижу, глупый человек, и о том жалею, что не хватило тогда терпения: найти дефицит – черепицу. А так хотелось крышу над срубом устроить кирпичного

цвета, веселую, цветную, а не тускло-серую. Шифер – тоскливый материал, хоть и надежный для русского тяжелого климата.

Помню, как с Чеканом мечтал о черепице. Он ее никогда в руках не держал, а сказал так, крупный, угреватый нос оттерев мозолью на указательном пальце:

– Сделаем, чего хошь. Сладим твой дворец. Сообразим. Ты только достань.

Не достал, не хватило знакомств складских и упорства. Вот стоит теперь далеко от меня тот сруб из могучих бревен: семь на шесть – под обычной крышей. Стоит. О хозяине своем скучает, хоть и живет своей простой жизнью, открывая двери перед тем, кто не лил фундамент, не клал бревна, не приколачивал обрешетку и не завершал дело тяжелыми листами шифера.

Мне так хочется думать, что скучает обо мне тот дом. Скучает вместе с садом: яблонями (так и не успел их толком привить), вишнями байховыми, кустами черной смородины (восемьдесят их было, не вру!), малиной у заднего забора и прочим мной посаженным богатством.

Я тогда за Россию цеплялся всеми своими когтями. Бумагу портил буквами, кинопленку изображением, детей плодил, два дома построил на земле, не дерево посадил, а целую рощу, и все зря. Зря старался.

Но тогда, когда крыли мои старики крышу, я этого еще не знал точно, только догадывался в глубине души. Ни о чем таком не думал в тот момент. Думал: хватит нам шифера или нет?

Хватило. Потом сели, как положено, под березу, обмывать. Те, трое старичков: Иван, Колян и Валерыч – скоро отрубились и легли на травку, под большую яблоню, а мы с Чеканом остались вдвоем. Вот тогда и состоялся у нас тот разговор о Пейсахе.

– Скажи, – сказал Чекан. – Открой мне вашу тайну. Как на духу только, договорились? Вот почему вы, евреи, всегда в порядке. Утюжат вас под лист, а вы как на стреме. Все у вас путем, по-людски. А у нас, русских, что не делай, как не делай – все не впрок, все не туда. Как жили при царе Горохе, так и живем. На поверку я тебе крышу крою, а не ты мне. Ты – хозяин, а я – работник. Почему так?

Тут я ему начал заливать почему-то о Моше-Моисее, об исходе из рабства, о том, что народ мы, евреи, навеки свободный, а потому и жить стараемся при любых обстоятельствах не как рабы, не в рабстве и мраке.

– Вывел, – сказал я тогда, – нас Моисей – пророк, человек Б-жий, на светлую дорогу.

Слушал, слушал Чекан мою хмельную болтовню, а потом сказал так, нахмурившись:

– Это куда тебя твой Моисей вывел: в деревню Мележи, на сто первый километр, к старику зеку, алкашу Чекану самогон пить?

Потом он встал, чуть качнувшись, растормошил своих товарищей и увел их, ворчащих с похмелья, назад, в деревню, к старухам своим и новым несуетным делам.

А я тогда вмиг протрезвел от горькой правоты Чекана. Понял вдруг до конца, что заблудился и принял желаемое за действительное. Понял, что тропы исхода не заметил, проворонил, прошляпил за суетой, что прошли они мимо меня, мимо этого дома и моего сада.

Ушли мои предки толпой под палящим солнцем, а я остался, чуть ли не в одиночестве, на чужбине, и вот пью вонючий самогон на чужой земле, с чужими людьми, под чужим небом.

Так опечалился всем этим. До слез. Даже радоваться перестал новой крыше, под листами шифера в тринадцать волн. И понял я тогда, что крыша над моим домом вовсе не очередная точка в моей судьбе, а всего лишь запятая.

Ну, построил и построил. Вставай – и иди дальше. А Чекан, что Чекан? Может, и махнет тебе на прощание рукой, а может, и не заметит твоего исчезновения.

За окном оазис в пустыне Арава. Пишу этот рассказ близко от каменистых троп, по которым уводил Моше рабов к свободе, совсем недалеко от места, где построили свободные люди Скинию Завета, и вспоминаю деревню Мележи, свой дом и свой сад. Вспоминаю без жадности и тоски, спокойно, потому что главное для человека быть там, где он должен быть, и понимать, что все, на его длинном пути, всего лишь невольные отметины, вехи.

Я смотрю на близкую гряду гор, и кажется мне, что совсем недавно, вот за тем хребтом, скрылись те, беглые рабы фараона, бредущие к свободе, и я без особого труда смогу их догнать. Стоит только подняться из-за стола, отбросить все эти суетные листы бумаги и шагнуть налегке к закату, вслед за ними.

2000 г.

Время придет

Верочке и Нюме под пятьдесят. Нюма – мужик большой, объемный, а Верочка – существо хрупкое, с тоненьким голоском. Все как положено. Нашли они друг друга по любви много лет назад. Сразу же родили двойню – мальчиков и тихо жили при хлебном деле в своем райцентре Н. Потом почти все евреи из этого городка снялись с места, и они уехали вместе со всеми. В Израиле продолжали жить семейно и дружно до самого ухода мальчиков в армию. Но как только остались одни, начались совершенно нежелательные разговоры. Нюма стал говорить не то, что хотела слышать Верочка, а Верочкины тирады наводили тоску на бедного Нюму.

Тишина наступала, когда близнецы приходили домой на побывку. То есть не тишина, конечно, а визги музыкальные, вопли и топот. Но все это было нормой и случалось раз в две недели, а все остальное время Нюма и Верочка терзали друг друга совершенно ненужными разговорами.

Им постоянно было жарко – и они открывали для сквозняка дверь из холла на лестницу. Вот почему разговоры эти и меня невольно касались – соседа. Жили мы дверь в дверь.

Утром Нюма собирается на работу. Он по специальности трудится – в типографии.

– Куда ты меня привез?! – кричит своим тоненьким голоском Верочка.

– В Израиль, – басит Нюма.

– Послушайте его, а я думала в Америку или Канаду, – с тем же напором продолжает Верочка. – Тебе бутерброды с колбасой или сыром?

– С тем и другим, – сухо просит Нюма.

– Может, тебе еще и паюсной икры намазать?

– А она у нас есть? – невинно интересуется Нюма.

Следует смех саркастический.

– Послушайте нашего миллионщика. На твою зарплату как раз и можно купить одну баночку в месяц.

– Это клевета, – басит Нюма и старается свести все к шутке. – Не одну, а целых две.

Но и шутка оказывается неуместной. Следует смех издевательский, въедливый.

– Чао! – торопится смыться Нюма.

– Что за человек? – напутствует его Верочка. – Даже попрощаться не может по-человечески.

Я догоняю соседа у автобусной остановки.

– Слышал? – спрашивает он.

– А куда денешься, – отвечаю я.

– Вот скажи, – говорит он, – почему люди так меняются. Моя Веруня – тишайшей души была человек, а теперь как с чертом спелась, пилит и пилит.

– Раньше терпела, а теперь больше не желает, – говорю я. – Нас по молодости терпят, а потом за этот терпеж мстят.

– Чего ж будет? – спрашивает Нюма.

– У всех по-разному, – говорю я.

– Вот ты один живешь, – говорит Нюма уже в автобусе. – Лучше одному-то?

– Тоже не сахар, – вздыхаю я.

Домой возвращаюсь через сквер. Знаю, что на третьей скамейке от угла сидит Верочка в компании с «подшефной» старушкой. Эта старушка и есть Верочкина работа. Она с ней гуляет, прибирается в доме, готовит еду…

Старушку зовут Магдой. Ходит она очень плохо, и с головкой у Магды тоже не все в порядке. Задумчивая она очень, и беседовать с ней можно только на одну тему.

– Время придет, – тихо говорит Магда.

– А куда денемся, – отвечает Верочка.

– Придет время, – радостно улыбается Магда.

– Непременно, – зевнув, отвечает Верочка, поворачиваясь ко мне. – Привет, сосед, сядь, отдохни.

Присаживаюсь.

– Время придет? – спрашивает Магда, внимательно посмотрев на меня.

– А как же, – привычно подхватываю я.

– Ты слышал, что он мне утром сказал? – спрашивает Верочка.

– Он сказал «чао», – вспоминаю я.

– Придет время, – говорит Магда.

– В свой час, – торопливо, скороговоркой отзывается Верочка. – А про икру не слышал?

– Нет, – говорю я. – Кстати, я за хлебом, тебе не нужно?

– Да вроде все есть, – говорит Верочка. – Через три дня мальчишки приедут. Ты знаешь, как они растут? Каждый месяц по сантиметру.

– Время придет, – говорит Магда.

– Ты не помнишь – долго люди растут? – спрашивает Верочка.

– Лет до двадцати, – говорю я.

– Время придет! – нервно и требовательно кричит Магда. – Придет время!

– Придет, придет, – торопится подтвердить Верочка, и

старушка успокаивается.

Вечером жду обязательного взрыва. Я думаю – вот тоненький голосок у женщины, нежный, а проникает даже сквозь стены.

– Что ты сказал? Котлеты холодные?! Я же при тебе их грела! Это невыносимо. Не могу больше жить с этим человеком!

Мне не нужна соль, но я иду за солью. Дверь, по обыкновению, открыта. Верочка сидит у телевизора, включенного без звука. Нюма вяло пережевывает остывший ужин.

– Соседи, – говорю я, – сыпните белого яду.

– Мы тебе вчера сыпали, – хмурится Верочка.

– Все съел.

– Садись, – говорит Нюма. – Хочешь котлету? Очень вкусная котлета, только холодная.

– Еще одно слово – и я уйду, – решительно заявляет Верочка.

Беру котлету, пробую.

– Нормально горячая пища, – говорю я. – Ты не прав.

С дивана доносится всхлип-стон, победительный и страдательный одновременно. Котлета быстро кончается.

– Очень вкусно, спасибо, – благодарю я.

– Хочешь еще одну? – предлагает Верочка.

– Нет, воздержусь. Хватит мозоль отращивать.

– Ты слышал, – говорит Верочка Нюме. – Человек думает о себе, о своем здоровье. Понимает, что обжорство не доведет до добра. А ты на себя в зеркало посмотри. Вот встань и посмотри сейчас же!

– Самый толстый человек на свете весит триста шестьдесят килограммов, – говорю я. – Рекорд Гиннеса.

– Мы скоро перекроем, – усмехается Верочка и тянется за пультом. Телевизор становится говорящим. Сейчас начнется очередная серия «мыльной оперы». Я могу быть свободен. Минут сорок у соседей будет тихо, если не считать страданий экранных. Ухожу.

– Может, в шахматишки? – останавливает меня Нюма тихим вопросом.

– Можно, – говорю я.

Мы странно играем в шахматы. Мы сидим перед доской, на которой расставлены фигуры, не трогая ни одну из них.

– Что делать? – спрашивает Нюма. – Так дальше жить нельзя. Ее все раздражает. Ну, абсолютно все: как я говорю, как молчу, как зубы чищу и как одеваюсь… Только иногда, ночью, все нормально.

– Значит, уладится, – говорю я. – Есть шанс.

– Ты думаешь?

– Уверен.

– Не надо было нам уезжать, – вздохнув, говорит Нюма.

– И стареть тоже не надо, – говорю я.

– Это точно, – соглашается Нюма. – Вот скажи, зачем человек на свет родится?

– Чтобы жить, – говорю я. – И все? А что тебе еще нужно?

– Ну, не знаю… Все-таки одной жизни человеку мало.

– Хочешь прожить две?

– Да не в этом дело… В радости жить хочется. Жизни вовсе не получается, если в ней радости нет… Вот она не понимает.

– Ей в радость тебя пилить, в удовольствие, – говорю я. – Бывает и так. Ты потерпи.

– Я терплю, – вздыхает Нюма. – Сам видишь… Только опять же в радость жить хочется.

– Тогда давай пива выпьем? – предлагаю я.

– Давай, – соглашается Нюма.

Однажды безумной Магде удалось выскочить из дома без сопровождения. Я встретил ее на автобусной остановке. Вокруг Магды собрались люди. Они хотели помочь «русской» старухе, но не знали чем.

– Время придет! – отчаянно кричала Магда дрожащим голосом, и по ее морщинистым щекам текли неестественно крупные слезы. – Время придет!

– Извините, – сказал я, протиснувшись к Магде, и сел рядом с ней.

– Время придет?! – с надеждой повернулась ко мне старуха.

– Придет, – сказал я. – Куда мы денемся, обязательно придет.

1997 г.

Гороховый суп

Старик Гаврилов ел все, кроме горохового супа. Он глотал любую еду, кроме жареных гвоздей и этого супа. Гаврилов даже запах гороха не переносил. Мне же всегда казалось, что горох ничем не пахнет, но Гаврилов утверждал, что вонь от этого безобидного продукта слышит за версту.

Однажды мы крепко выпили со стариком Гавриловым, и он сказал: гореть ему в аду как раз из-за этого самого гороха. Я тогда плохо соображал и решил, что это шутка насчет ада, а у Гаврилова просто организм скверно воспринимает подобную пищу – и все.

Мы в те годы постоянно шутили, ерничали, а серьезно говорить боялись. Страшно было – говорить серьезно.

Но старик в тот вечер несколько раз повторил насчет гороха, и я понял: надо бы спросить, почему он сходит с ума на эту тему, хотя бы потому, что еще не один человек в мире не продал свою душу Сатане за гороховую похлебку.

Я тогда решил, что спрошу обо всем этом у Гаврилова по дороге к метро. И спросил, как только мы вышли из дома в сладкую дымную сырость питерской осени.

Это я теперь пишу, что она была «сладкой», а на самом деле – мерзкой была та сырость, пробирающей до костей. Ничего не поделаешь, время меняет эпитеты и определения. Это на старых, хороших картинах краски не тускнеют и не становятся ярче. Память человеческая – холст ненадежный.

– Ты про горох хотел рассказать? – спросил я тогда, надвинув берет на уши.

– Чего это? – буркнул старик.

– Сам сказал: как выйдем, сразу расскажу, почему из-за гороха можно попасть в ад?

– Врешь, – сказал Гаврилов. – Ты, сукин сын, из брехни себе профессию сделал. Гореть тебе тоже в аду за это, понял?

– Вместе будем гореть, – сказал я. – Ты за горох, а я за брехню. В компании не так скучно.

– Пошел ты, – сказал грубый Гаврилов. (Он писал очень хорошие стихи, но и не думал публиковать их, а потому был уверен, что имеет право хамить всему миру, а мне и подавно.)

Трезвым я никогда не обижался на Гаврилова, но тогда был не тот случай. Повернулся и пошел, как было велено.

– Стой, – сказал Гаврилов.

Послушно остановился, но застыл к нему спиной. Еще, помню, подумал тогда, что так стоять гораздо приятней. Сырой,

мерзкий ветер дул в спину.

– Я молодой любил советскую власть, – тихо сказал Гаврилов. – Я ее любил, как мать родную.

Тут я повернулся. Представить себе старика Гаврилова, любящим советскую власть, было трудно. Я тогда подумал, что это мерзкий ветер исказил смысл речи моего спутника.

– Я тогда любил советскую власть, – повторил мне в лицо Гаврилов. – Меня в армию не взяли по зрению. Я думал тогда руки на себя наложить, хотя четыре года уже прошло, как война кончилась. Я был комсомолец прилежный, даже комсорг на нашем заводе сучьих турбин. Пошел тогда в райком и сказал, что в компартию хочу. По месту работы, в партком, не стал обращаться. Решил для скорости приема прямо наверх отнести заявление. Вот как я любил советскую власть.

– Тебе за это, Гаврилов, в аду гореть, – сказал я. – При чем тут горох?

– Ты хоть еврей, а дурак, – безошибочно определил Гаврилов. – За идеи в аду не горят. Только за поступки.

Не стал спорить, и мы поплелись дальше, к станции метро «Чернышевская» – ровно пятнадцать минут хода от дома, где я тогда жил. Мы зачем-то перешли улицу к чугунной ограде кинотеатра «Спартак». Там старик остановился у афиши и прочитал анонс нового фильма «Премия».

– Всем гореть в аду, – сказал, тяжко вздохнув, Гаврилов. – Ты только погляди: не стал он, сучий потрох, деньги брать, которые не заработал. Героем определили. Я вот не беру те, что заработал, а кто обо мне слышал?

– После смерти прославишься, – сказал я. – Ты не переживай.

– Долго ждать, – буркнул старик. – Еще лет пятьдесят – это точно. Это хорошо. Ада боюсь. Чертей с вилами. Не хочется помирать.

– Ну и живи, – разрешил я великодушно.

Мы вышли на улицу Петра Лаврова. Теперь этой улице вернули старую, немецкую фамилию: «Фурштадская», а этот Петр Лавров был революционер и смутьян. Он вышел из моды, и улицу у Лаврова забрали обратно.

– Ну так как, приняли тебя в партию? – спросил я.

– Нет, – буркнул Гаврилов. – Сказали: доказать преданность идеям Ленина – Сталина должен делом. В деревню послали, уполномоченным райкома по сельскому хозяйству. Сначала, значит, в Осташков отбыл. Там разнарядку получил: в деревню Шуты. От «железки» километров девять на попутке. Приехал вот в такую непогодь. Деревенька – дрянь, изб сорок – не больше. В том колхозе горох выращивали. Веришь – один горох. Еще до войны

выпал им такой фарт: горох выращивать на концентрат для армии. Там же и сушилка была, и пресс от фирмы «Шлютс». Помню, на прессе дата выпуска имелась: 1914 год.

Колхоз назывался «Путь Ильича» председателем там был Хренов Василий Егорыч. Таких кривоногих людей я больше никогда не встречал. Хренов сам себя называл – жертва рахита, а еще был он лысый совсем, хоть и не очень старый. Лысый, а бородища жуткая, как у Карабаса Барабаса.

Мне в райкоме так задачу объяснили: «Ты, парень, едешь со всеми властными полномочиями. Урожай колхозный должен весь пойти государству, на восстановление хозяйства после жуткой войны с фашистом. Город от голода пухнет. Карточки хоть и отменили, но рабочему классу жрать нечего. В случае обнаружения воровства продукта сигнализируй, сразу вышлем милицию».

Дождь перестал моросить, и мы как-то сразу, не сговариваясь, сели на мокрую скамейку. Помню, на плащи понадеялись, но они промокли тут же. Так я сидел с мокрой задницей на улице Петра Лаврова (ныне Фурштадская), и слушал рассказ старика Гаврилова.

– Этот кривоногий председатель меня в своей избе пристроил. Сказал, что чище для ночевок места не найдешь. У него баба была и детишки: двое, кажется. Утром мы с ним и пошли в сушилку, к тому прессу. Плотный такой был сарай, снаружи обитый черным толем, а внутри горелки парили под частой сеткой, и труба широкая над всем этим вроде каминной.

Я еще, когда шли вдоль берега реки, в тумане, удивился, когда на это черное строение вышли с дымом над широкой трубой.

Человек десять работали на той сушилке. Тихий народ, малокровный, почти все бабы, и почему-то в валенках. До снега, морозов было еще далеко, а дамы в этой дикой обуви фигуряют.

Я у председателя спросил, почему так? Он ответил, что обувь удобная для работы, ноги в ней не болят и не так колко ходить по гороху.

Ну, стал я эту сушилку «пасти». Дурное дело. Прихожу к концу рабочего дня, становлюсь в воротах. Мимо меня колхозники идут тихой тенью. В руках ничего, карманы выворачивали они сами, как по команде. Шапки снимали… Только через неделю стал я замечать: слишком тяжело народ шагает, еле ноги в валенках волочит. Тут все и сообразил. Ничего не стал говорить председателю, а на следующий день встал в воротах и командую:

– А ну, разувайсь! – так разнервничался, помню – линзы моих

очков совсем запотели. Я их снял и протер… Вижу, разувается народ и покорно высыпает горох из валенок. Слово не говорят. Вот так разуваются молча, отходят к загородке и высыпают. Потом все ко мне подошли, чего-то ждут, вроде как приговора и смерти.

– Идите, – говорю я. – Завтра разберемся.

Они и пошли…

Запер я сушилку на амбарный замок – и домой, к председателю. Все ему рассказал, как воровство раскрыл и пресек хищения на вверенном ему производстве. Помню, взахлеб рассказал. Я ему тогда много правильных слов выдал про нашу родную советскую власть, про мудрого учителя товарища Сталина и про то, что об этом вопиющем безобразии буду вынужден сообщить в милицию и райком партии…

Гаврилов замолчал. На соседней скамейке решили пристроиться старички шахматисты. Они прежде аккуратно вытерли скамейку газетами, а потом уселись, предварительно засунув в щель между планками спинки фанерку, и раскрыли на ней шахматную доску.

– Пошли, – поднялся Гаврилов, и мы двинулись прямой дорогой бульвара, ступая по мокрым, опавшим листьям к станции метро им. Чернышевского.

– Ну, что дальше было? – поторопил я замолчавшего старика.

– Ничего такого, – сказал Гаврилов и вытер моим беретом свое мокрое лицо. – Кривоногий кобылу запряг в телегу. Была в колхозе одна кобыла и одна телега, и мы отправились по дворам. Темень, грязь, впереди лошади гнутым циркулем сапоги переставляет председатель, а я позади телеги плетусь.

Остановка. Стук в окно. Выходит хозяйка. Почему-то только хозяйки выходили, хотя в деревне были и мужики. Немногих видел, но были. Бабы сразу, без слов, все понимали. Уходили и вскоре возвращались с мешком, полным гороха. В тишине все происходило. Только раза два дети заголосили в избе. Так мы шли от двора к двору… Десять дерюг с горохом лежало в телеге. Помню, спросил у кривоногого, есть ли у людей скотина. Ответил, что давно уж нет. Спросил о птице. Он сказал, что курей пяток имеется, а потом зачем-то добавил, что у них специализация по гороху. Будь он проклят, тот горох! Мы его свезли в сушилку и высыпали, куда положено.

– Не надо в милицию, – сказал кривоногий председатель. – Засудят баб, а у них дети, да и работать на советскую власть будет некому. Боле в валенках не пускай. У них трудодни есть: по два мешка картохи и по пяти кил пшена. Даст Бог, зиму

протянем.

Когда домой вернулись, председатель на ужин отлил мне супу горохового из чугуна. Я голодный был, как черт, а есть не стал. Вот с тех пор даже видеть не могу тот суп… Ну вот, через неделю вернулся в Осташков, отрапортовал, что все нормально, получил бумагу, и в Питер.

Там меня в райкоме похвалили и сказали, что мой кандидатский срок пошел, а я сказал, что не нужно мне это, так как в деревне понял, что еще не созрел для такой чести: по молодости сознания партийного не хватает.

Умный у нас был второй секретарь, из наших, заводских. Он все понял, только усмехнулся и оставил меня в покое.

– А совесть тебя в покое никак оставить не может? – сказал я то, что в трезвом виде не смог бы выговорить никогда.

– Верно, – усмехнулся на эту мою душевную жестокость старик Гаврилов. – Много пакостей в жизни делал, а те валенки с горохом забыть не могу… Так что гореть нам с тобой в аду синим пламенем. Знаешь, мне почему-то ад той сушилкой гороховой представляется. Только на решетке раскаленной я лежу голый совсем, а те деревенские бабы в валенках меня вилами ворочают с боку на бок.

По этой шутке я понял, что протрезвел старик Гаврилов, как и положено, у самой станции метро, у милицейского поста. Впрочем, какой «старик». Ему тогда и пятидесяти не было. Он умер через двадцать лет, совсем недавно, в Мечниковской больнице от болезни сердца. Это я уже в Израиле узнал, от общего знакомого.

Теперь Гаврилов, вполне возможно, в аду. Не знаю. Встретимся, тогда и определю точно… Он в больнице, как говорят, с месяц пробыл. Голодал, наверно, потому что в русских больницах очень любят кормить хворый народ пустым гороховым супом.

2003 г.

Кремень

Это история о том, как затейливы, непредсказуемы, часто случайны наши тропинки, ведущие от березок к пальмам. Как трудно протаптываются они и как порой фантастичны судьбы тех, кого мы уводим за собой в страну предков.

Из дневника Ильи Шрайбера.

«Пусть твоя цель неверна. Иди к ней, не сворачивая». Было ему лет семнадцать, когда он записал это откровение.

Еще одна строчка в дневнике двадцатилетнего Ильи:

«Будь суров, молчалив, неподкупен – и жизнь пощадит тебя».

Ну, кремень, а не человек!

В тридцать лет Шрайбер перестал заполнять своими афоризмами толстую общую тетрадь.

В тридцать лет он стал доктором технических наук. Следовательно, пришел к цели, и она оказалась верной.

Научный талант Шрайбера и его очевидную способность к организационной работе отметили сразу. Илье, несмотря на его еврейство, доверили руководство большой лабораторией в научно-исследовательском институте химического машиностроения.

Изделие, над которым со студенческих лет работал Шрайбер, могло значительно продвинуть вперед промышленность СССР.

Но не продвинуло. Начались смутные времена. Резко упали ассигнования в науку, да и сама цель оказалась не столь очевидной, как всем казалось на старте разработок.

Наконец лабораторию пришлось распустить. Илья Шрайбер вспомнил о своем еврействе и решил перебраться в Израиль и там по мере сил и возможностей продолжить свои исследования. Были у него кое-какие связи в Тель-Авивском университете и реальные надежды на востребованность в еврейском государстве.

Теперь я должен рассказать о клубке проблем личного свойства, возникших в связи с решением Шрайбера эмигрировать.

Женился он в год получения докторской степени на дочери своего научного руководителя – Ханне. Не было в его окружении более тихого, скромного и покорного обстоятельствам существа.

Через год у Ильи и Ханны родилась дочь Тамара. Девочка росла настоящей красавицей. На большеглазого, курчавого ребенка все обращали восторженное внимание. Мать, как положено, баловала единственное чадо, а Шрайбер был занят своей наукой всецело. И мало значения придавал рождению и росту своего единственного чада.

Порядок жизни требовал секса, семьи, детей. Он подчинился

этому порядку, но в главном был не намерен следовать за обычными для всех смертных приоритетами. Он, не без оснований, считал себя жрецом науки, а все остальное расценивал, как помощь или помеху в своих исследованиях.

Дочь Шрайберов родилась с некоторой странностью во взгляде. Странность эта стала очевидной лет с тринадцати. Взаимоотношения полов заинтересовали Тамару с силой всепоглощающей. Самого настоящего выродка получили тихая Ханна и пуританин Илья.

В кого родилась дочь, было непонятно, но она родилась и выросла, будто в насмешку над добропорядочностью родителей.

С большим трудом Тамаре удалось закончить школу. Дни ее были полны гульбищем разного рода: романами, интригами, побегами, абортами и прочим чадом, неизбежным в жизни слишком любвеобильных натур.

Тамара влюблялась часто и отчаянно. Вся романтика ее любовных похождений рано или поздно заканчивалась грязной прозой денежных требований. Для бедной Ханны стало истинной мукой просить у мужа очередной кредит, чтобы выручить дочь из очередной беды.

Шрайбер не сразу понял, какой наследницей наградил его Бог, а когда понял, решил для себя твердо, что детей у него нет и не было.

Он перестал давать деньги. И приключения Тамары приобрели несколько иной характер. Дочь Шрайберов стала пропадать надолго, а однажды позвонила родителям из дальнего провинциального города и сказала, что влюбилась по-настоящему в шофера грузовика и выходит за него замуж. Тамара пригласила родителей на свадьбу.

Илья Шрайбер сказал так:

– В этой жизни мне только не хватало зятя – шофера грузовика. Дочь-шлюха у меня уже есть.

Ханна не смогла, как обычно, настоять на своем и навестить молодоженов. На этом связь Шрайберов с дочерью прервалась. Был еще один телефонный звонок. Тамара сообщила им, что родила ребенка – мальчика, а спустя десять лет они совершенно случайно узнали, что дочь их много месяцев назад погибла в автокатастрофе. Узнали они это, как раз в тот момент, когда Шрайбер решил покинуть Россию.

– Там остался ребенок, наш внук, – тихо сказала Ханна. – Один без матери. Я должна… Я никуда не поеду, пока не увижу внука.

Шрайбер понял, что на этот раз ему нечего рассчитывать на безропотное подчинение. Ханна, впрочем, пошла на компромисс:

Илья один поедет за ребенком, но обязательно привезет его.

До провинциального городка, где погибла единственная дочь Шрайбера, было не меньше трехсот километров. Илья провел за рулем своей «вольво» пять часов. Он не сразу предпринял поиски зятя. Ночь провел в лучшей гостинице городка, привел себя в порядок и ранним утром отправился по адресу, записанному женой в его телефонной книжке.

Дощатую дверь квартиры на четвертом этаже панельного дома ему открыла пухлая, заспанная до полной складчатости лица особа.

– Чего надо? – добродушно зевнула заспанная дама.

Шрайбер назвал имя зятя.

– Федь! – женщина еще раз сладко зевнула и ушла, оставив Илью на пороге.

Громадный мужик выполз из ванной, обтирая могучий загорелый торс маленьким, белым, вафельным полотенцем. Шрайбер ожидал встретить человека молодого, но Феде этому было далеко за сорок.

– Я отец Тамары, – сказал Илья. – Хотел бы увидеть внука.

– Папаша, значит, – хмыкнул Федор. – Явился, значит, не запылился. – И вдруг заговорил он совсем иначе: слащаво-слезливо. – Потеряли мы нашу Томочку безвременно, при трагических обстоятельствах. Живем в неутешном горе.

– Гуляла-то доченька ваша от живого мужа, – сообщила Шрайберу из кухни женщина, открывшая Илье дверь. – Разбилась по пьяни с полюбовником.

– Чего уж теперь, – примирительно бросил Федор.

– Я бы хотел увидеть внука, – повторил Шрайбер.

– Петенька наш у мамаши моей пребывает, – сообщил бывший зять, приблизившись вплотную к гостю и обдав его запахом дешевого мыла. – В деревне Кузино. Там вольготно, воздух свежий и молоко козье. Пацану забота нужна женская, а я весь день каторжный баранку кручу.

– Хоть бы платили за то, – подала голос из кухни женщина. – Жилы на барабан мотают, а пользы – ноль.

– Бабы они и есть бабы, – добродушно сообщил Илье хозяин квартиры. – Им что ни дай, все мало.

В деревню Кузино Шрайбер добирался по грунтовой дороге через сосновый лес. Ехал он медленно: песок, лужи, ухабы. Наконец выбрался к речушке. Еще медленней миновал скрипучий деревянный мост…

– Спросишь там бабу Таисью, – напутствовал Шрайбера на

прощание отец его внука.

– Баба Таисья где живет? – спросил Шрайбер у мальчишек, сбежавшихся поглазеть на невиданную машину.

Ему обещали показать, где живет эта самая Таисья, но при этом все провожатые бесцеремонно забрались в салон «вольво».

По деревне пришлось ехать еще медленней, чем прежде. Провожатые блаженствовали и сидели тихо. В зеркале заднего вида вдруг наткнулся Илья на глаза одного из мальчишек, слишком живые глаза, под спутанными пружинами черных кудрей.

– А тебе зачем баба Тася? – спросил у Шрайбера кудрявый. – Это я с ней живу.

Илье не было нужды поворачиваться. Внука он по-прежнему видел в зеркале. Он только остановил машину перед огромной лужей.

– Ты едь, не боись, – сказал внук. – Тут не глыбоко.

Баба Тася, добрая душа, сразу стала хлопотать, убежденная, что Шрайбер умирает с голоду.

– Счас я картохи.

Он пошел за ней. Хотел было сам спуститься в погреб, но хозяйка остановила Илью.

– Стой уж, замажешься. Вон какой чистый. Работаешь поди в конторе?

– В конторе, – не стал спорить Шрайбер.

Изба бабы Таисьи держалась на честном слове. Все шаталось в ее доме, наполненном скрипами, шорохами и сквозняками. Шрайбер давно забыл, да, пожалуй, и не знал прежде, что на свете бывает такая бедность.

Перед отъездом из райцентра он зашел в магазин, купил большую коробку с шоколадными конфетами и батон копченой колбасы.

Теперь Шрайбер сидел за столом у оконца, заклеенного, несмотря на лето, полосками газетной бумаги, ел вкусную, жареную картошку и смотрел, как внук отправляет в рот одну за другой привезенные им конфеты.

– Хва, Петюна, – сказала баба Тася, закрыла коробку и унесла ее куда-то.

– А вкусные, – благодарно улыбнулся Илье внук, а потом он вдруг стал серьезен и спросил, нахмурившись: – Ты чего еще привез?

– Еще колбасу копченую, – сказал Шрайбер, запивая картошку молоком непривычного вкуса. – Парное? – спросил он мальчика.

– От Клизьмы, – ответил внук. – Ето так козу нашу кличут.

– Странное имя, – сказал Илья.

– Че странного? – удивился внук. – Клизьма – она и есть Клизьма.

Вернулась баба Тася. Шрайбер никогда в жизни не встречал таких людей, как эта старуха. И такие руки у женщины он видел впервые: напрочь сработанные руки.

– Можно я поживу у вас несколько дней, – сказал неожиданно для самого себя Илья. – Деньги у меня есть.

– Какие у нас деньги? – улыбнулась всеми морщинами старуха. – Живи так, сколько надо. Дед все-таки. Выходит, мы с тобой родня.

Таким оказался характер у бабы Таси, и так Илье понравился внук, что уже на второй день он почувствовал себя как дома. Прежде Шрайбер постоянно мучился неловкой чуждостью везде, кроме своей лаборатории в институте. Теперь же, в развалившейся избенке на окраине затерянной в лесу деревушки, ему было хорошо и спокойно.

Почты в деревне не оказалось. С нарочным передал Илья телеграмму жене, где сообщал, что внука он встретил, намерен побыть с ним несколько дней, а потом привезет Петю в столицу. Нарочный был сильно под хмельком, но баба Тася уверила гостя, что «Павлищев завсегда до городу доедет».

Наутро внук увел его в лес, грибы собирать.

– Ты, дед, слепак, – сказал Петя после двух часов блужданий по чаще. – Вона пустой кузов-то.

– Не приходилось грибы собирать, – сказал Шрайбер. – Ты прав, не умею.

– Ну, рыбу-то ловил? – поинтересовался внук.

– Нет. Тоже не было как-то времени, – сказал Илья.

– С тобой с голодухи помрешь, – вздохнул Петя. – Слышь, ты заправду мой дед?

– Заправду, – сказал Шрайбер, подумав, что этот ребенок с «вивихнутым» языком внешне – вылитая копия его детских фотографий.

Потом он узнал, что жил внук у бабы Таси уже давно. Отца и мать видел редко. В школу ходил пешком, если не было оказии, за пять километров, вниз по реке, в рабочий поселок Нелидово. Об этом Шрайберу рассказала баба Тася.

– Такой маленький, зимой, пешком? – удивился Шрайбер словам старухи.

– Так не один же, – утешила Илью хозяйка. – Компания у них.

Деревня Кузино умирала. Еще летом копошился там кое-какой народец. А в зиму оставалось дымных труб десятка два, не

больше. Магазин деревенский давно закрылся. За продуктами народ ходил в соседний поселок, но иногда, в хорошую погоду, приезжала в деревню автолавка с залежалым товаром.

На третий день Шрайбер сказал бабе Тасе, что он обещал показать внука Ханне, его второй бабушке.

– Это надо, – чуть подумав, кивнула старуха. – Это непорядок. Надо казать непременно.

Потом Илья затеял осторожный разговор с внуком по поводу близкого отъезда.

– А баба? – спросил внук напрямик, быстро во всем разобравшись.

– У твоей бабушки хозяйство большое, – сказал Шрайбер. – Коза, ее доить надо.

– Без бабы едь один, – потупившись, сказал внук.

Шрайбер сразу понял, что этот мальчишка похож на него не только по фотографиям и слову своему он не изменит. Илья даже не стал его уговаривать.

– Баба Тася, – сказал он старухе за ужином. – У меня есть квартира в Москве, но живем мы с женой в большом доме за городом. Даже зимой живем. Там все удобства. Комнат много. Отдохнете у нас вместе с Петей, а потом, если не понравится, я вас отвезу обратно.

– Курей Шурка возьмет, – подумав, сказала старуха. – А Клизьму Павлищевым отдам. Дом-то поможешь заколотить?

– Баб! Это мы мигом! – вскочил Петя.

Так они стали жить в Подмосковье все вместе: Шрайбер, Ханна, баба Тася и внук. Илья ездил в близкий город, читал лекции в университете, но мысль об отъезде в Израиль его не покидала ни на минуту.

Ему казалось, что мир вокруг стал похож на деревню Кузино, где все рушилось и умирало. Но на самом деле основная причина его настроений лежала не вне, а внутри. Потерял Илья любимую работу, а преподавательской жилки в нем не было.

В первых числах сентября он посетил Сохнут и выяснил, что бабу Тасю ему придется оставить в России.

– Почему так? – удивился Шрайбер. – Она – бабушка моего внука. Выходит, разъединение, а не соединение семей.

– Возможно, – согласились с ним. – Но таков закон. Был бы другим, в Израиль переселилась бы половина России, а страна-то у евреев совсем маленькая. Вы, наверно, в курсе?

– В курсе, – кивнул, поднявшись, Шрайбер.

Вечером он сидел в кресле у камина, листал научный журнал

и краем глаза следил, как Ханна и баба Тася играли в карты. Наверху дико орала какая-то компьютерная игра. Там Илья устроил комнату для внука.

– Баба Тася? – вдруг спросил Шрайбер, отложив журнал. – Поедешь с нами в Израиль?

– Это куда? – повернулась к нему старуха.

– Страна есть такая, – сказал Илья. – Там евреи живут. Мы тоже евреи и хотим жить с евреями.

– Это правильно, – сказала баба Тася. – Поедем, чего там. Куда я теперь без вас?

Шрайбер взялся за решение задачи решительно, целеустремленно, с разработкой плана тактических мероприятий. Он по-научному подошел к проблеме «умыкания» бабы Таси.

Илье потребовалось всего две ходки в синагогу. Он объяснил коллективу задачу. Его сразу поняли, и вскоре Шрайбер познакомился с шустрым дедом лет девяноста, не меньше. Старик согласился за небольшое вознаграждение взять в жены бабу Тасю и отправиться вместе с ней и Шрайберами в Израиль. Разрешительная бумага от отца внука обошлась Илье еще дешевле.

Так они все и оказались в городе Петах-Тиква, но живут отдельно. Баба Тася наотрез отказалась поселиться со Шрайберами, и не собирается покидать своего законного супруга. И тот очень доволен создавшимся положением.

– Раз брак твой настоящим оказался, – шутит Шрайбер, – отдай деньги.

– Фигушки, – говорит старик по имени Фима. – Накося-выкуси!

Это он уже набрался словечек разных от бабы Таси.

О чем еще надо вспомнить? Конечно, не нашел Шрайбер работу по профессии. Первое время тянул на стипендию Фонда Шапиро, потом устроился в лабораторию химического завода. Моет пока пробирки и реторты, но со временем надеется на повышение.

Впрочем, у него теперь другая цель в жизни: воспитать любимого внука. И Шрайбер убежден, что на этот раз цель его совершенно верна. Есть, правда, проблемы. Внук бегло разговаривает на иврите, а Илье язык предков плохо дается. Но он надеется, что вскоре внук одолеет английский, и они начнут объясняться не только на сленге замечательной деревни Кузино, но и на языке Шекспира.

1998 г.

Навстречу судьбе

Однажды Григория Канторовича спросили, почему он решил перебраться в Израиль из Москвы? Старик ответил так:

– Не имеет значения, где умирать. Главное, где жить.

Вот такое настроение было у человека. Он панически боялся смерти и философствовал на эту тему, чтобы как-то скрыть этот страх.

Не был Канторович так уж стар, и в свои шестьдесят восемь лет не выказывал особых признаков дряхления. Ну, шею поворачивал не так быстро, как в молодости, слегка прихрамывал, припадая на левую ногу, и не каждую красавицу провожал жадным взглядом. Но это нормально. В любом возрасте, как известно, свои радости. Беда Канторовича была в том, что радостей этих он не находил и не желал искать.

Прихрамывать стал Григорий в результате автомобильной аварии. Сломанное бедро срослось с некоторым укорочением ноги. Впрочем, не было у Канторовича необходимости опираться на палку. Одна знакомая дама даже сказала ему, что некоторая хромота идет Григорию при его снежной седине и высоком росте.

Теперь остановимся на одной особенности характера Канторовича.

Старик (я все-таки обозначу так этого человека) и до аварии терпеть не мог скоростной транспорт: ракеты, самолеты, автомобили и даже поезда железной дороги. Его раздражала быстрота перемещения. Он считал, что спешка виновата в быстротечности человеческого существования. Раньше, по его убеждению, когда люди передвигались пешком и на лошадях, они за сорок лет проживали больший срок, чем ныне за восемьдесят. Он был убежден, что дело не в сроках жизни, отпущенных человеку, а в качественном наполнении бытия.

Канторович, как думал, так и жил. В гости к единственному другу Эфраиму старик ходил пешком. А квартировал этот Эфраим в семи километрах от дома Григория.

– Эфка, – говорил Канторович, без особого труда поднявшись на четвертый этаж дома без лифта, – ты только подумай, куда летят эти куски железа?

– Да, да, – улыбался друг, зная, что у Канторовича ответ готов.

– Они летят на кладбище автомобилей. – Старик поднимал к потолку указательный палец правой руки. – И сами они, все эти роскошные «форды», «мерседесы» и «хонды» – гроб для тех, кто сидит внутри.

Друг – добрый человек – не любил и не понимал склонность к образному мышлению и философским обобщениям, но к Григорию относился хорошо, а потому всегда улыбался в ответ, чуть заметно покачивая головой.

Из всех слов, придуманных человечеством, он чаще всего произносил слово «да». И не жалел повторять это простое выражение в любых обстоятельствах. Этим пользовались многочисленные друзья и знакомые Эфраима. Самые сомнительные схемы и умозаключения находили у этого человека обязательную поддержку.

– Да, да, – говорил Эфраим с улыбкой. – Да-да-да…

Дело в том, что долгие годы он служил под началом крайне властного человека с тяжелым, нетерпимым характером. А работу свою Эфраим любил. Вот он и изобрел метод, при котором можно устоять перед начальством, но кое-что сделать по-своему. Эфраим был убежден в глубине души, что слова ничего не значат. Главное – поступки. Он как-то прочел в популярном журнале статью о знаменитом философе Скиннере, проповеднике тех же принципов, улыбнулся, покачал головой и сказал сам себе: «Да, да, да», что он делал в свой адрес довольно редко.

Григорий Канторович, напротив, полагал, что сила слова абсолютна. И вообще, в этом мире не существует ничего, кроме идей. Тем не менее разный подход к действительности не мешал Григорию и Эфраиму дружить и проводить вместе долгие часы.

У друзей были семьи: жены, дети, внуки, но так получилось, что родня стариков существовала в каком-то ином измерении. Григория все считали легкомысленным болтуном, а Эфраим хоть и пользовался некоторым авторитетом, но был он человеком дела только на словах: никогда не умел добывать деньги в достаточном количестве, а его семья была озабочена только этой насущной проблемой.

Пора приступить к завязке этой истории. Все вы знаете, что в Европу пришла мода на самокаты. Израиль отставать не любит. И наши детки мгновенно вцепились в руль странного допотопного приспособления. Катаются они на доске нагло, полагая, что сей легкомысленный предмет – ровня автомобилю, и подрастающее поколение имеет полное право носится по дорогам. Забава эта смертельно опасна. Есть случаи тяжелейших травм. Не раз наблюдал, как нахальные юнцы выпархивали из-под колес легких автомобилей, грузовиков и автобусов. Наши водители привыкли ко всему. Но мне говорил знакомый шофер, что детки на самокатах самая отвратительная напасть на улицах наших городов.

Григорий Канторович сразу возненавидел новый вид

транспорта на доске. Он говорил своему другу Эфраиму так:

– Прежде чем завозить в Израиль эту пакость или начинать их производство, нужно было принять во внимание несносный характер наших детишек. Их своеволие, крайнюю невоспитанность и ненависть к порядку. Одно дело Германия или там Англия. Родители в этих странах могут быть спокойны. Их дети станут ездить там, где разрешено, по специальным, безопасным трассам. Но ты посмотри, что творится у нас. Прямо бедствие какое-то! Безобразие, честное слово! И куда смотрит полиция?

– Да, да, – кивал Эфраим. – Да, да…

Однажды прогуливались старики в парке. Григорий любил этот парк за величину. На некоторые аллеи не долетали даже звуки автомобильного движения. Густая зелень хранила гуляющих с одной стороны, а с другой парк выходил к гигантскому пустырю – пустыне. И пустыня эта тянулась километра на два до самой трассы под номером четыре, соединяющей центр с югом страны.

Парк украсили каналом, водопадом, фонтанами и просторной сценой у травного амфитеатра. Вот у этой сцены, за столиками кафе, и любили посиживать старики, заказав по чашке кофе или бутылку минеральной воды.

В тот день накрапывал дождик. Народу в парке было немного. Они сидели под тентом и разговаривали. Канторович затеял беседу на грустную тему кладбищ в Израиле. Он считал, что всех людей, независимо от их происхождения, нужно хоронить на одной территории.

Эфраим кивал, соглашаясь, хотя в глубине души проблемы в этом не видел. И считал, что, если люди живут врозь, и хоронить их нужно отдельно. В этом не будет лжи. Вот когда наступит всеобщий мир и лев обнимет ягненка – вот тогда… Но он молчал, не желая спорить. И даже переставал временами слышать Григория, хотя при этом не уставал улыбаться и повторять: да, да, да…

Но тут на плитах сценической площадки появились подростки на самокатах. Их было двое: оба, как ростки, внезапно поучившие силу роста. Тонкие, гибкие, полные скрытой энергии.

Эти двое, мальчик и девочка, были настоящими мастерами езды на самокате. Казалось бы, что проще. Стой на одной ноге, другой толкайся – и вперед. Но любовь к движению заставляет совершенствовать любое мастерство, и в совершенстве этом нет границ.

Эта парочка устроила настоящий танец на сцене под открытым небом, на фоне зеленого, травного амфитеатра. На

самокате они умели делать все: кататься на одном колесе, подпрыгивать, вертеться на месте, внезапно менять направление движения…

Наверняка они нашли друг друга не случайно. Оба были талантливы в одном деле и находили радость от соединения своих талантов в одно целое.

Хмурясь, следил за подростками Григорий Канторович, но постепенно черты его лица смягчались, будто за минуту душа его продела путь от злости к печали.

Он вспомнил себя, сразу после войны. В тот год его единственная пара ботинок вконец порвалась. Мать кое-как приладила подошву проволокой. В те времена подобная обувь не была чем-то исключительным, но Канторович счел «развал» ботинок достаточным поводом, чтобы не ходить в школу.

Он честно увязывал отцовским ремешком учебники, но шел к старому порту и там слонялся часами в компании таких же, как он, лоботрясов.

Он помнил, что в тот день тоже накрапывал дождь. В порту не было никого. Только безногий инвалид Генис, так его все звали, сидел у складов на своей тележке под драным навесом из парашютной ткани и, не отрываясь, смотрел на затихшее под дождем осеннее море.

Все считали, что Генис с придурью. Мальчишки дразнили его, но без особой злости, потому что инвалид не отвечал на шутки и только улыбался в ответ.

Тяжелые капли падали на редкие всклокоченные волосы Гениса и стекали по небритым щекам.

Канторович знал, что все родные инвалида утонули вместе с пароходом «Калинин», неподалеку от Керчи. Одни говорили, что пароход этот подорвался на мине, но другие утверждали, что разбит он был в ходе самолетной атаки.

Ноги Генис потерял в сорок четвертом году. Он горел в танке. Чудом выбрался на броню, но тут попал под очередь из пулемета, а стрелял немец разрывными патронами.

– Вот здесь сухо, – сказал Григорий инвалиду, устроившись у стены на своих собственных учебниках. – Давай сюда, здесь не капает.

Опираясь на «толкалки», Генис подкатил к нему, остановился рядом.

– Опять школу прогуливаешь? – спросил он.

– А тебе-то чего? – грубо отозвался Канторович.

– Ничего… Моему Карлу было бы восемь лет, – сказал инвалид. – Он бы пошел во второй класс. Он бы не стал прогуливать школу. Это точно.

– Имя фашистское, – сказал Канторович. – Карл.

– Немецкое, – спокойно поправил его инвалид. – Так звали Маркса. Я не вступил в партию, но мама моего Карла была коммунисткой. Ей очень нравился этот Маркс… Твой отец когда погиб?

– Зимой сорок первого, – сказал Григорий. – Под городом Вязьма, смертью храбрых.

– Там были тяжелые бои, – вздохнул Генис. – Много народу положили.

– Они сражались за народ, советскую власть и Сталина, – сказал Григорий.

– Это конечно, – отозвался Генис. – Слушай, хочешь, я тебе самокат сделаю. Есть у мен пара подшипников. Сохранились, когда тележку эту мастерил. А пару досок ты мне сам найдешь, ладно.

– Идет, – согласился Канторович.

Он нашел дерево для самоката. Хорошая, просмоленная доска пошла на подставку, крепкая, дубовая палка на стояк для руля. Задний подшипник укрепили толстой стальной проволокой, а передний, разворотный, приспособил Генис на литой основе от какого-то механизма.

Канторович получил самокат из рук инвалида там же, в порту, он и теперь помнил восторг быстрого движения при первом толчке ногой.

Генис тогда сказал с улыбкой: «Вот теперь мы оба на доске покатим!»

Он даже попробовал угнаться за Григорием, но сразу же перестал толкаться своими деревяшками и махнул рукой.

– Ну, кати! Кати! – крикнул он вслед Канторовичу.

– Куда катить? – в восторге заорал Григорий.

– Навстречу судьбе! – крикнул инвалид. – Навстречу, мать их!..

Канторович никогда не слышал, чтобы инвалид ругался. От удивления он даже остановился.

По лицу инвалида текли слезы.

– Навстречу судьбе, – хрипло повторил Генис. – Навстречу, мать их…

Вот о чем вспомнил старик Канторович, наблюдая за танцующими на самокатах подростками. Далеко, за морями, был старый порт города Херсона, и давно успокоился на еврейском кладбище этого города инвалид Генис. Далеко и давно, но воспоминания о своем самокате были настолько живыми и ясными, что старик будто треск услышал подшипников под

просмоленной черной доской.

– Навстречу судьбе, – сказал он другу Эфраиму.

Слова эти были настолько необычны для Канторовича, что Эфраим отреагировал на реплику Григория не в обычном стиле.

– Чего? – нахмурился он. – Ты чего сказал?

– Дети мчатся навстречу судьбе, – повторил Канторович. – Им любопытно. Они жить торопятся. Что там впереди? Это так здорово мчаться навстречу судьбе. Навстречу судьбе, это точно.

– Да, да, да, – радостно заторопился с согласием Эфраим, наблюдая за танцем подростков на плитах сцены. – Это точно.

Весь обратный путь домой старики проделали молча. И молча расстались, пожав друг другу руку.

На следующий день Канторович поступил самым неожиданным образом. Он отправился в магазин и купил себе сверкающий никелем самокат.

– Внуку подарок? – добродушно поинтересовался хозяин магазина.

– Обойдутся, – невежливо отозвался старик.

Ему было плевать на прохожих. Он не желал замечать их удивленные взгляды. Весь путь до дома друга он проделал на самокате. Он стоял на доске увечной ногой, а толкался здоровой. Канторович не ездил на этом виде транспорта больше пятидесяти лет, но он вспомнил эту технику передвижения легко, будто только вчера слез с доски на подшипниках.

За пару километров от дома Эфраима он переместился с тротуара на мостовую. И дальше катил вместе с машинами. Водителям, как ни странно, очень понравился старик на самокате. Над ним смеялись добродушно. Ему кричали на ходу слова одобрения и уступали дорогу… Канторович легко поднял свой транспорт на последний этаж.

– Знаешь, – сказал он другу, отдышавшись. – Я понял! Я все понял! Мы все мчимся навстречу судьбе вместе с земным шаром: и люди, и муравьи, и деревья, и дома, и автомобили… В этом суть движения и скорости! Ты понимаешь, в этом! И безразлично, какая нас всех ждет судьба. Главное, что навстречу, и остановиться мы уже не можем и не хотим. И даже смерть, слышь, Эфка, не остановка, не конец, потому что мы все остаемся в земном шарике и помчимся дальше со всеми.

– Да, да, – соглашался, сияя, Эфраим, вцепившись в руль самоката. – Конечно! Да-да-да-да!!!

2001 г.

Авель

Он родился легко – красивый и гладкий. Мама сразу дала ему имя – Авель и полюбила этого сына больше, чем старших его братьев и сестер. Он рос в любви и ласке. На его зов сразу являлась мама, готовая защитить Ави от страшного мира, в котором ему довелось родиться.

Малыш рос не злым, здоровым и веселым ребенком. Хорошо учился и даже проявил несомненный музыкальный дар. Сосед научил Ави играть на трубе, и в игре этой он со временем достиг совершенства.

В молодости Ави много говорил, и делал это вдохновенно. Ему было все равно, что говорить. Он любил, когда его слушали. Особенно ценил внимание девушек… И девушки любили Ави, потому что он был красив, неглуп и красноречив. Но однажды он сказал лишнее, а время было злое. Ави арестовали и стали бить, как троцкиста. Он должен был назвать своих соратников по заговору, которого не было, а была одна болтовня. Но люди НКВД получали свой паек за работу, а к работе этой язык без костей не пришьешь. Им нужны были жертвы.

Авеля били сильно. Он кричал: «Мамочка!» Но мама ничем не могла помочь своему любимому сыну. Впрочем, она старалась: искала пути к начальству, но действовала осторожно и умно, понимая, что излишний шум может только навредить Авелю. Наконец он назвал имена и подписал какую-то бумажку, не читая. Его перестали бить, а через несколько дней позвали на допрос к главному чекисту. Время, надо признаться, было еще не таким кровожадным. Главный чекист за большую взятку решил отпустить Авеля, но только при одном условии: подследственный должен был покинуть этот уездный город и уехать как можно быстрей и дальше.

Авель вышел из тюрьмы совсем другим человеком. Мама обнимала его, но не почувствовала привычного отзывчивого тепла. Его спрашивали о пережитом. Он молчал. Ему собрали большой фанерный чемодан – и Авель покинул родной город и свою семью. Как оказалось, покинул навсегда.

Он испугался тогда. Он смертельно испугался, решив, что вся сила этого мира жестока и несправедлива. И единственный путь избежать насилия – спрятаться, затаиться.

С детства, как уже отмечалось, он отличался прилежанием и аккуратностью. Эти его качества оказались востребованны. В большом столичном городе ему почти сразу удалось устроиться на машиностроительный завод чертежником. Сначала он жил в

общежитии для рабочих, а потом был размещен на казенной площади заводоуправления. Авелю предоставили маленькую комнатку в пять квадратных метров, но в ней он жил один и был совершенно счастлив, потому что после общей камеры в тюрьме Авель желал только одного: как можно больше времени проводить в одиночестве. Он брал в библиотеке книги. Он много читал и играл на трубе. Все эти занятия ему нравились, так как не требовали участия посторонних.

Со своими родными Авель не поддерживал связь, даже маме он не писал, как и было договорено. Он должен был затеряться в людском муравейнике. И он затерялся.

Природа брала свое. Авель женился на тихой машинистке из бюро по трудоустройству. В 1935 году у молодоженов родилась дочь Анна. Но жить семейно Авель не мог. Его раздражало все в жене и ребенке. Впрочем, Авеля злил мир людей вообще. Злил и пугал даже тогда, когда люди просто находились рядом с ним в транспорте, на работе или демонстрации по «красным» дням, куда Авель ходил по необходимости. Вскоре он вновь оказался один, так и не сумев привыкнуть к своей семье. Впрочем, он исправно платил алименты и один раз в две недели гулял с дочерью Анной в парке культуры и отдыха.

Потом началась война, Авеля призвали в специальные части. Все четыре года он воевал в обслуге гвардейских минометов «катюша». Воевал честно и был награжден одним орденом и тремя медалями.

После войны страхов стало меньше, и Авель сделал попытку разыскать родных, но узнал, что все они погибли от рук фашистов. Тогда впервые он испугался сам себя, потому что не почувствовал боли, а даже некоторое облегчение от этого известия.

Узнав о мученической смерти своей семьи, Авель ушел в близкий лес и там долго играл на трубе. Так он оплакал их и забыл, потому что не испытывал благодарности к материнскому чреву и любовному пылу отца. Впрочем, отца он совсем не помнил. Тот умер совсем нестарым человеком от чахотки.

Надо сказать, что война только укрепила взгляды Авеля на мир. Этот тихий и спокойный человек на самом деле был в ужасе от природы людской и склонен был доверять природе, но не человеку. Природу, особенно лес и горы, он даже полюбил.

Авель продолжал работать все там же и там же жить, в комнатушке при заводоуправлении. Барак, где находилась его жилплощадь, стоял на окраине города, а дальше был лес – главная радость Авеля. Он использовал каждую свободную минуту, чтобы оказаться в одиночестве, в лесу. Он не стремился

знать природу и относился к лесу без корысти. Он никогда не собирал грибы или ягоды. Он наслаждался одиночеством. В лесу ему казалось, что он один на всем белом свете. И больше никто и никогда не коснется грубо его души и тела.

Женщины были в жизни Авеля, но подбирал он их очень осторожно, расставался с ними быстро и без сожалений. С женщинами он ходил в кино, парк, редко в рестораны, но никогда не брал их на свои прогулки в лес.

С дочерью Авель встречался по-прежнему регулярно, хотя Анна уже выросла и не нуждалась в его деньгах и заботе. Он только обрадовался этому, а ходил в дом своей первой жены больше по привычке, чем по зову сердца. Друзей у Авеля не было, а с коллегами он пытался не вступать даже в приятельские отношения. Он жил настолько одиноко, что в год борьбы с космополитизмом его заподозрили в недобром, успели уволить, но тут умер Сталин, и Авель вновь стал к своему кульману. Надо сказать, что о еврействе своем Авель постарался забыть, но и советским патриотом себя не выказывал. Он вообще пытался жить вне конъюнктуры момента. Никуда не вступал, помалкивал на собраниях. Короче, старался свести к минимуму свои контакты с миром людей: личным и общественным.

Он выбрал одиночество. И доля эта вовсе не казалась ему страшной. Он никому не навязывал себя и не терпел, когда кто-то решал, что он нужен Авелю.

Тишина и одиночество – больше он ни в чем не испытывал нужды. Он брал отпуск весной и со временем стал уезжать в горы на своей машине. Затрат особых у Авеля не было, да и тратить деньги он не любил, потому что любая покупка требовала контакта с продавцом, с человеком. А любые контакты с людьми, кроме привычных, упорядоченных, плановых, были для Авеля мучительны. В 1962 году он накопил достаточно денег, чтобы купить машину «Москвич». Теперь он мог уезжать от людей еще дальше.

Одиночество требовало здоровья, Авель был здоров и силен, так как с юности укреплял свой организм интенсивной зарядкой по утрам.

Он не испытывал ненависти к человеческому роду. Он вообще не был способен на сильное чувство. В своем дневнике Авель записал как-то: «Я, наверно, – человек правильный, “причинный”. Человеческие страсти абсурдны. Любят они без причины, да и ненавидят тоже непонятно почему. Я к этому миру людей равнодушен. Впрочем, это неправда – я его боюсь».

Из книг ему больше всего нравился роман Дефо «Робинзон Крузо». Он перечитывал книгу эту неоднократно, но до

определенного места, до появления Пятницы. Дальше читать не хотел, ему были скучны плотно заселенные страницы.

«Господи, – думал Авель. – У Робинзона был такой счастливый шанс прожить в одиночестве, а он так и не воспользовался этим!»

На шестом десятке Авель сделал попытку поверить в Бога. Ему казалось, что с Богом не страшно, что Бог – самая реальная поддержка человеку в одиночестве. Но за Богом стоял Закон – правила общения с людьми, а этого общения Авель не желал всем сердцем.

Его единственным Богом стала природа. Он уезжал в горы так высоко, как только мог забраться. Он выбирал маршруты подальше от туристских троп. Он оставлял машину на краю альпийских лугов и уходил к вершинам, с рюкзаком за плечами и альпенштоком. Ему не раз говорили, что ходить в одиночку в горы очень опасно. Авель сознавал это, но смерти он не боялся совершенно. Он боялся жизни.

Потом Авель состарился и вышел на пенсию. Почувствовав слабость, он перестал ездить в горы, но в лес продолжал ходить теперь уже каждый день, и каждый день он играл в лесу на трубе свои нехитрые мелодии. Ему никогда не мешала погода. В дождь и слякоть он надевал долгополый, армейский плащ-палатку с капюшоном, а зимой – тулуп и валенки.

Авель бросил работать ровно в день своего шестидесятилетия. Он будто всю свою жизнь ждал этого дня, как полной свободы от людей. Ему вручили стандартный адрес, альбом и подарок. Он все это принял с благодарностью, но тут же забыл о годах своего вынужденного трудового участия в жизни людей, как о жутком сне. Труд не стал его привычкой, потому что был неизбежно замешан на контактах с людьми же, а это всегда доставляло Авелю неприятные, даже болезненные ощущения.

Нет, были, конечно, в его жизни разные происшествия, связанные с себе подобными. Однажды он играл в лесу на трубе, и тут на поляну вышла немолодая женщина с лукошком, полным грибов. Она стояла, слушала Авеля и улыбалась. Потом он перестал играть, и женщина радостно захлопала.

– Какой же вы молодец! – сказала она. – Вы здесь всегда играете?

Авель кивнул.

– Меня Катей зовут, – сказала женщина. – А вас как?

– Ави… Авель, – нехотя ответил он.

– Какое странное имя, – удивилась женщина. – Вы, наверно, не русский?

– Я – еврей, – сказал Авель.

– Как интересно, – сказала женщина. – Еврей Авель в лесу играет на дудке. У вас нет брата Каина?

– Нет, – улыбнулся Авель, потому что ему понравилась эта простая и умная женщина.

Потом она сказала, что завтра обязательно придет на это место послушать его музыку. Она сказала, что птицы замолкают, когда он начинает играть. Авель проводил женщину до города. И они расстались.

Он пришел в лес на следующий день. Он вышел точно на ту поляну, где встретил женщину Катю. Он ждал ее долго, но она так и не появилась. Она не пришла и назавтра. Тогда Авель перестал играть на привычной поляне, а нашел для своих концертов другую, подальше от того места, где он встретил Катю.

– Предательство, – сам себе сказал Авель. – Они живут только одним – предательством. Они говорят, а слова их ничего не стоят. Они лгут и жить не могут без лжи. Весь их мир построен на лжи и предательстве.

Думая об этом, он становился над муравейником и долго наблюдал за праведной и ясной жизнью муравьев.

В начале семидесятых годов Авель стал дедом. Ему понравилась внучка. Он чаще стал ходить в дом дочери (первая жена Авеля к тому времени умерла), но, к несчастью, ребенок родился с диким диатезом, интоксикацией, а потому много плакал, капризничал, шумел. Авель все реже стал навещать внучку, а потом и вовсе свел свои визиты к минимуму.

Так он и жил по касательной к миру людей. Никому, с тех давних пор своей юности, не делал он зла, но и не позволял зло это причинять себе.

Было бы неверно думать, что жизнь его была бедной, свободной от радости общения с миром. Нет, иной раз в лесу, музицируя, Авель испытывал настоящее счастье и душевный подъем. Он видел, ощущал всю красоту мира и часто даже плакал при виде движения божьей коровки или работы дятла.

В лесу он любил ложиться на землю, причем делал это при любой погоде, и смотреть в небо. Небо, особенно живое, облачное, закатное или на рассвете, вбирало в себя без остатка всю его сущность. Космос втягивал в себя Авеля, и там, в безвоздушном пространстве, он мог по-настоящему испытать восторг одиночества и отрыва от всего того, что было связано с несчастьем его рождения на бренной земле.

Однажды дочь Авеля оставила отца в своем домике на садово-огородном участке. Стоял тихий и теплый сентябрь, дачники разъехались. Старик был счастлив в своем одиночестве как никогда в жизни. Целую неделю он не слышал человеческого

голоса. Никто ни о чем не спрашивал Авеля и не требовал от него ответа. Старик просыпался с удивительным ощущением счастья и здоровья. Он растапливал печь, готовил нехитрый завтрак и думал, что завтра проснется с тем же удивительным чувством свободы и покоя.

Потом дочь Авеля решила уехать в Израиль на постоянное жительство и предложила отцу последовать за собой. Она сделала это из приличия, но Авель совершенно внезапно дал свое согласие и в восьмидесятилетнем возрасте покинул Россию, свою комнату и лес.

Ему вдруг показалось, что на родине предков он обретет что-то безнадежно утраченное; и в своем одиночестве легко примирится с миром людей, если люди эти будут похожи на него хотя бы внешне. Авель вдруг вспомнил свою семью, а главное – маму. Он вдруг подумал: там, в Израиле, он услышит ее голос и ощутит тепло рук. Он понимал, что это безумие, что радость детства не может вернуться к человеку ни при каких обстоятельствах, но все-таки надеялся на чудо. И с этой надеждой вышел в жаркую зиму аэропорта в Лоде.

Сначала он жил вместе с семьей дочери, а потом вновь предпочел одиночество. Леса не было. Но он бродил по большой пустоши между двумя городами. Жара не пугала Авеля. Он брал с собой воду, прятал седые волосы под соломенную шляпу – и странствовал до изнеможения по барханам пустоши.

Пришел он к этому не сразу. Первое время Авель любил бывать на людях. Ему и вправду казалось, что вот-вот он увидит лицо своей матери и услышит ее голос. Но со временем он перестал надеяться на чудо. И вновь стал ощущать к людям устойчивое и брезгливое равнодушие.

Пустошь спасла Авеля. Она в любое время года не была мертва. Насекомые, птицы, ящерицы, шакалы… Этого мира было достаточно старику. А еще радовали его развалины. К одному такому дому он приходил постоянно. Ему нравились узоры на разрушенном кафеле пола. Узор был ясен и красив. Так красив, что было непонятно, почему этот дом покинули люди. А еще вокруг развалин росли деревья. Авель любил отдыхать в зыбкой тени гигантской акации. Он садился на ржавый стул, доставал трубу из рюкзака и начинал играть. Над ним с ревом проносились самолеты, совсем близко гудела безумным потоком автомобильная трасса, а он играл, слушая только себя и вглядываясь в бесконечность своего одиночества.

Там, у этих развалин, и умер Авель, когда пришел его час. Умер без страха и боли, понимая, что умирает. Он играл перед самой смертью и не успел спрятать трубу в рюкзак.

По барханам гоняли мальчишки на мотоциклах. Они нашли Авеля и сообщили в полицию.

Похороны прошли тихо. Дочь никак не могла набрать необходимое для кадиша число провожатых. Раввин помог ей, собрав у могилы чужих людей. Десять человек спокойно выслушали молитву и разошлись, положив на могилу по камешку. Дочь и взрослая внучка Авеля попробовали выжать из себя слезу, но из этого ничего не вышло. Впрочем, Авель и при жизни не нуждался в слезах и сочувствии близких. Он ничего не оставил после себя, кроме помятой трубы. Но дочь решила, что следует похоронить инструмент вместе с отцом. Так и сделали.

Больше я ничего не знаю об этом человеке, сумевшем прожить свои дни на необитаемом острове, рядом с людьми и вдали от них. Думаю, что все в жизни Авеля могло сложиться иначе, но в молодости его будто приговорили к одиночеству, и не хватило в сердце Авеля мужества простить людей и поверить в возможность добра рядом с ними.

2001 г.

Два полюса на одной оси

Яков Блох привез в Израиль саженцы березы, спрятав их в футляр с контрабасом. Знающие люди предупредили Якова, что зеленые растения запрещены к ввозу в еврейское государство. Он попытался достать эти саженцы в одном из многочисленных питомников. Тщетно. Мало того, Блоха предупредили, что березы в Израиле не приживутся, так как корни этого дерева любят прохладную, влажную почву, а таковой в Израиле не имеется.

Блох сказал, что он живет на севере, в местности возвышенной, недалеко от славного города Цфата, и там почвы достаточно прохладны, а зимой часто выпадает снег.

Знатоки ботаники только пожали плечами, ничего не ответив упрямому «русскому», которому, судя по всему, скучно стало без привычных зеленых насаждений.

Яков Блох и его жена занимали небольшой домик в уютном амидаровском поселке, на окраине небольшого леса из итальянских сосен. Своим жилищем они были довольны, особенно соткой земли – настоящим богатством в стесненных условиях Израиля.

На земле этой Анна Блох посадила розовые кусты, как раз за широким окном холла. Розарий этот, не без оснований, стал ее гордостью, но сам Яков к цветнику у дома отнесся равнодушно.

Однажды, рано утром, он сидел в кресле у окна и тупо смотрел перед собой.

– Господи! – сказала Анна Блох. – Что тебе еще нужно? Почему ты всем недоволен? Живем в собственном доме. Природа вокруг царская. Воздух чистый. Дети, слава Богу, устроены. Нас не забывают. Нет, Яша, никак я тебя не пойму.

Тогда Яков Блох жене не ответил. Он не считал нужным говорить с Анной на серьезные темы, но не потому, что считал жену глупой или враждебно настроенной, а потому, что не привык делиться с близкими своей тоской и болью.

А Яков Блох безумно тосковал по России. Говорил он о своей тоске, и говорил свободно только с соседом Феликсом Гартманом. Гартман, напротив, был необыкновенно доволен своей репатриацией, и город своего прежнего местожительства – Киев – вспоминал только со злостью и раздражением.

Стариков тянуло друг к другу, но все их встречи заканчивались неизбежной ссорой.

– Ты думаешь, я часто в театр ходил? – спрашивал соседа Яков. – Раз в два года, не чаще. Но он рядом был, на соседней улице, театр-то. А музеев сколько! А теперь будто на выселках

живем, будто сослали под старость на сто первый километр!

– Да ты что говоришь, блоха поганая! – заводился с полоборота Феликс Гартман. – Это для тебя Святая земля – сто первый километр. Ты думай, что говоришь! И кто тебя сюда звал? Сидел бы в своем Питере, жрал дерьмо лопатой и не вякал.

– В Питере нет дерьма, – тяжко вздыхал Яков Блох, – а есть памятники искусства… Что бы ты понимал… А жили мы в центре, но двор был большой, с садом. Посмотришь из окна, а за ним клены могучие и березы. Одна старая, две молодые.

– Берез ему не хватает! – орал Феликс Гартман. – Скажи спасибо, что антисемиты тебя на этой березе не повесили.

– Грубый ты человек, Феликс, – говорил старик Блох. – Никак не подумаешь, что с высшим образованием.

Самому Якову не удалось закончить институт. В армию его забрали в январе 1945 года. Прошел Блох ускоренные фельдшерские курсы и весь остаток войны таскал носилки с ранеными в одном из прифронтовых госпиталей.

Увидел он тогда столько смертей, что долго не мог прийти в себя. Снились ему муки человеческие чуть ли не каждую ночь. Ни разу Яков не выстрелил из огнестрельного оружия, а травмирован был той войной так, будто не раз побывал в рукопашной схватке.

Эта травма, судя по всему, и не дала ему душевной силы продолжить образование. Сразу после войны и демобилизации направили Якова в здравпункт металлического завода на Пороховых. Там он и проработал медицинским братом до самого переезда в Израиль.

Феликс Гартман полагал, что его друг крайне удручен своей незавидной судьбой в России. И однажды утешил Якова странным образом:

– Знаешь, – сказал он. – Ты – еврей, а это само по себе уже высшее образование.

– А ты расист, – ответил ему бывший фельдшер. И пошло, поехало, да так, что ругань стариков слышали от самой проходной в поселок, а проходная эта была в полукилометре от места жительства Гартмана и Блоха.

Феликс был моложе своего соседа ровно на год, а потому в войне участия не принимал, хотя и хлебнул лиха на Чукотке в морской пограничной охране. А после службы в армии благополучно, но без блеска, закончил текстильный институт, а потом и проработал на ткацких фабриках Харькова и Киева до самой пенсии. Высоких должностей никогда не занимал, но и ниже начальника смены не опускался.

Соседу Яков первым делом и рассказал о своем решении привезти из России саженцы берез. Феликс сразу поднял его на

смех. Он сказал много обидных слов. Он почему-то стал говорить эти слова о березе, как дереве пустом, легкомысленном, ни на что не пригодным, кроме спичек и катушек для ниток. Он еще философствовать начал и придумал с ходу теорию, благодаря которой Россия никак не может выбраться из бедности, потому что века была лапотной, а лапотной оказалась по вине берез, чья кора-лыко годилась на эти самые лапти. Феликса и дальше понесло совершенно нелепым образом. Он стал орать, что и ленью своей Россия обязана березе. Плели, мол, крестьяне туески-лукошки, шли за грибам, за ягодами и не хотели заниматься прогрессом своей жизни.

– Дурак ты! – выслушав соседа, сказал Яков Блох. – Да за один веник в парной березе памятник поставить нужно! А сок ты березовый по весне пил?

– Я кофе пью по весне, с молоком! – орал Феликс Гартман. – И чай с кексом. А ты, Яшка, русский националист и квасной патриот! Таких, как ты, гнать нужно из еврейского государства поганой метлой, чтобы не жирели здесь на чужих харчах!

– Ты не дурак, – сказал ему на это Яков Блох. – Ты полный идиот.

– А ты… ты… веник березовый! – уже отступив, не без труда повернув шею на крыльце своего дома, бросил ему сосед.

Яков правильно решил, что саженцы березы следует сажать в землю Израиля под зиму. За год ему удалось накопить часть долларов на билет до Петербурга, остальные подбросил сын, и вот в начале ноября 1999 года Блох оказался в Северной столице России.

Жена Анна, понятное дело, не могла одобрить эту поездку, но и здесь Яков не стал посвящать ее в цель путешествия, а сослался на необходимость посещения могил родных людей. Тут спорить было затруднительно. Анне тоже хотелось слетать в родной город, но денег на второй билет не было. Вот она и махнула рукой на своего непоседливого мужа.

В Питере Яков устроился на квартире своего давнего приятеля и первым делом отправился в магазин музыкальных инструментов и там купил самый дешевый контрабас в футляре. Последние деньги отдал за эту блажь Яков и понял, что на обретение саженцев березы у него остается два дня, не больше.

У приятеля Блох взял саперную лопатку, отправился на Финляндский вокзал, слез под проливным холодным дождем на станции Александровка и там, в лесу, неподалеку от станции, выкопал из раскисшей по осени тяжелой земли два саженца своего любимого дерева.

Комли Яков упрятал в пластиковые пакеты и в таком виде

утроил саженцы по обе стороны контрабаса. Надо сказать, что дед Якова, еще до войны, играл на этом инструменте, и внуку очень нравился солидный бас контрабаса. Украдкой он сам пробовал дергать струны, но дед гнал его прочь и кричал, что тому, кому медведь наступил на ухо, нужно забыть о музыке. Злой был дедушка у Якова.

Потом, во время блокады, старик спалил в печке свой контрабас, но это деду не помогло, и он умер от голода и холода ранней весной 42-го года.

Яков Блох, как ни странно, без всяких проблем прошел таможенный контроль. Маленький старичок с седыми космами вокруг розовой лысины, с огромным футляром вызывал улыбки, а не подозрение.

– Человека там не прячете? – спросил только таможенник в России. – Писатель Чехов прятал.

– Нет, – сказал Яков. – Там контрабас и саженцы берез, две штуки.

– Это еще зачем? – удивился таможенник.

– Для красоты, – улыбнулся Блох.

– В Израиле твоем скажешь, что саженцы вареные – иначе не пропустят, – посоветовал лейтенант.

– Спасибо, – поблагодарил Яков Блох.

Но в Израиле ему не пришлось врать. Его пропустили без всяких проблем, и спустя четыре часа Яков благополучно обнял свою жену Анну, раскрыл футляр, убедился, что саженцы в полном порядке, и приступил к посадке, отказавшись от отдыха и ужина. (Ямы он выкопал еще до отлета в Петербург.)

Однако не две ямы выкопал Яков, а три. Третью, продолговатую, он расположил между двумя, обычными: пятьдесят сантиметров в ширину и восемьдесят в глубину.

У Блоха был «русский» знакомый на местном хладокомбинате. Он и подвез к Якову по звонку заранее приобретенный стариком брус льда. Эту розово-зеленоватую, скользкую тушу Блох и зарыл между двумя саженцами берез.

Мало того, воду для полива он держал в холодильнике. Яков не обращал внимания на достаточно прохладную, дождливую погоду той зимы и каждое утро обильно поливал свой сад этой специальной водой.

Он молча пропалывал саженцы, молча поливал их, молча подсыпал в землю рекомендованную подкормку, не обращая внимания на постоянные издевательства своего соседа Феликса Гартмана.

– Что, Мичурин? – шутил тот, поглядывая на Якова Блоха через живую, колючую изгородь. – Зря стараешься. На Святой

земле сорняки не растут.

Яков молчал.

– Я бы таких, как ты, в Сибирь высылал, в тайгу, лесниками, – продолжал Феликс. – Нечего тут сидеть на шее государства.

Яков молчал.

– К чему душу-то травить, – говорил примирительно Феликс. – Зачем, Янкель, все это? Старое там осталось, а мы здесь в новом. Скорей забудем – здоровее будем.

Яков молчал.

Он жил ожиданием. Он был уверен, что его березы оживут, и скоро он притронется к мягким, ласковым, молодым листьям.

– Здесь зелень недоверчивая какая-то, – говорил Блох жене. – Жесткая, скупая, будто сама себе не верит, что появилась на свет, а у березы особый лист – веселый, легкомысленный, что ли? А семена по весне летят, как пух небесный.

– Господи, Яша, – вздыхала жена. – Совсем ты умом тронулся с твоим садом. Вон вчера чуть куст розовый не сломал. Разве так можно?

– Нельзя, – покорно соглашался Яков Блох. – Нельзя ломать розовые кусты. Это ты права. Следующий раз буду осторожней.

Однажды, ранним утром, как раз после того, как на холмах вокруг поселка стаял под жарким солнцем случайный снег, Яков увидел на одном из саженцев первые живые побеги. Он разбудил жену. Заставил ее, ворчащую, выйти в утреннюю прохладу, потребовал любоваться побегами и даже притронуться к чуду почки, будто покрытому тем пухом, о котором он говорил прежде.

Второй саженец березы так и не ожил, но первый «расцвел» победно и буйно. Яков Блох был счастлив. Он посадил свои березы таким образом, чтобы, сидя спиной к телевизору, видеть их из холла. Он мечтал о той минуте, когда опустится в кресло, спиной к телевизору, и увидит за окном березку в россыпи почек, а потом и в зеленом уборе. А теперь его мечта сбылась, и Яков был счастлив так, как был счастлив только в дни рождения своих детей.

В тот день он и контрабас вытащил из футляра и поставил его у стены.

– А это еще зачем? – спросила Анна, довольная, что ее муж одержал свою маленькую победу.

– Пусть тоже смотрит, – сказал Яков и даже притронулся к струнам инструмента.

Однажды не спалось Якову Блоху. Вышел он в холл и стал дожидаться рассвета. Впрочем, березку свою он и так видел в свете уличного фонаря.

Яков Блох сидел в полной темноте и смотрел на свою березу

в этом призрачном свете.

Потом он увидел соседа – Феликса Гартмана. Феликс подбирался к его саду с каким-то предметом в руке. Яков не сразу понял, что это пила. Потом он увидел, как Гартман, присев на корточки, примерился полотном к тонкому стволу березы…

У Блоха было время, чтобы вскочить, крикнуть, остановить своего соседа, но он не стал делать этого. Он сидел и смотрел, как Феликс неуклюже, неумело пилил ствол плохо разведенной пилой.

Только когда все было кончено, Яков вышел из дома. Гартман стоял у спиленного дерева и смотрел на молодую листву.

– Зачем? – тихо спросил Яков.

– А ты меня спросил, – с мукой произнес Феликс. – Ты меня спросил, где сажать? Я, может, каждый день из окна твою березу вижу. Ты меня спросил, как это мне ее видеть?

– Ну извини, – сказал Яков.

А Феликс выронил из руки свой плохо разведенный инструмент и заплакал. Он плакал также неуклюже и неумело, как пилил. Яков Блох обнял соседа. Они стояли в тот рассветный час, обнявшись, пока Феликс Гартман не успокоился.

– Прости меня, старого дурака, – сказал он, всхлипнув в последний раз. – Нашло вдруг что-то. В каждом из нас сидит убийца.

– Ну, это ты хватил, – сказал Яков. – Это у тебя мания величия… Чаю хочешь? Что-то продрог я до костей.

– У тебя какой чай? – спросил сосед.

– А черт его знает, – отозвался Яков Блох. – Какая разница. Был бы горячий и сладкий.

2001 г.

Совместимость

Роберт Михайлович Слоним в 1985 году, двадцати пяти лет от роду, женился по любви на Розе Абрамовне Фильчиной. Роза Абрамовна тоже страстно полюбила Слонима. Оба эти человека в браке были очень счастливы. Так счастливы, что даже безнадежная бездетность не омрачала их радостного существования в совместной жизни.

Профессиональная карьера Слонимов тоже складывалась счастливо. Роберт Михайлович к тридцати пяти годам стал главным инженером крупного завода. А Роза Абрамовна нашла себя в бизнесе галерейном, выставочном. Живопись русского авангарда была некогда темой ее кандидатской диссертации. Авангард и стал предметом ее интересов в дальнейшем.

Затем, к концу девяностых годов, жизнь этой пары совершенно разладилась. Розу Абрамовну вытеснили на обочину конкуренты, завод Слонима, обанкротившись, закрылся, да и здоровье Роберта Михайловича пошатнулось настолько, что встал вопрос о необходимости лечения за границей.

Так и состоялся переезд четы Слонимов в Израиль. Средства, после продажи недвижимости в России, у них были, и немалые.

Увы, здоровье, как известно, за деньги не купишь. Болезнь Слонима прогрессировала так быстро, что стал вопрос о срочной пересадке почки. Нужен был донор.

Слонимам сообщили, что желательными для успешного исхода операции признаками совместимости может обладать в большинстве случаев лишь почка прямого родственника больного человека.

Роза Абрамовна была готова отдать жизнь своему мужу, а не только почку, но такое самопожертвование не могло спасти несчастного Слонима. Верная и красивая любовь между этими людьми не обеспечила прямого, генетического родства. Братьев, сестер и детей у Роберта Михайловича не было, а родителей он потерял за несколько лет до переезда в Израиль.

Шансы дождаться подходящего донора, даже с помощью диализа, очищения крови, были мизерны. Супруги понимали это, как и то, что дни жизни больного подходят к концу и спасти его может только чудо.

В один из печальных, прохладных и дождливых дней израильской зимы Слонимы оказались на пустынном пляже города Тель-Авива. Они оба любили тихое море этого времени года и пустынную полосу чистого песка между комфортабельной набережной и полосой прибоя.

Роза Абрамовна и Роберт Михайлович сидели у самой воды, на легких раскладных стульях и, как правило, вспоминали о счастливых годах, прожитых вместе.

– Знаешь, – сказал Слоним. – В то утро, когда мы познакомились, я чувствовал какой-то особый подъем сил, какую-то совершенно беспричинную радость. Петь хотелось марши, будто я предчувствовал, что встречу тебя.

– На горе, – вдруг сказала Роза Абрамовна. – На горе встретил. Другая родила бы тебе ребенка. Ему бы было сейчас шестнадцать лет. Он бы дал тебе свою почку. И мы бы все жили дальше счастливо. Это я во всем виновата, Роби… И ты совершенно зря в утро нашей встречи хотел петь марши.

– Перестань! – сказал Слоним. – Ты говоришь глупости. За все в жизни нужно платить. Мы были очень счастливы все эти годы, слишком счастливы. Вот и пришел день расплаты. Все просто.

И они замолчали, сидя в легких, складных креслах на берегу тихого моря. Роза Абрамовна не знала, что ответить на прямые и честные слова мужа, а Слоним в последнее время старался, как можно больше молчать и открывать рот только в случае насущной необходимости.

Они молчали, сидя рядом, не меньше часа.

– За все приходится платить, – вдруг повторил свои прежние слова Слоним. – Ты знаешь, у меня есть ребенок. Есть сын… Я даже не знаю, как его зовут. Пусть он живет на свете с двумя почками. Если Бог дал человеку две, Он знал, что делал. Верно?

Роза Абрамовна поднялась. Она стояла перед мужем, и Слоним не видел на фоне сияющего, чистого неба лица жены.

– Какой сын? – спросила Роза Абрамовна. – О чем ты говоришь? Где он?

– Это короткая и простая история, – сказал Слоним. – Прости, что не рассказал тебе ее раньше. Я боялся, что это омрачит наши дни… Мне было двадцать лет. Мы проходили практику на фабрике, под Свердловском… Там познакомился с девушкой, ее Леной звали. Она работала кладовщицей в цехе. Мы были знакомы недолго, всего две недели. Потом я уехал, а через девять месяцев получил письмо, что у меня родился сын. Там еще была вложена фотография, но плохая, мутная, черно-белая…

– Ну и что дальше? – поторопила мужа Роза Слоним.

– Ничего. Я поступил, как подонок… Я ничего не ответил, и больше писем не было. Я даже подумал, что сообщение о рождении сына было обычным студенческим розыгрышем. Я сам убедил себя в этом, успокоил совесть. Мы, люди, мастера по этой части. Совесть лечится легко, не то что больные почки.

– Ты сможешь пожить без меня хотя бы неделю, – спросила

Роза Абрамовна. – Я найду хорошего человека. Он позаботится о тебе. Как звали тот город под Свердловском и фабрику, где ты проходил практику?

– Ты с ума сошла, – сказал Слоним. – Это был розыгрыш, обычный розыгрыш… И сядь, пожалуйста, я не вижу твоего лица.

Роза Абрамовна продолжала стоять перед мужем.

– Ну же, – сказала она каким-то чужим, резким и требовательным голосом. – Я жду.

– Не город, поселок, – выдержав паузу, нехотя ответил Слоним. – Странное название – Кущи, а фабрика?.. Там было всего одно предприятие по производству котлов.

На поиски нужного человека по уходу за больным ушло два дня. На третий день Роза Абрамовна вылетела в Москву. За эти сутки она изменилась даже внешне.

Тупое, медленное и мучительно ожидание неизбежного конца сменилось возможностью какой-то пусть призрачной, но спасительной деятельности. Появилась пусть слабая, но надежда, что жизнь Роберта Михайловича удастся продлить. Возникла возможность не тупо и пассивно ждать конца, а действовать, причем действовать в исключительных, непредсказуемых обстоятельствах.

– В стиле авангарда, – сказала сама себе уже в самолете Роза Слоним. – Роби будет жить! Я спасу его, вопреки всему.

В наступившей разлуке Роберт Михайлович казнил себя за малодушие. Милая, деловая, немолодая женщина ухаживала за ним, готовила еду, возила Слонима на диализ, но он постоянно и невольно сравнивал ее с Розой Абрамовной и думал, что они не имели права расставаться в таком положении даже на один день. Как-то скрашивали расставание телефонные звонки. Жена звонила Слониму при первой возможности.

– Роби, – говорила она в трубку. – Я в Москве, в Домодедове, через два часа вылетаю в Свердловск. Скажи, ты добирался до этих Кущей электричкой или автобусом?

– Девочка моя, – говорил Роберт Михайлович. – Возвращайся. Мне плохо без тебя. Мне совсем плохо.

– Так на чем ты ехал? – сухо повторяла вопрос Роза Абрамовна. – Автобус, электричка?

– Автобус, кажется, – еле слышно отвечал Слоним.

Он все запомнил правильно. Но Роза Абрамовна не стала связываться с общественным транспортом, а нашла пожилого таксиста, который согласился доставить ее в районный центр.

Цену при этом он заломил бешеную, так, по крайней мере, ему самому казалось, но для Розы Абрамовны двадцать долларов не были большой платой за такое дальнее путешествие. Шофер сказал, что от Свердловска до Кущей километров сто двадцать, не меньше.

Он не ошибся и не мог ошибиться, потому что сам родился и вырос в этом старинном городе. Минут через двадцать ухабистого пути Роза Слоним уже знала фамилию обманутой ее мужем девушки, имя его сына и название улицы, где жили и живут необходимые ей люди.

Улица Зиганшина оказалась тенистым тупиком у болотистого пруда на окраине Кущей. Домов здесь было немного, и Роза Абрамовна без труда нашла в одном из них Елену Кузнецову и ее сына Бориса.

Она их нашла во дворе старого, добротного сруба. Елена и ее сын пилили дрова на зиму. В этих краях много требовалось дров. Колол дрова маленький, кряжистый мужичок в черных «семейных» трусах и майке странного, сиреневого цвета.

Мужичок этот потом сказал Розе, что он благодарен Слониму. Он так и сказал, что благодарен. Он сказал:

– Стюдент молодчик, что ее обрюхатил, а то бы мне не в жисть таку бабу не видать.

И правда, Лена была выше мужичка на целую голову, и весу в ней было килограммов на сорок больше, чем в дровосеке.

Милая, круглолицая женщина спокойно выслушала Розу Абрамовну, огорчилась, узнав о смертельной болезни Слонима, а потом сказала, что не держит на давнего случайного любовника зла, потому что и до него «была с мужиками», а когда спала с Робертом Михайловичем, прекрасно понимала, что он «столичная штучка», у него своя жизнь, и в этой жизни студенту залетному ни к чему какая-то кладовщица из райцентра, пусть и с ребеночком от него самого.

«Ребеночка» не взяли в армию по причине заметной хромоты. Об этом, не без удовольствия, рассказал Розе сам Борис. Он добавил, что охромел с детства: попал в аварию автомобильную и сломал бедро. Нога не точно срослась, и вот теперь он прихрамывает, но не очень печалится на эту тему, потому что девки его любят и зовут цыганом. Вид у Бориса и в самом деле был совсем не здешний. Роза Слоним сразу, с первого взгляда на этого парня, поняла, что удалось ее мужу оставить след за собой на этой земле. И не было то давнее письмо с черно-белой фотографией обычным розыгрышем.

Визиту Розы Абрамовны эти люди не удивились, будто всегда были готовы к появлению гостьи из далекой страны. Приняли ее

радушно. Многим подаркам удивились и обрадовались без меры. И не стали уточнять, зачем все-таки прибыла в Кущи эта женщина из далекого Тель-Авива.

Утром Лена, дровосек и Борис ушли на работу. Фабрика, где проходил практику студент Слоним, теперь выпускала не паровые котлы, а бытовые душевые установки с газовым подогревом.

Гостья осталась одна. Дома ей не сиделось, и решила Роза Абрамовна совершить прогулку по незнакомому городу, застроенному приземистыми, каменными домами, за высокими заборами из почерневших от времени досок.

Она бродила по плохо мощенным тротуарам, провожала взглядом редкие легковые машины: ржавые и облупленные. Зашла даже в универмаг на центральной площади поселка. В центре этой площади стоял постамент без памятника, а в самом универмаге были товары, но какие-то странные, будто покрытые серой пылью или тяжелой патиной времени.

Роза Слоним даже в Москве не жила в подобном, будто заброшенном и забытом мире. Роза понимала, нет ее вины в том, что такие города и такие люди есть на свете, но ей вдруг стало неудобно в той чудовищной обыденности, с которой ее приняла женщина, родившая от Роберта Слонима сына. И страшно от того, что дровосек Федор, ее нынешний муж, был доволен грехом своей жены и мирно жил с пасынком, и сам Борис не имел претензий к своему родному отцу и даже был благодарен ему за нездешнюю внешность. Благодарен за то, что девки любят его нос с горбинкой и курчавые, черные волосы.

Потом, уже на улице, Розе Абрамовне показалось, что раньше и всегда она жила в ясном пусть и условном, но плоскостном и линейном мире авангарда, а этот мир поселка Кущи совершенно безумен и страшен в своем неосознанном безумии, в покорности обстоятельствам и в необратимости судеб.

Она стояла у бассейна давно не действующего фонтана. Керамическая плитка внизу отпала во многих местах, потрескалась. И вообще, этот бассейн был теперь похож на огромную траншею для мусора.

Роза Абрамовна вдруг подумала, что она не сможет найти дорогу обратно, навсегда останется в этом поселке, и поселится вон в том доме, больше похожем на каменный барак, в комнате с видом на эту чудовищную траншею для мусора.

И она быстро пошла по знакомым переулкам прочь от центра поселка. Роза Слоним знала, что нет ее вины в том, что люди Кущей живут так, как они живут, но ей вдруг показалось, будто она приехала сюда с одной целью: забрать то последнее, что еще оставалось у этих людей. Это была дурацкая, дикая мысль, но

гостья никак не могла от нее отделаться.

Путь к дому занял не больше пятнадцати минут, но за это время Роза Абрамовна поняла, что не сможет рассказать хозяйке и ее сыну, зачем она проделала долгий путь из Тель-Авива в рабочий поселок Кущи.

Вечером на вопрос Елены Роза Слоним ответила, что ее прислал в Кущи Роберт Михайлович. Он очень сожалеет, так как не смог принять участия в воспитании сына, но любит его. И теперь, когда жить Слониму, судя по всему, осталось недолго, он просит Бориса простить его легкомысленный поступок, недостойный мужчины.

У самого Роберта Михайловича теперь уже нет сил, чтобы посетить их город. Вот он и послал самого близкого человека, чтобы сказать все эти слова раскаяния и попросить прощение за все, за все.

– Вот глупости, – нахмурилась Елена. – Мне Федя помог сына поднять. Мы ни в чем не нуждались. Он – мастер хороший, золотые руки. И пьет только по праздникам. Ты передай студенту, что мы хорошо живем и ни в чем не нуждаемся, а сын его тоже на хорошем счету, ценят Бориса на заводе. Вот только хромает, так в этом нет вины Роберта.

Роза Абрамовна уехала на следующий день, условившись с Борисом, что он обязательно сделает себе заграничный паспорт и посетит отца. Она оставила семье Елены все деньги, которые у нее были. Елена испугалась такому количеству долларов и не хотела их брать, но Роза Слоним почти насильно вручила ей деньги, без конца повторяя, что это лишь малая часть долга Роберта Михайловича ей и своему сыну.

Дома, в Тель-Авиве, она показала мужу фотографии Бориса и рассказала о том, как живут люди в поселке Кущи. Она не стала говорить о самой цели ее визита на Урал, а Роберт Михайлович не решился спросить жену об этом. Со временем ему все стало ясно и без лишних слов.

– Твой сын тебя любит, – только и сказала Роза.

– За что ему меня любить? – усмехнулся Роберт Слоним.

– За то, что ты его отец. Вот и все, – улыбнулась Роза Абрамовна. – А еще он тебе благодарен, что похож на цыгана и девки по нему сохнут.

Роберт Михайлович Слоним дождался подходящего донора, но умер в ходе самой операции по пересадке почки. Его сын,

Борис, как раз успел на похороны. Он все время был рядом с Розой Абрамовной, и, словно одним своим присутствием, не дал ей сойти с ума в горе.

Борис пробыл в еврейском государстве ровно две недели своего отпуска. Третью он решил посвятить осмотру Москвы. Перед самым отъездом гость сказал Розе Слоним, что никогда бы не смог жить в Израиле, потому что в этой стране он похож на всех мужиков и шансов на любовь здешних девиц нет у него никаких, при хромоте и незнании местной речи.

2003 г.

Моя жена Роза

Она стояла на площадке трамвая и плакала навзрыд. Такая красивая! Я тогда никак не мог пройти мимо красивой девушки.

Вот и к этой подошел, нежно взял за руку свою будущую жену Розу.

– Тебя кто обидел?

– Эдик.

– Мы этому Эдику вломим, – обещал я.

– Обязательно, – сказала она.

И мы вышли вместе на конечной остановке трамвая.

– Ну, где этот Эдик? – спросил я.

– Сейчас увидишь, – сказала Роза.

Сто шагов, и мы увидели этого Эдика в самом конце улицы Котовского, за большими мусорными баками. Он стоял в компании ребят неслабых, и сам был на полголовы меня выше. В разных мы были весах, но я тогда ходил в школу бокса к Фиме Рудерману, а у Фимы был любимый способ тренировки: ставить тяжеловеса против малявки. Вот я этого Эдика и не испугался.

– Нехорошо девушек обижать, – сказал я верзиле.

– Моя девушка, – сказал Эдик. – Что хочу, то с ней и делаю.

– Нет, – сказал я. – Теперь она моя. И обижать ее ты больше не будешь.

– Чего? – заорал Эдик и попробовал меня ударить.

Он попробовал, а я ударил: прямым слева в челюсть. Эдик упал так, будто я ему в лоб выстрелил. Тут я понял, какой он мерзкий тип, потому что никто из дружков не встал на его защиту. Парни эти даже с каким-то интересом смотрели на лежащего Эдика.

– Нокаут, – сказал кто-то без всякого сожаления.

– Так ему и надо, – сказала Роза.

Тут Эдик зашевелился, а потом сел, мало что понимая.

– Это девушка моя, – сказал я малахольному Эдику. – Ты понял?

Он ничего не ответил. Совсем не хотел спорить со мной в таком положении, и это понятно.

Тогда я взял за руку мою будущую жену Розу, и мы пошли оттуда с чувством выполненного долга.

– Хорошо, что ты его не убил, – сказала Роза. – Я бы никогда не смогла полюбить убийцу.

Мне очень тогда понравилось, что она такая добрая и готова меня полюбить. Мы гуляли вместе с месяц и решили пожениться. Тогда все евреи из нашего города надумали подняться на крыло и

лететь в Израиль. Все тогда казалось, что жизни на Украине больше не будет никакой.

Мы с Розой все-таки решили отправиться в дальние края мужем и женой, а потому брак свой зарегистрировали и устроили свадьбу на сто душ в кафе «Арктика». Свадьба прошла замечательно. Только в самом конце, когда уже гости стали расходиться и уносить тех, кто не мог ходить, увидел я в сквере неподалеку того самого Эдика. Он стоял рядом с облупленным бюстом Карла Маркса, но совсем не был похож на Энгельса. Он был похож на побитую собаку.

Он стоял и смотрел на нашу свадьбу. И совсем меня не испугался. Эдик тогда был трезвый, а я пьяный и счастливый.

– Теперь видишь, что нельзя обижать красивых девушек? – спросил я.

– Вижу, – сказал он. – Только еще не вечер.

– Точно! – заорал я. – Уже ночь! Моя ночь, не твоя!

Он на мой крик развернулся и потопал к набережной.

Через месяц после свадьбы мы с Розой и родней многочисленной прибыли в Израиль. Если честно, моя жена хотела в Америку ехать, но мы опоздали. Янки сговорились с Шамиром и развернули толпу беженцев на юг, отрезав путь на запад.

Тогда у нас первая размолвка с Розой вышла. Мы опоздали всего на две недели, и по моей вине. Я тогда сказал, что хочу дождаться своего друга. Он на сейнере ходил, ловил рыбу под Херсоном. Я дождался друга. Мы обнялись, попрощались, но в результате оказались в Израиле.

– Черт меня дернул выйти замуж за неудачника, – сказала тогда Роза.

Но я эту глупость пропустил мимо ушей, потому что ходил гордый до невозможности: Роза была на втором месяце беременности. И беременность эта сделала мою жену такой красавицей, что не было в городе Хайфе ни одного нормального мужика, способного не проводить мою Розу жадным или хотя бы любопытным взглядом.

В ульпан мы ходили вместе. Кое-как одолели ивритную мову, и через шесть месяцев я уже вкалывал грузчиком в порту. Зарабатывать стал прилично. Мы перебрались из каравана в неплохую квартирку недалеко от места моей работы и стали ждать, когда у нас родятся дети. Я не оговорился. Розе на шестом месяце сказали, что ждать нам нужно двойню.

Вот тогда я второй раз увидел свою жену плачущей.

– Ты что? – удивился я.

– Что мы делать будем с двумя сразу? – спросила она, всхлипывая.

– Знаешь, – сказал я, – у женщин две груди. Значит, двое детишек за раз – самое нормальное дело.

Тут она как заверещит:

– Дурак! Кретин ненормальный! Идиот!

Но я снова не обиделся. Повторю, я тогда был такой счастливый, что самая красивая женщина в мире скоро родит мне сынов. Счастливее меня не было человека на света.

Гриня и Пиня родились в положенный срок, и жить я стал только тем моментом, когда, вернувшись домой, мог обнять своих наследников. Все свое свободное время я был с ними. Ночью первым поднимался к больным ребятам (а болели они, как правило, вместе). Да и кормил их с первого дня всякими смесями. У Розы были проблемы с молоком.

Я, как и раньше, и не думал на жену обижаться, хотя счастливой нашу жизнь после рождения близнецов назвать было никак нельзя. Увидев меня, Роза начинала ворчать по любому поводу: то ботинки не сразу снял, то двери не сразу закрыл (сквозняк), то здороваюсь слишком громко «пугаю соседей» и так далее.

Надо признаться, человек я не очень аккуратный, а Роза – чистюля, каких поискать. Вот на этой почве случались у нас постоянные стычки. Да почему же «у нас». Я жене никогда не отвечал. Сразу бежал к детям. Голодный – вытаскивал из холодильника, что было, не требовал от Розы никакой заботы о муже.

Ночью, правда, иной раз ладили. На том как будто и держался наш брак.

Так и жили. Через пять лет купили квартиру. На работе меня сделали бригадиром, но мне командовать людьми не понравилось, окончил курсы крановщиков, забрался на высоту. Вот так и понял, что здесь мое место.

Сижу над городом: с одной стороны горы, с другой – море бескрайнее. Ворочаю рычагами и думаю, как открою дверь, а навстречу мне хлопцы побегут: «Папа пришел!» Что еще человеку нужно для счастья?

Тут Роза стала упрямо ворчать по одному поводу: плохо я, мол, зарабатываю. Вот на Украине теперь такие возможности для бизнеса, а здесь, в Израиле, один потогонный труд.

Каждый день разговор затевала на эту тему. Да что там день – и ночью пошли разговоры о том же. Однажды Роза говорит:

– Я думала, что вышла за самого сильного мужчину в мире, а ты слабак и простой работяга.

Тогда я в первый раз обиделся. Встал, натянул брюки и до самого утра гулял по городу. Все думал, как жить дальше с женщиной, для которой я всего лишь «слабак и простой работяга»?

А тут пришло Розе моей письмо из нашего города от какой-то подруги, мне раньше незнакомой. Подруга эта приглашала мою жену в гости, писала, что за две тысячи долларов она поможет Розе раскрутить одно «серьезное дельце», и прибыль обещает скорую в триста процентов.

Близнецам нашим, как раз, десять лет стукнуло. Мы их день рождения отпраздновали, а через два дня проводили Розу в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Она совсем не ворчала в тот день. Детей обнимала, целовала без конца. Даже меня поцеловала на прощание как-то ласково и сказала, что скоро вернется с большими деньгами, чтобы я не беспокоился. Только одна фраза мне не понравилась, хотя Роза произнесла ее без всякого занудства, вполне спокойно:

– Ну, кто-то из нас двоих должен думать о будущем детей, правда?

Роза улетела. Она звонила нам часто, чуть ли не ежедневно. И каждый раз говорила, что дело движется успешно и она ждет какую-то партию товара из Архангельска. Потом не было звонков целую неделю, и мои попытки связаться с ней ни к чему не привели.

И тут ранним утром, в шабат, – звонок. Я сначала даже не узнал голос Розы:

– Милый, прости меня. Они требуют тридцать тысяч долларов, иначе меня убьют. Две недели дают сроку. Продай квартиру делай, что хочешь, но спаси меня! Через неделю жди звонка.

Потом мужской голос грубо сказал: «Хватит!» – и все.

Сразу понял, что ждать, искать деньги, не смогу. Снял в банке все, что у нас было: пятнадцать тысяч шекелей, поменял на доллары. Визу и билет мне сделали за сутки. Гриню и Пиню пристроил у соседей, ребят отличных и многодетных. Мы с этим семейством всегда дружно жили.

– Извини, Соня, – сказал я. – Но такое дело, беда. Нужно срочно.

– Да чего там, – махнула рукой. – Где четверо, там еще двое.

Вот лечу я и думаю, что лечу в никуда. Как эти бандиты со мной свяжутся? Как я узнаю, где они жену мою прячут? А потом решил, что обязательно найду своего друга Костю, из-за которого мы в Америку опоздали, и он мне поможет. Друг этот мой

работать стал в милиции. Надоело ему рыбачить. Мы с ним все эти годы переписывались по-доброму, по людски.

Я к Косте сразу заявился, на ночь глядя. Все и выложил, чуть ли не с порога. Друг меня принял, как родного, но по делу говорить почему-то не хотел. Все спрашивал, как мы там, в Израиле, живем, с террором как справляемся, и всякое такое, обычное спрашивал.

– Кость! – заорал я. – У человека жену убить могут, а ты меня мытаришь, что такое кошер? Совесть у тебя есть?

Дело было за полночь. Сидим мы с ним на кухоньке. Все семейство Кости спит за стенкой, а теща зловредная даже стала в эту стенку стучать: тихо, мол.

– Не шуми, – сказал Костя. – Твою Розу видели в городе, и не раз, в компании в Пилипко Эдуардом. Есть у нас такая темная личность. Себя он бизнесменом называет, но, по-моему, жулье обычное… Я бы тебе об этом никогда писать не стал. Но раз уж ты приехал и такие дела – должен был сказать.

Тут я все понял. Будто раньше совсем слепой был, и вдруг прозрел.

Костя меня просил дождаться утра, но я не хотел ждать ни минуты. Дежурный в районном отделении выдал нам адрес так быстро, будто знал его на память.

Костя сказал, что он меня одного не отпустит. Натянул брюки, и мы пошли к этому Эдику. Город у нас небольшой. Идти долго не пришлось.

Вот жать на кнопку звонка пришлось минуты три. Но наконец, услышал я шаги, потом мужской голос:

– Что надо?

– Эдик, – сказал я. – Открой, дело срочное.

Он с замками долго возился. Потом щель образовалась. Я как увидел знакомого верзилу, ногой эту дверь выбил, цепочку вырвал с корнем. Рванулся на этого типа, но Костя меня сзади скрутил. А силы в друге моем было на роту солдат.

Эдик – морда эта малахольная, в одних трусах до колен, прижался спиной к стенке, стоит бледный, весь трясется. А я ору:

– Где Роза?!

– Нет тут никакой Розы, – бормотал Эдик. – Никого нет. Только посмей меня ударить. Я жаловаться буду в милицию.

– Жалуйся, – сказал Костя. – Вот я перед тобой, только в штатском.

Тут и вышла в прихожую жена моя любимая Роза в одной коротенькой ночной рубашонке. Такая красивая! И все силы во мне сразу кончились. Даже Костя перестал меня держать. И сморозил я опять дикую глупость.

– Вот, – говорю. – Слава Богу, все в порядке. Завтра домой полетим.

– Никуда мы не полетим, – тихо так, но решительно, говорит моя Роза. – Я Эдика люблю, и всегда его одного любила.

– А дети? – спросил я, кретин несчастный.

– Гриню можешь мне прислать, – говорит Роза. – Гриня может с нами жить. Правда, Эдик?

И так она произнесла эти слова: «правда, Эдик», с таким теплом и лаской, что понял я: никаким ударом, даже прямым в челюсть, жизнь мою больше не поправить.

Деньги мне почему-то стали «жечь» карман. Вытащил эти несчастные четыре тысячи зеленых, швырнул на пол.

– Вот, – говорю. – Вам за Гриню. Близнецов резать не дам.

Ответа не стал ждать. Вышли мы с Костей из этой проклятой квартиры, о лифте даже забыли, спускаемся по лестнице.

– Только одного понять не могу, – сказал Костя. – Вы с арабами свинину не едите, народы одного корня, как мы с москалями, а враги. Мы с тобой разной нации. Я без отбивных жить не могу, а дружим… Сложная штука жизнь.

Я тогда впереди Кости топал по ступеням, молча спускался и не хотел, чтобы он лицо мое видел.

Что сегодня? Живем с Пиней и Гриней в городе Хайфе. Живем, как и раньше жили. Развод оформили. Роза к нам приезжает часто, по нескольку раз в год. Все-таки гражданка нашего еврейского государства. Приезжает Роза не одна, а, как правило, с этим Эдиком. Живут в гостинице, у моря. Дела какие-то проворачивают.

Обычно моя бывшая жена звонит, просит прислать к ней детей.

– Милый, мы будем свободны завтра от четырех до пяти. Скажи Грине и Пине, что мама привезла им подарки.

Вот и все.

1999 г.

Мухи между стеклами

В Израиле не увидишь никогда, ни при каких обстоятельствах, дохлых мух на потемневшей от времени вате между двумя грязными стеклами… Что еще? Не знаю. Можно, наверно, вспомнить еще о чем-то, но для этого рассказа достаточно тех засохших мух на старой вате между оконными рамами…

Благословенны детали, часто, даже сплошь и рядом, ничего не значащие. Непонятно, почему именно они застревают в памяти. Что-то важное, существенное исчезает, а ерунда остается с нами надолго.

Иногда я понимаю, почему так происходит. Видимо, вслед за мелочами цепляется то, что забывать никак нельзя. За пустяком, как за паровозом, по рельсам памяти тянутся «вагоны» сущности человеческой, напоминая о тех моментах, когда и происходит формирование твоего «я».

Те дохлые мухи на почерневшей вате – именно такой случай.

В шестом классе или седьмом, не помню уж точно, подступила телесная маета: петушиное время, когда человеку очень уж хочется понравиться, причем всему миру, а не только девицам, тоже испытывающим душевное томление в предчувствии всех радостей любви и деторождения.

Помню точно, что заболел тогда словесным поносом в достаточно острой форме, когда подростку начинает казаться, что звуками своей речи он способен заворожить весь мир.

Особенно хотелось выступать перед теми, кто мне нравился. Рыжий Юра нравился и даже очень. Он был гораздо старше меня, одевался стильно, так мне, по крайней мере, казалось, умел играть на гитаре и учился в университете им. Жданова.

Мы тогда шли рядом по Литейному проспекту, и я все говорил, говорил, говорил. Как мне казалось, умно говорил и красиво. А рыжий Юра шел рядом молча.

У магазина «Спорттовары» (это точно было там) Юра остановился и сказал грубо: «Ты много говоришь. Умный любит слушать. Дурак – говорить».

Опешил тогда от такого хамства. Хотел ответить грубостью, но вовремя остановил сам себя, догадавшись, что не все уроки жизни нужно встречать в штыки.

Расстаться с Юрой тогда не мог. Мы шли к нему домой по какому-то важному делу. Просто замолчал обиженно, пока не увидел почерневшую от времени вату в его каморке на мансарде.

На этой вате, между двумя грязными стеклами, лежали

кверху лапками те самые дохлые мухи.

– Мухи дохлые, – сказал я.

– Спящие, – нехотя возразил Юра. – Летом отогреются, проснутся и улетят.

– Как это? – опешил я.

– Форточку открою – они и улетят.

– Врешь ты все, – сказал я. – Нет у тебя форточки.

– Да ну? – удивился Юра, повернувшись к окну. – И на самом деле нет.

Потом он взял со стула гитару, коснулся струн, будто поздоровался с инструментом. Двумя аккордами дело и ограничилось.

Теперь я понимаю, что он тоже хотел мне понравиться и с этой целью поднял гитару, а потом стал возиться с большим приемником «Рига». Собственно, он не с самим приемником стал возиться, а с проводом антенны. Он этим проводом чуть ли не всю комнату опутал. В стенах полно было скоб. Он цеплял проволоку за эти скобы и ходил из угла в угол.

На одной из скоб висело фото – портрет красивой девицы в легком купальнике. Рыжий Юра повернул красавицу могучей грудью к стене и этим тоже меня обидел. Обидел пошлым напоминанием, что не на все можно смотреть детям до шестнадцати лет.

Злость моя нашла глупый выход, как это обычно и случается. Некоторое время молча наблюдал за возней Юры с антенной, потом не выдержал и задал игривым, пошлым шепотом вопрос: «Юра, ты шпион?»

– Вроде того? – буркнул он, завешивая двери толстым одеялом. – Помоги.

Помог, и кажется мне теперь, что помню острый запах пыли от того тяжелого, шерстяного одеяла.

Ту же операцию Юра проделал с окном, содрав для этого дырявый плед с узкого топчана.

– Зачем это? – спросил я.

– Светомаскировка, – буркнул Юра. – На случай бомбежки.

– Кончай шутить, – сказал я. – Война давно кончилась.

– Господи! – сказал рыжий Юра. – Наша война никогда не кончается.

– Это какая война? – удивился я.

– Бесконечная, – буркнул рыжий Юра.

Потом он сел перед приемником на стул с высокой резной спинкой. Я бы тоже устроился рядом с ним, но никаких сидений, кроме этого странного стула, похожего на трон, в каморке Юры не было.

У окна стоял топчан, накрытый скомканной простыней. Сесть на него я не решился.

А Юра будто забыл обо мне. Он сидел у зеленого глаза приемника, осторожно вращая ручку настройки.

– Ночной эфир струит зефир, – сказал я, демонстрируя знание классики.

– Что? – не поворачиваясь ко мне, сердито спросил Юра.

Он не хотел слушать меня. Он был занят другим, шуршащим, воркующим, бормочущим, взвизгивающим, звучащим на все лады, надо думать, совсем неболтливым собеседником.

В моей семье не было в то время лампового приемника. Был громкоговоритель на кухне. Небольшой этот ящик из фанеры всегда громко говорил одним и тем же голосом, и мыслил он плоско, однообразно, скучно и музыку передавал одну и ту же: марши, веселые песни или классику.

Радио в каморке Юры завораживало многозвучьем, разноголосьем, свободой выбора. Все звуки были невнятны, хаотичны, приблизительны. Возникая из ниоткуда, они вдруг уходили в никуда, уплывали, таяли…

Слушать всю эту какофонию звуков было невыразимо приятно. Приемник в тесной, пыльной и грязной каморке Юры с засохшими мухами на почерневшей вате между стеклами рам будто уносил за границы стен, поднимал над крышами города в свободном полете, к небу.

Темная вертикальная планка скользила по светящемуся полю панели, щелкал тумблер, переключающий волны… И вдруг – планка замерла, поймав внятный, необыкновенно глубокий и выразительный голос.

Голос пел на английском языке. Понял на каком, так как освоил к тому времени азы этого языка. И не только понял, но и смог перевести некоторые фразы.

– Let is my people go, – пел бас, надежно пойманный радиоприемником рыжего Юры.

Он больше не трогал ручку настройки. Он слушал. Помню, что впервые, наверно, в моей короткой жизни не стало силы в ногах. Я должен был сесть. И сел на топчан, машинально отвернув простыню.

В той моей жизни было много музыки, музыки замечательной, великой. Неподалеку от нашего дома находилась филармония. Стоячие места за боковыми креслами у колонн стоили всего десять копеек. Часто ходил на концерты и слушал стоя музыку Бетховена, Грига, Баха, Моцарта…

А тут не было сил оставаться на ногах. Голос оглушил, подмял, лег какой-то радостной тяжестью на плечи, проник в

легкие, в гортань, в мозг, заполнил меня всего, подчинил своей, зовущей куда-то, воле.

Рыжий Юра, сгорбившись, одно плечо выше другого, сидел на стуле с высокой спинкой. Он не шевелился.

Мы слушали голос… Он ушел как-то сразу, будто сорвался в пропасть с самой низкой, невозможной по глубине, ноты.

– Что это было? – спросил я, переведя дыхание.

Рыжий молчал.

– Что это было? – крикнул я.

– Армстронг, – Юра повернулся вместе со стулом, и по лицу рыжего я понял, что ему понравился мой крик. – Пел Армстронг – негр из США, американец. Любишь джаз?

– Еще бы? Очень люблю… А кто такой Мозес? – быстро спросил я, вспоминая слова песни и затем, чтобы сменить скользкую тему, так как прежде и слово «джаз» слышал не часто.

– Моисей, – вздохнув, ответил Юра. – Слышал о Моисее?

В тот год я думал, что обязан знать все на свете. Мало того, был уверен, что все знаю.

– А как же, – сказал я. – Он еще Иисуса Христа крестил.

– Убью, – сказал рыжий Юра. – Засушу и положу на вату кверху лапками вместе с мухами. Уйди от меня, сгинь! – Он снова повернулся к своему волшебному аппарату. Вновь темная полоска поползла по светлому полю, и волшебная разноголосица заполнила комнатенку с низкими потолками.

Поднялся. Теперь я мог стоять. И был способен доказать, что я не такой уж безнадежный идиот.

– Могу перевести, – сказал я ломающимся голосом. – Он пел: «Давай, мой народ, пойдем!» Это слова Мозеса?

– Моисея, – буркнул Юра. – Он говорит – Моисей: «Отпусти народ мой».

– Кого отпустить, негров? – спросил я. – И куда?

– Господи! – выдохнул Юра, поднялся и уставился на меня. – Ты дикий, совсем дикий, ты – чудовище. Слушай…

Он говорил долго. Хорошо помню ту лекцию рыжего Юры. Я слушал его, потрясенный открытием мира, прежде мне неведомого. Открытием своего народа и самого себя. То, о чем рассказывал хозяин каморки в большом, доходном доме на Литейном проспекте, стало продолжением голоса чернокожего певца.

Бас Армстронга, казалось, зазвучал вновь и сделал слова рыжего Юры особо убедительными. Это теперь я понимаю, что пел Армстронг о своем, униженном и бесправном народе, некогда перемещенном насильно из одной точки географического пространства в другую.

Но тогда я думал, что поет этот мощный бас обо мне, и слова псалма Армстронга написаны о моем народе, и призыв двинуться в путь обращен прямо ко мне.

Минут через пять рыжий Юра устал просвещать дикаря и вернулся к приемнику и снова забыл обо мне, увлеченный охотой за неведомыми звуками.

Я остался. Я ждал долго, пока он выключит приемник, поднимется, дернет острыми локтями за спину, с кряхтеньем расправляя лопатки, потом подойдет к окну и сдернет плед.

Дневной свет зальет его каморку, и тогда я будто впервые увижу почерневшую от давней гари из труб вату, а на ней высохших мух. Мух, которые, по уверению рыжего Юры, летом оживут и улетят на свободу через не существующую в окне форточку.

2003 г.

Мститель

Японцы стояли вокруг пруда и с тихой, застывшей улыбкой ждали, когда появится золотая рыбка. Пруд хозяева санатория устроили в японском стиле, с легким водопадом, замшелыми камнями, рифами и круглыми островками белых лилий.

«Какой симпатичный народ, – подумал Шимон Кац. – И язык у них приятный, не то что у этих».

Под «этими» Кац подразумевал немцев. Особенно старика Эрика – убийцу его матери. Шимон ждал этой встречи много лет. Он почему-то был уверен, что рано или поздно встретит Эрика и отомстит ему за все. И вот встретил хромого, на костылях, старика, белого, как лунь, с родимым пятном над левой бровью…

Одному японцу повезло. Он первым увидел золотую рыбку и закричал, взмахнув руками, сообщая своим товарищам эту радостную весть.

Теперь можно было двинуться дальше, и японцы направились по аллее чудного осеннего парка в сторону основных корпусов санатория.

Шимон Кац остался один, на скамейке, у журчащего водопада. Шум воды успокаивал его нервы, как и легкий аромат тины. Шимон с детства испытывал странное пристрастие к болотам, к их запаху, неподвижности и тишине. Он не боялся трясины и всегда с недоверием относился к частым кадрам в кинофильмах, когда болото затягивало героев экрана в свою беспощадную бездонность.

Видимо, странная эта любовь началась у Каца в тот день, когда Слепая топь спасла его от смерти. Топь эта внезапно начиналась сразу за поселком, за песчаным карьером, где…

Нет, он поклялся, что на отдыхе забудет о том, что мучило Шимона вот уже долгие годы. Мучило безумием бесконечного повтора одного и того же события: убийства мамы и его поведением во время этого убийства.

Эрик был совсем мальчишкой, лет 18 – не больше. Лицо у Эрика было круглое и доброе. Казалось, он убивает людей из одного любопытства. Вот шел человек или бежал, а вот он лежит, скребет дорожную пыль пальцами, дергает в судорогах ногами или совсем не шевелится. Эрик всегда долго и внимательно следил за агонией человека. Иногда следил с улыбкой. Вот точно так же он вел себя, как те японцы у пруда с золотой рыбкой.

Кац поднялся. Колено привычно ныло, но он, превозмогая

боль, быстро зашагал к реке. Он не шел, а именно шагал, стараясь размахивать руками в ритм движению, и ритмом этим обмануть, заглушить память.

Он специально шагал по асфальту к прибрежной аллее, усыпанной гравием, где на каждый шаг земля отзывалась сыпучим шумом, и шум этот, опять же по опыту, мог заставить Каца не думать о том, о чем он не хотел думать. Вот уже почти шестьдесят лет не хотел думать, и думал постоянно.

– Деньги проклятые, – сказал сам себе Кац, печатая шаг по гравию. – Откуда я мог знать, что в этом санатории судьба соберет в одну компанию немцев, евреев и арабов.

Пошел слух, что санаторий собираются продать тем самым тихим, улыбчивым японцам. Японцы проведут реконструкцию и обязательно повысят цены. Эта весть Шимона не испугала, как остальных евреев, прибывших в санаторий вместе с ним. Он твердо решил больше не приезжать в этот городок Словакии, потому что только один звук немецкой речи напрочь снимал возможный эффект от лечебных процедур.

Остров, на котором был расположен санаторий, отделяла от сильной реки дамба. Кац не без труда поднялся по этой дамбе к набережной и, поднявшись, невольно застыл от красоты увиденного.

Старинный, черепичный, островерхий городок отражался в тихой и ясной воде, как в зеркале. И по реке, от крытого пешеходного моста, плыли по этому отражению белые лебеди.

Раньше Шимон думал, что такое можно увидеть только на пошлых базарных картинках. Теперь он убедился, что и жизнь способна подарить людям подобный райский пейзаж…

Потом он увидел на том берегу рыбака, а рядом с ним стоял лебедь и тоже следил, чуть поворачивая гордую голову, за поплавком, как кошка, которой давно обещан улов.

Эрик выходил на охоту всегда ранним утром, но никакого расписания по дням он не соблюдал. Мог целую неделю не появляться, а иногда убивал людей несколько дней подряд.

Каким-то совершенно непостижимым образом он умел подкрадываться незаметно и возникал перед своей жертвой в самый последний момент: как тогда, перед мамой и Шимоном…

Кац забыл, куда они шли в то утро: кажется, к Лейбу, портному, чтобы залатать брюки отца. В этом не было смысла. Отец воевал где-то далеко, на фронте. Известий от него не было больше года, да и не могло их быть, потому что отец существовал совсем в ином мире, был вооружен и сражался с врагом, а они здесь знали о близкой, неизбежной смерти, и жили просто

потому, что надо было жить, пока двигаешься и дышишь.

В то утро мама обнаружила дыру на зимних шерстяных брюках отца и сказала, что это непорядок и надо отнести брюки к портному. Она взяла Шимона за руку, и они пошли. Мама всегда брала сына за руку, будто он мог вырваться и убежать куда-то. Но Шимону и в голову не приходило убегать от мамы. Наоборот, он чувствовал себя нормально, только когда его пальцы прятались в мягкой ладони мамы.

Он бы никогда не узнал в том старике Эрика, если бы не родимое пятно над бровью, будто не сам Эрик, а именно это пятно преследовало Шимона всю его сознательную, взрослую жизнь.

Эрик прибыл в санаторий на автобусе вместе с группой немцев из Восточного Берлина. Кац знал, что теперь Берлин не разделен стеной. Но знал он так же и то, что в этот санаторий приезжают только немцы из бывшей социалистической Германии. Они беднее остальных граждан страны и могут себе позволить лечение и отдых в этом санатории.

Значит, Эрик не был богат, а к тому же хром, хотя и не жалок в своей хромоте. Немец, даже на костылях, передвигался легко и быстро.

Потом они часто встречались в столовой. Шимон поначалу менял время завтраков, обедов и ужинов, но хромой старик тоже не придерживался твердого расписания. Впрочем, учитывая скользящий график процедур, это и не было возможным.

Немец не узнал Шимона. Он и не мог узнать в семидесятилетнем старике мальчишку – сына убитой им когда-то женщины. У Каца не было особых примет, вроде родимого пятна над глазом. У Шимона была одна невидимая примета – его проклятая, измученная память.

Посреди реки работала драга, гремела цепями подъемника, черпала со дна реки гравий. К драге подходила грузовая баржа, забирала мокрые камни и отвозила их куда-то за мост, вниз по течению реки.

Люди расширяли и углубляли фарватер. Шимону нравилась эта простая и нужная работа. Он даже завидовал тем людям: с драги и на барже. Ему казалось, что и вся жизнь этих людей должна быть такой же простой и ясной, как их работа, и в памяти речников не должно быть того ужаса и стыда, который Шимон вынужден носить в себе до конца дней.

Эрик выстрелил маме в затылок. Мама упала в пыль, и сверток с отцовскими брюками тоже упал в пыль, а Шимон все

еще держал, согнувшись, ослабевшую и сразу ставшую ледяной руку мамы.

Убийца смотрел на мальчика с улыбкой.

– У-у-у-у! – выдохнул он, пугая, скорчил гримасу и поднял пистолет.

Шимон разжал пальцы, выпрямился и побежал. Он бежал в страхе, забыв обо всем, кроме черного, мертвого глаза дула того пистолета. Он бежал и слышал за спиной смех Эрика. Смех этот не удалялся, а будто настигал его неотвратимо.

Все годы, после убийства мамы, он не мог простить себе этого бега в страхе. Сотни раз он проигрывал для себя новый сценарий того ужаса. Себя – отважного, напавшего на Эрика с колом от близкого забора. Он вполне мог выдернуть этот кол. Он мог ударить солдата, отомстив за маму, за себя, за все! Да, он бы погиб наверняка, но как человек и герой.

В конце концов, он мог остаться на месте, остаться с мамой, не испугавшись угрозы Эрика. Да, именно так и надо было поступить: обнять маму, поцеловать и, может быть, услышать последние ее слова, не обращая никакого внимания на убийцу.

Но он убежал в панике и страхе, и с этим ничего нельзя было поделать. И смех убийцы преследовал его всю жизнь… И вот теперь Шимон встретил Эрика.

Кац обратился к опекуну группы отдыхающих: унылому израильтянину лет пятидесяти. Он рассказал ему о смерти мамы в поселковом гетто. Опекун тяжко вздохнув, предположил, что Шимон наверняка ошибается, но он попробует узнать, кто такой этот Эрик – хромой старик из Восточного Берлина.

Остаток санаторного срока прошел быстро. Шимон увидел опекуна только в автобусе, на обратной дороге к аэропорту.

– Ты обещал узнать про того немца? – напомнил он.

– Это про какого? – удивился опекун.

Шимон не стал уточнять, отвернулся к окну и так, наблюдая за убегающей природой, просидел до самого аэропорта.

2003 г.

Всего двадцать минут

Лишь огромные, бетонные блоки уродовали мирный, тихий, уютный пейзаж Иудеи. Вооруженные люди в форме небрежно взглянули на машину, медленно огибающую преграду. Элина кивнула одному из парней, солдат поднял в знак приветствия указательный палец.

– Это он… что? – запнувшись, спросил Борис.

– Что «что»? – чуть повернулась к спутнику Элина.

– Палец показал? – тяжко вздохнув, спросил Борис.

– Впереди чисто, но будь внимательна, – растолковала Элина. – Обычное дело.

Они познакомились в Иерусалиме. Элине сразу понравился Борис. Ей всегда нравились голубоглазые, крепкие, уверенные в себе парни. Понравилась его улыбка, и смелость, с какой он обратился к незнакомой девушке на плохом иврите.

– Такая, как ты, – сказал парень, – не имеет права сидеть в кафе одна.

– Расскажи, какая я? – спросила Элина.

Вот тут он стал смешно путаться в словах незнакомой речи.

– Говори по-русски, – разрешила Элина. – Я пойму.

И Борис так обрадовался, будто ему разрешили абсолютно все, а не только дали право на родную речь.

Он сразу же рассказал Элине, что в Израиле всего лишь два года. Приехал один. В Москве окончил текстильный институт, а теперь мечтает устроиться по специальности. В армии русской он служил, но всего год в технических частях аэродрома. Израиль Борису очень нравится, но больше всего нравятся ему девушки в Израиле. И он твердо намерен жениться, создать семью и родить детей.

– Теперь расскажи о себе? – потребовал Борис.

– Я – сабра, – сказала Элина. – Мои родители приехали в Израиль давно, еще в семидесятых, но они всегда говорили по-русски, читали русские книги, и мои первые слова были русскими словами. Они мне говорили, что язык Пушкина и Толстого – великий язык. И нет его вины в том, что на этом языке говорят антисемиты и стукачи… Я только забыла, кто такие стукачи?

– Барабанщики, – сказал Борис и засмеялся так открыто и радостно, что Элина невольно поддержала его и не стала спрашивать, почему барабанщики могут бросить тень на русский язык.

Потом она рассказала Борису, что в армии отслужила два

года назад, а теперь учится в Иерусалимском университете, хочет заниматься физикой и намерена изобрести новые неминеральные энергетические источники.

– Ты такая серьезная, – сказал Борис. – В Израиле никогда по внешнему виду не определишь человека.

– У меня внешний вид несерьезный? – улыбнулась Элина.

– Нет, что ты! – испугался Борис. – Просто ты очень красивая.

И эта находчивость парня из России понравилась Элине. Странным показалось только одно: Борис слишком часто поглядывал на дверь кафе.

– Ты ждешь кого-то? – спросила Элина.

– Да нет, – отмахнулся Борис. – Просто так… А вдруг я первым замечу террориста.

– И что ты сделаешь, если заметишь? – спросила Элина.

– Подойду сзади и стукну его по башке чем-нибудь тяжелым, – отрапортовал ее случайный знакомый.

Элина только улыбнулась в ответ. Этот парень нравился ей все больше и больше. Что-то в нем было милое, доброе, бесшабашное, и чистая, русская речь Бориса так напоминала голос родителей.

Он будто разгадал мысли Элины и стиснул ее обнаженное колено сильными пальцами.

– Ты мне нравишься, – сказал Борис. – Еще пять минут, и я в тебя влюблюсь… Только скажи, почему тебя зовут так странно?

– Это смешная история, – сказала Элина. – Мою бабушку звали почти так же: Элена. Вот меня и назвали в ее честь, а потом выяснилось, что это имя придумали в честь Энгельса и Ленина, а мои родители не любили этих людей, и они поменяли одну букву в моем имени – так я стала Элиной.

Они говорили о пустяках, но думали, конечно, совсем о другом. В этих мыслях Элина и Борис уже были в объятиях друг у друга – нагие и счастливые.

– Я снимаю квартиру с одним парнем, – сказал, прокашлявшись, Борис. – К нему сейчас родичи приехали из Ростова… А ты где живешь?

– Здесь, недалеко, – ответила Элина. – Минут сорок езды.

– Автобусом?

– Зачем? У меня машина.

– А парень у тебя есть?

– Был, – ответила Элина. – Сейчас нет.

– Пригласи меня в гости, – сказал Борис.

– Поехали, – просто ответила девушка.

В машине они сразу же поцеловались. Поцелуй оказался

таким долгим, что Элина попросила:

– Не нужно больше. У меня голова кружится. Я не смогу вести машину.

– Договорились, – сказал Борис. – Могу и подождать… Ты с родителями живешь?

– Да, – сказала Элина, – но они сейчас уехали в Париж, в отпуск.

– Отлично! – воскликнул Борис. – Это замечательно, когда родители отдыхают в Париже.

Они свернули к Модеину.

– Долго еще ехать? – спросил Борис.

– Ты нетерпелив, – улыбнулась Элина.

– Да нет, – повернулся к ней Борис. – Просто те пять минут давно прошли, и я уже влюблен в тебя без памяти. Еще пять минут, и я предложу тебе руку и сердце.

– Руку и сердце – это когда женятся? – спросила Элина.

– Точно! – ответил Борис. – Так сколько еще ехать?

– Минут десять до поста, а там полчаса, не больше, – сказала Элина.

– До какого поста? – после долгой паузы спросил Борис.

– Ну, перед въездом на территорию всегда пост, – объяснила Элина.

– Постой, – тихо произнес ее спутник. – Ты что, на территориях живешь?

– Ну да, – подтвердила Элина. – В поселении. Ты не одобряешь?

– Нет, почему? – буркнул Борис. – Каждый живет там, где ему нравится… Я только не понимаю зачем?

– Что «зачем»? – спросила Элина, притормаживая у поста.

– Зачем жить в поселении, рискуя жизнью, когда в самом Израиле столько красивых городов?

– Это длинная история, – сказала Элина. – Так просто не объяснишь.

Они миновали пост, и почти сразу же перед ними открылись лесистые холмы, освещенные закатным солнцем, черные козы, пасущиеся на склонах, оливковая роща на окраине арабской деревушки.

Борис молчал. Девушка чуть повернула голову и наткнулась на чужое, бледное, окаменевшее лицо случайного спутника.

– Не бойся, – как-то по инерции сказала она. – Все будет в порядке. У меня и пистолет есть. Вот смотри, – и она отбросила дверцу «бардачка».

Борис пристально, не мигая, смотрел на оружие.

– Я не понимаю! – вдруг, каким-то не своим голосом произнес

он. – Я не понимаю, почему дорогу не контролируют вертолеты. Здесь полно террористов. Везде живут арабы. Дорогу должны контролировать вертолеты.

Элина молчала. Опыт жизни в поселении у нее был большой, и она сразу поняла, что везет к себе домой обыкновенного труса.

– Камни они чаще бросают, – сказала Элина. – Стреляют реже. Но стекла у меня пластмассовые…

– Пластмассовые? – переспросил Борис и вдруг закричал: – Да здесь в танке ездить нужно!

Элина тяжело вздохнула.

– Нет у поселенцев танков, – сказала она. – Вот на том месте, сразу за поворотом, они обстреляли машину Роувена. Ровка погиб сразу. Сарра два месяца провалялась в больнице. Она потом Бога благодарила, что не взяла с собой детей.

Борис молчал. Он так глухо молчал, будто рядом с Элиной образовалось пустое место.

– Сейчас по ущелью проскочим, – сказала девушка. – Шесть месяцев назад они сбросили бетонный блок на машину Даниэля. Он чудом остался жив, погибла сестра Дани… Ей пятнадцать лет только исполнилось.

– Ты должна была меня предупредить, что живешь на оккупированных территориях, – сдавленно произнес Борис. – Ты не имела права. Ты должна была предупредить.

– Извини, – сказала Элина. – Наверно, потеряла голову. Ты в любви клялся и обещал жениться. Я сама забыла, где живу.

– Нет, это ты специально, – сказал Борис. – Вы так специально делаете, чтобы доказать… Чтобы людей приманить, – он снова закричал. – Это чужая земля! Понимаешь ты, чужая!

– Но почему, – спокойно спросила Элина. – Почему чужая, если я здесь живу?

– Ты сумасшедшая, – пробормотал побелевшими губами Борис и снова застыл, но на этот раз лицо его было искажено не только душевной, но и физической мукой.

– Останови! – вдруг потребовал Борис.

– Здесь нельзя останавливаться, опасно.

– Останови… Я хочу, – и вдруг он сорвался на грубость. – Не могу терпеть, я ссать хочу!

Машина выскочила на открытое место, и Элина притормозила. Борис, озираясь, выскочил из машины. Сразу же, рядом с колесом, он расстегнул ширинку джинсов. Парень мочился долго и шумно… Потом он молча сел рядом с Элиной. Девушка развернула машину.

– Куда? – спросил Борис.

– Обратно, – сказала она.

Парень промолчал. Вскоре они миновали пост, выскочили на трассу. Элина подвезла Бориса к автобусной остановке.

– Отсюда любой маршрут до Иерусалима, – сказала она. – Выходи.

Парень сильно хлопнул дверцей. Он покинул салон, не прощаясь.

Элине смертельно хотелось курить, но пачка оказалась пустой. Пришлось притормозить у поста.

– Что, поссорились? – спросил загоревший до полной черноты солдат, протягивая девушке зажженную сигарету.

– Нет, – сказал Элина, затягиваясь. – Он просто вспомнил, что должен встретить дядю на аэродроме, – она закашлялась. – Слушай, что за гадость ты куришь?

– Отличные сигареты, только крепкие, – улыбнулся солдат. – Не сердись. Тебе не идет, когда ты сердишься.

– Извини, – сказала Элина.

– Да чего там. Ты езжай, солнце садится… В темноте сама знаешь, – сказал солдат, несущий службу у бетонных блоков, контролирующих въезд на территории. Он был так молод, тот солдатик. Но он уже знал, как опасно ездить в темноте по отличной дороге, мимо лесистых холмов Иудеи, мимо пасущихся черных коз на склонах и оливковых рощ.

2003 г.

Ехали в автобусе…

Час пик. Салон автобуса полон. Все места заняты. Пассажиры стоят в проходе. Кто-то, значит, сидит, а кто-то стоит, и это очевидное неравенство само по себе создает конфликтную, нервную обстановку.

Вечер. В автобусе прохладно еще и потому, что работает кондиционер. Именно эта «морозильная» работа чаще всего, предлог для спора.

Худому совершенно лысому старику в шортах не нравится включенный мазган. Рядом с ним плотно сидит полная пожилая женщина в темных очках. Ей тоже не по душе холод.

– Водитель! – требует женщина. – Выключи свой ледник. Устроил здесь русскую зиму.

Водителю, молодому парню, судя по всему, не нравится, когда с ним говорят таким тоном. Он не обращает внимания на приказ женщины в темных очках.

– Ты слышал, что тебе сказали?! – повышает голос старик в шортах. – Холодно!

– Уважаемый, – спокойно, не оборачиваясь, отзывается водитель, безуспешно стараясь выбраться из пробки. – В салоне много людей. Сразу станет душно. И те, кому станет душно, попросят включить мазган.

– Вот именно, – подтверждает грузный мужчина в майке с надписью, советующей не отдавать врагу поселения. – Чистый воздух им помешал.

– А тебя никто не спрашивает, – поворачивается к мужчине в майке женщина в темных очках. – Едешь себе и молчи!

– Это почему я должен молчать? – обижен грузный мужчина. – Мы живем в демократической стране. Каждый имеет право высказать свое мнение.

– Ты его высказал, – поворачивается к нему старик в шортах. – Вон на брюхе все написано.

– А тебе не нравится? – даже приподнимается от возмущения грузный мужчина.

Старик ему не отвечает. Зато подает голос молодой человек с кейсом.

– А что тут может нравиться, – говорит он. – Из-за вас и весь сыр-бор начался. Мало вам земли в Израиле. Вон вся пустыня Негев в распоряжении. Селитесь, сколько хотите.

– Что-то ты сам там селиться не торопишься? – поворачивается к молодому человеку высокий пассажир в кипе.

– А почему это именно я должен там жить? – вопросом на

вопрос отвечает молодой человек.

– Потому что ты верблюд и скотина! – басит кто-то невидимый из глубины салона.

Молодой человек хочет ответить, но тут автобус останавливается, и он, махнув свободной рукой, выходит на своей остановке.

– Водитель! Выключи мазган! – истерично визжит женщина в темных очках.

– И не думай, парень! – басит из глубины салона все тот же голос. – И так дышать нечем!

– Правильно, – согласен с ним грузный пассажир.

Тут в разговор вмешивается молодая женщина в длинной юбке и шляпе, закрывающей тяжелую копну волос.

– Нужно носить с собой что-нибудь теплое: кофту или платок, – говорит она примирительно. – Тогда не будет проблем.

– Тебя никто не спрашивает, что мне носить с собой! – поворачивается к ней пожилая женщина в очках. – Ты своему Богу советуй, а не чужим людям.

– Всевышний, уважаемая, советы не принимает, – говорит женщина в шляпе. – Он только их дает.

– Развела тут религиозную пропаганду, – бурчит старик в шортах.

– Не нравятся ему поселения! – вдруг громко произносит мужчина в майке. – Ему Бейлин нравится с Арафатом!

– Зачем шуметь? – вздыхает сидящий перед ним молодой человек с татуировкой на предплечье. – Тот парень давно уже вышел.

– А ты не вмешивайся! – нависает над ним мужчина в майке. – Ты бы лучше место уступил старикам.

– Где ты тут стариков увидел? – поворачивается к нему татуированный.

– Да вот! – грузный в майке тычет пальцем в пожилого человека с тележкой на колесиках.

– Да я постою, – отмахивается тот. – Мне выходить скоро.

– Воспитали вас, – продолжает бурчать грузный в майке. – Никакого уважения к старшим.

– Они просто не думают, что когда-нибудь сами будут стариками, – поддерживает мужчину в майке невидимый бас.

– И правильно не думают, – вмешивается в спор девичий голос. – При такой жизни не знаешь, что завтра с тобой случится.

– Завтра будет ночь, потом утро, потом день и вечер, – говорит чернокожий старик в кипе.

– Ты закроешь мазган! – истошно орет пожилая женщина в очках. – Ты не в своем Марокко, ты в цивилизованную страну

приехал!

– Из Ирака, госпожа, – чуть поворачивается к ней водитель. – Мои родители из Ирака.

– Эсти, – тихо говорит своей соседке старик в шортах. – Ты уже слишком: при чем тут Марокко или Ирак?

– А при том, – невозмутимо произносит сидящий за этой парой широкоплечий мужчина. – При том что твоя жена – расистка. Таких в тюрьму сажать надо.

– Ты что сказал? – мучая больную шею, поворачивается к нему женщина в темных очках. – Это меня в тюрьму?

– Тебя, тебя, – невозмутимо подтверждает широкоплечий.

– Шломо! Ты слышишь, что он сказал?

– Выйдем, Эсти, выйдем сейчас же! – не выдержав, требует старик в шортах и даже поднимается неосмотрительно.

– Сиди! – требует его спутница. – Мы за билет заплатили. У тебя что, есть лишние деньги?

– Здоровье дороже, – бурчит старик в шортах.

– Это верно, – ловко протискивается на его место маленький человечек с бледным острым личиком. Он усаживается рядом с сердитой пассажиркой и продолжает: – Идти могу сколько угодно, стоять – чистая мука.

– Доигрался, – зло смотрит на неосмотрительного старика пожилая дама в очках. – Вот всегда так. Всегда на твое место кто-то садится… Водитель! Да выключи ты мазган!

– И чего они всю дорогу лаются? – говорит по-русски мужчина в фетровой, потертой шляпе.

– Культуры никакой, – отзывается ярко накрашенная женщина в легком, прозрачном платье. – Все им не так. Живут здесь от рождения. Денег куры не клюют, а все в автобусе ездят, экономят.

– Ладно вам, – говорит ей тоже по-русски пассажир в мятой армейской форме. – Среди сабр бедных тоже хватает.

– Ага, мы то и видим, – продолжала ярко накрашенная. – Вон одна весь банк украла. А у нас сосед сыну и дочке по машине купил. Плюнуть некуда из-за их машин.

– Ты выключишь мазган! – истошно вопит пожилая дама в темных очках.

– Не выключу, – отзывается водитель. – Мы из Ирака – народ упрямый.

– Я его сейчас убью! – говорит женщина.

– Не убьешь, – улыбается сидящий с ней рядом маленький пассажир. – Мы тогда все разобьемся.

– Тебя кто спрашивает? – поворачивается к нему соседка. – Занял чужое место и молчи.

– Чужих мест в автобусе не бывает, – резонно возражает маленький. – Бывают места свободные и занятые.

– Он еще и рассуждает! – картинно поднимает руки вверх соседка.

Тут входит в автобус молодая, религиозная мама с тремя детишками. Первые двое постарше и ведут себя прилично. Третий малыш, а ему год, не больше, орет как резаный.

Мамаша не обращает на орущего ребенка никакого внимания. Ей уступают место. Она спокойно устраивает на этом единственном месте все свое семейство.

– Да уйми ты ребенка, – говорит вошедшей даме женщина с книгой. – Ты что, не слышишь?

– Слышу, – поворачивается к ней с улыбкой многодетная мать. – У Даника зубки лезут. Тут не уймешь.

– А у меня давно все выпали! – вдруг сообщает неприметный прежде старичок в белой панамке. – Так я что, орать должен на весь автобус?

– Вот ты и орешь, – спокойно указывает старичку бас.

Ребенку, судя по всему, этот голос нравится. Он перестает голосить и начинает вертеть курчавой головенкой в поисках источника такого приятного голоса.

– Нарожают, потом ходят без штанов, – ворчливо произносит по-русски женщина в легком платье.

– Да она вроде в юбке, и даже длинной, – поправляет ее сосед в фетровой шляпе.

– Ты из меня идиотку не делай, – советует спутнику женщина. – Они нарожают, а толку ноль. Их дети в армию не ходят… Вон, косятся. Не нравится им, что по-русски говорим. Ненавидят нас.

– Зато вы их любите, – вздыхает сосед.

– А за что их любить?.. Это нашему сыну автомат на шею – и пошел, или вот ее?!

– Кто-то должен страну защищать, – говорит мужчина в мятой форме.

– Вот они пусть и защищают. И место у них на кладбище готово, как у людей. А тебя за оградкой похоронят, как собаку.

– Мой дед на русском кладбище похоронен, под крестом, – говорит сосед. – А рядом еврейское есть. Там евреи лежат.

– Ну и что?

– А то. Это в койке есть разница, кто с тобой рядом устроился, а покойникам это все равно. Это живым важно. Для них должны быть равные права.

Вот на этом «русском» изречении водитель все-таки выключает мазган, но тут в автобусе появляется группа

ортодоксов в черных костюмах и шляпах.

– Включи мазган! – тут же истошно орет кто-то из глубины салона. – Дышать нечем!

– Тихо! Чего ты орешь! – одергивают любителя холода. – Открой окно!

– Не нужно открывать! – вопит кто-то. – Сквозняк!

Тут грузный мужчина в майке пробует пробраться к выходу.

– Да ну вас всех к чертям, – бормочет он, расталкивая стоящих пассажиров. – Лучше пешком пойду.

– Ну и топай до своего поселения, – советует ему кто-то.

– Я тебе потопаю! – резко поворачивается к советчику грузный.

– Давно рекомендую нашему кнессету закон принять, – внятно произносит высокий мужчина в кипе. – Пусть «левые» в автобусе с левой стороны сидят, а «правые» – с правой.

– А религиозных куда? – интересуется нежный девичий голос.

– Им специальные автобусы, – решает молодой человек, призывно и ласково взглянув на симпатичную девицу.

– Водитель! Включи мазган! – бешено орет кто-то из душной глубины автобуса.

Но тут общественный транспорт тормозит, и в салон быстро поднимается юноша – араб с изможденным, застывшим лицом фанатика и в тяжелой куртке не по сезону…

2001 г.

Наум Петрович

1990 год. Я впервые в Израиле. Мне нравится абсолютно все, и это все снимаю с жадностью неутолимой. Толстую пачку фотографий увожу в Россию. Демонстрирую всем желающим. Желающих много. Для евреев и неевреев Израиль той поры – terra incognita.

Особенно запомнились сеансы просмотра на даче. Это я сейчас понимаю, что был одним из многих, кто бесплатно работал на Сохнут. Ныне практически все, кто охал и ахал над видами Земли Обетованной, Россию покинули. Это не значит, что выбор их пал на родину предков: кто-то оказался в Америке, кто-то в Германии и Канаде, а кто-то даже в Новой Зеландии. Такими были те времена очередного массового исхода из вконец обанкротившейся державы.

Старик Наум Петрович разглядывал мои фотографии с особым тщанием и пиететом. Крупный, высокий человек с большими руками и ногами склонялся над пачкой фотографий, будто хотел закрыть их, спрятать от всех. В эти минуты виды далекой страны становились его собственностью. Он ни с кем не собирался делиться долгожданным зрелищем. Наум Петрович наслаждался увиденным в полном одиночестве. Так настоящие меломаны слушают музыку.

Впитав в себя чудеса далекой страны, он рывком расправлялся, стаскивал с носа очки в тяжелой оправе и невидяще, повлажневшими глазами смотрел прямо перед собой в одну точку.

Он никогда не расспрашивал меня об Израиле. Иной раз я сам пробовал затеять рассказ о своем недавнем вояже, но Наум Петрович слушал меня невнимательно, был рассеян и, в конце концов, просил вновь показать фотографии.

Сына старика, где-то начальствующего товарища, раздражали эти просмотры необыкновенно. Жил он в свое удовольствие, не обращая внимания на так называемые трудности переходного периода.

– Папа, – раздраженно говорил он, – мы родились в России. Мы давно уже русские люди, и нечего придумывать о себе то, чего давно уже нет и не будет никогда!

Наум Петрович молча выслушивал сына. Он не пытался с ним спорить даже поворотом тела, взглядом, выражением лица. Он вел себя так, в ответ на слова сына, будто не понимал, о чем идет речь и в чем его, старого человека, пытается убедить сын-патриот.

Невестка старика, Татьяна Ивановна, была решительно

настроена «прекратить дальнейшее сманивание нашего отца в вашу Израиловку». Однажды она и сообщила мне об этом прямо. Я не посещал больше дачу старика, но это ничего не изменило. Наум Петрович стал навещать мое нехитрое строение, больше похожее на сарай.

Наступила осень, пора бегства в город от дождей и холода. Мы никогда не были особенно дружны, но перед отъездом старик напросился в гости. Он жил далеко от нашего района в Москве: две пересадки на метро, затем автобус, но переступил порог нашей квартиры уже через неделю после возвращения в город.

Рядом с домом Наума Петровича находилась одна из новых кооперативных булочных. В те годы всякие новшества в питании населения были в диковину. Старик не хотел быть нахлебником. Он приносил два длинных, невиданных прежде вкуснейших батона-багета. Это был царский подарок. Старик, сменив обувь, проходил на кухню, вытаскивал из матерчатой сумки новый вид хлебобулочного изделия и садился, полностью заполняя собой пространство между холодильником и стеной.

От угощения Наум Петрович, как правило, отказывался, лишь выпивал для приличия чашку крепкого чая, а потом я, и без просьб, приносил фотографии Израиля. Старик привычно нависал над ними, на добрые полчаса отключившись от окружающей действительности.

Говорили мы, как правило, о вещах малозначимых, о пустяках. О себе старик рассказывать не любил, но, опять же приличие обязывало, постепенно кое-что о Науме Петровиче я все-таки узнал.

Родился он в 1925 году. Коренной москвич, и вся его родня жила в столице, а потому от гитлеровского геноцида не пострадала. Еврейского воспитания старик не получил никакого. Был у него дед, который в раннем детстве Наума Петровича раз в году собирал все семейство в праздник Пейсах, – вот и все. Дед умер, и какая-либо связь с народом Книги прервалась на долгие годы.

В 1943 году Наума Петровича демобилизовали. Десять месяцев он воевал на Ленинградском фронте. Во время прорыва блокады был тяжело ранен. Провалялся в госпитале много месяцев. По словам старика, «потому и жив остался». После войны одолел техникум и сорок лет проработал мастером на пуговичной фабрике у метро «Бауманская», пока не ушел на заслуженный отдых.

– Вы, значит, пуговичный мастер, – пошутил я.

– Пропади они пропадом – эти пуговицы, – с неожиданной злостью ответил Наум Петрович.

Я узнал, что жена старика, мать начальствующего товарища, умерла еще нестарой женщиной, но Наум Петрович больше не женился, потому что «к новой бабе привыкать – себе дороже». Об Израиле, о родине предков, как и прежде, говорить старик не желал. Как-то мне пришлось отдать несколько фотографий приятелю. Я уж не помню, зачем они ему понадобились. А тут снова явился Наум Петрович со своими хлебами. После чая он привычно навис над фотографиями и вдруг выпрямился, не добравшись и до середины альбома.

– Масады нет! – резко и даже сердито произнес он. – Где Масада?!

Я сказал, что одолжил фотографии развалин древней крепости приятелю.

– Что б вернул, – приказал Наум Петрович и вновь склонился над видами Израиля.

Какая-то была очевидная нестыковка между регулярными посещениями стариком нашего дома и полной невозможностью наладить с ним душевный контакт. Теперь я думаю, что встречаются дети Адама, вовсе не способные найти общий язык с кем-либо, даже с близкими людьми, но тогда упрямое молчание и замкнутость старика меня раздражали. Со временем даже эти два обязательных багета стали казаться не вкусным хлебом, а чем-то крайне несимпатичным и даже несъедобным.

Года через три так получилось, что начальствующий товарищ вдруг потерял работу, да еще с каким-то скандалом потерял. Сын старика незамедлительно продал московское и дачное хозяйство и всей семьей перебрался в Израиль.

Наум Петрович позвонил перед самым отлетом.

– Мы уезжаем, – сказал старик.

– Куда? – не понял я.

– На постоянное место жительства, – ответил он. – Тебе вернули фотографии Масады?

– Да, – сказал я. – Вернули. Счастливого пути.

– Спасибо, – сухо произнес Наум Петрович и повесил трубку.

Я встретил старика в Хайфе лет через пять. Был там по газетным делам, брал интервью у мэра города. Мне этот мэр категорически не понравился и, предчувствуя, что текст будущей статьи выйдет безликим и лживым, шел я в расстроенных чувствах к железнодорожной станции, а тут Наум Петрович своей собственной персоной. Он мало изменился, держался прямо и ступал своими большими ногами твердо и тяжело.

Обрадовался старику, но он почему-то глянул на меня так, будто не узнал, но, помедлив, все-таки остановился и протянул руку.

– Как дела? – спросил я. – Как сын, внучка?

– Все нормально, – ответил старик, лениво и равнодушно шевельнув тяжелой, плохо выбритой челюстью, и я сразу понял, что моя жизнь в Израиле его совершенно не интересует, да и случайная встреча со старым знакомым вовсе не входила в планы Наума Петровича.

Полное равнодушие старика меня обидело, не могло не обидеть.

– Привет родне, – обронил вместо прощания и, оставив Наума Петровича в покое, двинулся к железнодорожной станции, но, услышав за собой тяжелые шаги большого человека, невольно обернулся.

– Постой! – старик догнал меня. – Слушай, Масаду тебе тогда вернули?

– Вернули, вернули! – не без злости ответил я. – Слушайте, Наум Петрович, сколько лет не виделись, а вас какие-то фотки больше живых людей интересуют.

– Ладно, – сказал он. – Очень торопишься?.. А то давай, посидим… Тут рядом шалман… Я приглашаю.

Шалманом он назвал маленькое придорожное кафе на три столика. Мы пили пиво и закусывали орешками. Старик вновь пытался держать язык за зубами, но я был настойчив и в конце концов выяснил, что сын его работает в порту, внучка тоже устроена неплохо, да и сам Наум Петрович доволен местной жизнью, особенно нравится ему медицина Израиля: «Очень заботливая». Я начал рассказывать о своих «подвигах», но сразу умолк, уловив в очередной раз, что старик, как и прежде, к ним совершенно безразличен. Я тогда так и не понял, зачем он догнал меня и пригласил в это кафе.

Принесли счет, хотел было расплатиться, но старик решительно отодвинул мой бумажник.

– Адресок не дашь? – спросил, прощаясь, Наум Петрович.

Пожал плечами, но вручил ему визитную карточку.

Ровно через неделю старик сообщил по телефону, что едет к нам в гости. Удивился, предупредив Наума Петровича, что дорога из Хайфы в Холон не легче, чем от станции метро «Аэропорт» до Ясенева.

– Ничего, – сухо ответил старик, – доберусь.

Он добрался и принес все ту же пару длинных французских батонов в бумажном пакете. Мы молча выпили по чашке чая.

– Ну давай, – сказал Наум Петрович.

– Что «давай»? – не понял я.

– Фотографии. – Он посмотрел на меня удивленно.

Потом старик сидел, низко склонившись над тем же старым

альбомом, рассматривал давние виды Израиля, не торопясь, аккуратно переворачивая страницы. Наконец закрыл альбом, поднял на меня повлажневшие глаза, но сразу же поспешно вытер слезы мятым платком и, опершись на столешницу большими руками, поднялся.

– Чудеса, да и только, – сказал я, провожая старика. – Мы с вами уже здесь, Наум Петрович, к чему эти сантименты?

– Дурак ты, хоть и писатель, – обронил старик. – Ну, это?.. Как ее? Мечта, надежда – одно, а жизнь – совсем другое.

Больше мы не виделись.

2006 г.

Процедура

Перед очередной процедурой Кукину не спалось. Он не без труда натянул на иссохшее тело тренировочный костюм и спустился в холл гостиницы на набережной Тель-Авива. Егор Захарович был доволен тем, что сбежал из номера ловко, не разбудив жену Анну Гавриловну, но это ему только казалось, потому что супруга Кукина вот уже несколько месяцев прислушивалась к каждому шагу или вздоху больного мужа. Она привычно сделала вид, что спит, а на самом деле лежала без сна и думала о том, что жизни ее тоже придет конец, как только Егора Захаровича не станет на свете.

В холле Кукин обычно занимал место у столика рядом со стеклянной витриной, выходящей к пляжу и морю. Дежурный за стойкой улыбнулся, кивнул Кукину и поздоровался с ним на английском языке.

– Монинг, – сказал дежурный.

– Чтоб ты сдох, буржуй, – ответил ему Кукин, но тоже с улыбкой, чтобы человек на вахте не смог расшифровать смысл его недобрых слов.

Кукину как-то не везло. В школе, в институте, на работе Егор Захарович не встречал достойных лиц еврейской национальности. Все какая-то мелочь пузатая попадалась, жулики да лентяи, а сам Кукин был честным, прямым малым и трудоголиком, каких еще поискать. Себя он называл «производителем», и не без оснований, потому что за тридцать лет трудовой деятельности спустил со стапелей верфи, где он работал сменным мастером, не один десяток судов малого и среднего тоннажа. Он и дома не умел отдыхать в безделье: постоянно что-то строил, ремонтировал, приводил в порядок.

Егор Захарович не был по природе завистливым и злым человеком, а потому хронической юдофобией, несмотря на отрицательный жизненный опыт, не страдал, но и симпатии к иудейскому племени никогда не выказывал.

Но тут произошла с ним трагедия, превратившая Кукина в вынужденного гостя Израиля. Однажды в субботу, пятнадцатого октября, это он помнил точно, почувствовал Егор Захарович непривычную боль над левым виском. Он проглотил таблетку анальгина – боль вроде бы прошла, но в воскресенье утром она вернулась, неимоверно усилившись.

Ровно через месяц, снова в субботу, доктора поставили бедняге жуткий диагноз: опухоль мозга. Супруге Кукина сообщили, что операцию нужно провести срочнейшим образом,

но при любом исходе ничего хорошего медицина не обещает.

В общем, началась у нашего героя новая горькая жизнь, которую и жизнью-то назвать трудно. «Бойня за существование», обозначил скорбную полосу своей биографии сам Егор Захарович.

Кукина прооперировали, но без особого результата, потому что опухоль успела дать метастазы. Мало того, в ходе операции невольно задели то, что задевать не надо было, а в результате Егор Захарович потерял прежнюю синхронность движений и внятную речь. Самому Кукину врачи, как это до сих пор предписано в России, врали, но Анне Гавриловне сообщили, что жить ее мужу осталось месяца два, не больше.

Начались разного рода метания: поиски знахарей, народных лекарей, ворожей и прочей недоброкачественной публики. Но тут позвонил супруге больного из Москвы хирург, оперировавший Кукина, и сказал, что для таких больных, как Егор Захарович, в Израиле открыли экспериментальную лечебную программу, и Егор Захарович, если пожелает, может ей воспользоваться. Хирург сразу же дополнил, что лечение будет бесплатным, но дорогу и проживание им придется оплатить самим.

Нужно отметить, что при любом отношении к потомкам Иакова русский человек, тайно или открыто, убежден в некоем превосходстве еврейского племени, в особом умении жить и выживать, несмотря ни на что.

Анна Гавриловна сразу решила, что в Израиле ее любимого мужа спасут от смерти. Надеждой своей она не стала делиться с Егором Захаровичем, помчалась в Москву и быстро выправила все необходимые документы.

Деньги у людей честных гостят редко, но был у Кукиных сынок – редкий пройдоха по торговой части. Отца он, при всех своих недостатках, любил нежно, а потому и взял на себя материальное обеспечение заграничного вояжа Егора Захаровича.

Все складывалось лучшим образом, но совершенно неожиданно сам Кукин отказался от предложенного лечения за границей России. Он сказал жене так:

– Им белые мыши нужны для опытов. Своих-то жалко. Вот и ищут лохов среди других народов. Я не собака Павлова, я – человек. Я русский человек. А потом – ты только глянь в телек! Бомбят их почем зря, террор опять же. Никуда не поеду!

Анна Гавриловна хотела сказать мужу, что нет у него выхода, что дают врачи больному сроку жизни всего шестьдесят дней, но не смогла выговорить эти жестокие слова. Она просто заплакала так горько, как не плакала никогда в жизни.

Слезы подействовали. Кукин тоже любил свою жену и согласен был на что угодно, только бы не видеть ее в горе и

полном отчаянии.

Так он оказался в Израиле. На месте выяснилось, что одной процедуры больному мало. Им пришлось брать билеты до аэропорта Бен-Гуриона еще девять раз. Русскоязычный врач Борис Раппопорт курировал курс лечения, но отношения с ним у Кукина не заладились. Егору Захаровичу казалось, и не без причины, что Раппопорт совершенно безразличен к его личности и видит он в своем кабинете не живого человека, а робота, у которого почему-то отказало какое-то реле в железной черепушке и нужно этот испорченный механизм исправить. Поначалу Кукин пробовал наладить с лечащим врачом человеческий контакт, но быстро понял, что плевать Борису Раппопорту абсолютно на все, что не касалось болезни Егора Захаровича.

– Говорил я тебе? – сказал он как-то Анне Гавриловне. – Им не люди были нужны, а собаки подопытные. Все-таки дурной народ эти евреи.

– Пускай дурной, – не стала спорить с мужем Анна Гавриловна. – Только бы вылечили тебя.

Больше на тему плюсов и минусов потомков Иакова они не разговаривали. Жене Кукина еще в России дали совет помолиться за здоровье Егора Захаровича в церкви Гроба Господня, но она подумала, что на Святой земле Бог все-таки ближе к евреям, чем к другим людям, и помолиться надо бы в синагоге, а не в церкви.

Анна Гавриловна решила посоветоваться, как ей сделать это, с русскоязычной официанткой в кафе на набережной, но та ей сказала, что лучше отправиться к Стене Плача и оставить там записку с просьбой о выздоровлении Кукина.

Рискнув бросить мужа одного на полдня, Анна Гавриловна отправилась в Иерусалим и оставила в щели между древними камнями такую записку: «Прошу тебя, Господи, умоляю, дай мужу моему, Кукину Егору Захаровичу, 1941 года рождения, сил и здоровья. Кукина Анна».

У самого больного не было сил и времени, чтобы познакомиться с Израилем. Гостиница, дорога в клинику на такси, сама больница – вот и вся география его странствий по Еврейскому государству. В номере был телевизор с каналами из Москвы. Каналы эти Егор Захарович смотрел постоянно, и иногда ему казалось, что он никуда не уезжал из России, а просто лечится в новой больнице, по новой заграничной методике.

Лечение было сложным. Егор Захарович мучился, страдал, накачанный неведомым лекарством, и не меньше от вынужденного безделья, но жил. Прошло два месяца, четыре, восемь, прошел год…

И вот он сидел в холле гостиницы на набережной, смотрел на

море, песок пляжа, чистое небо и думал о причудах своей собственной жизни. Он думал, что болезнь как будто специально загнала его в эту жаркую чужую страну с какой-то неведомой целью. Раньше он был уверен, что все в его длинной жизни давно уже сказано и выяснено, и он выполнил на этой земле все предначертанное судьбой. И вот оказалось, что это не так: что-то он еще должен себе, своим близким и этому миру.

«Море, – подумал Кукин. – Даже в Черном никогда не купался, не довелось. Раз дали путевку в Ялту, но тут заболел начальник стапеля. В реке нашей, в озере, даже в болоте плавал, а в море, в соленой водичке, не довелось».

В этот ранний час мимо витрины гостиницы спешили куда-то молодые люди, сильные, шумные, загорелые, красивые. Такими, по крайней мере, они казались Егору Захаровичу. В глубине души он завидовал этим ребятам: их молодости, здоровью и про себя называл прохожих тунеядцами, так как был уверен, что весь Израиль, за редким исключением, живет на американские деньги; а потому и люди вокруг, свободные от тяжкого труда, улыбчивы, веселы и даже в такой ранний час способны смеяться и радоваться друг другу.

«Это еще от климата, – подумал Кукин. – От моря теплого и соленого. Где не утонешь. Хорошо устроились, черти!»

Он подумал так и вдруг решительно и без особого труда поднялся. Прежде старый гость передвигался с большим трудом, и дежурный удивился такому поведению инвалида из России. Он проводил взглядом Кукина до самого пляжа и потом, поджав губу, смотрел с удивлением, как Егор Захарович, стянув с себя тренировочный костюм, в нелепых трусах стал заходить в воду.

Сначала Кукин решил, что упадет, что не одолеть ему легкий накат теплой волны, но он не упал, только один раз качнулся и двинулся дальше, сохранив равновесие.

Егор Захарович плавать умел и делал это отлично, но на этот раз он только лег на спину, раскинув руки, увидел перед собой голубую бесконечность неба и замер.

Он лежал в теплой и ласковой колыбели моря, и ему вдруг показалось, что тело его ничего не весит, и нет в нем изнуряющей тяжести болезни, и он совершенно здоров, как прежде, до внезапной боли выше виска. И это внезапное ощущение здоровья и силы подарило Егору Захаровичу редчайшее ощущение полного счастья, что случается с человеком только в детстве.

Тем временем Анну Гавриловну стало беспокоить долгое отсутствие мужа. Она оделась, спустилась вниз, но и в холле не увидела Кукина. Дежурный сразу все понял, заговорил с ней на английском языке и показал рукой в сторону моря.

Егор Захарович решил вернуться на берег. Он шел по воде уверенно, прямо, сохраняя равновесие, а на пляже, прямо на песке, сидела обессилевшая от бега Анна Гавриловна, смотрела на мужа и плакала, но то были совсем другие слезы.

2008 г.

Князь Гуревич

Встречаются люди, живущие исключительно по приказу. Так легче и проще. Гуревич Ефим Борисович всегда жил подобным образом.

Велели стать пионером, он поднял ладонь ребром ко лбу. Пришла очередь стать комсомольцем – стал. По повестке отправился служить в армию, там предложили вступить в ряды КПСС – вступил. Но тут грянули разные перемены. Было разрешено свыше стать евреем. И Гуревич стал им охотно. В любом случае выполнил он этот приказ с большим удовольствием, чем предшествующие распоряжения.

До 1993 года Ефим Борисович работал в своем институте по очистке канализационных систем и в разных общественных, еврейских организациях, потом, опять же по приказу жены, перебрался в Израиль, благополучно реализовав кое-какую недвижимость.

В еврейском государстве Гуревич совсем недолго был занят на «черных» работах, затем он нашел себе занятие по своей инженерной специальности, но параллельно, и по привычке, трудился в недавно созданной организации: «Евреи! За достоинство!»

И тут произошел в судьбе Гуревича фантастический поворот: он получил из России письмо. Вскрыл его и обнаружил в конверте странную красивую бумагу, отпечатанную типографским способом. «Шапку» документа украшал красивый вензель с орлами и лентой в когтях птиц, на которой значилось: «Дворянское собрание России». Ниже шел текст еще более удивительный: «Дворянское собрание России доводит до сведения Гуревича Ефима Борисовича, что он является единственным прямым потомком (внуком) князя Голицына Алексея Николаевича, почившего в Бозе в городе Париж, 7 августа 1931 года и похороненного на кладбище Пер-Лашез, участок № 8.

Дворянское собрание счастливо видеть в своих рядах нового члена, князя Гуревича – Голицына Ефима Борисовича!»

К типографскому тексту была приложена скромная страничка на компьютере:

«Ваше сиятельство! Недавно была обнародована переписка Вашего славного предка со своим другом, графом Протасовым Георгием Пантелеевичем. Переписка эта 70 лет, по завещанию последнего, находилась в закрытом фонде Архива г. Париж. И совсем недавно наши эмиссары получили доступ к этим документам.

Подробное изучение последних выявило Вашу прямую родственную связь с графом Алексеем Голицыным. В январе 1915 года Ваша бабушка, Авербах Фрида Шимоновна, по окончании гимназии была принята, как педагог по точным дисциплинам, в семью князя-вдовца с целью провести курс репетирования перед поступлением в университет единственного сына князя – Ивана Алексеевича – 16 лет от роду.

В ночь на 10 апреля 1916 года князь Алексей Романович сошелся с Вашей бабушкой, а результатом этой связи стало рождение Вашего отца – Голицына Бориса. Князь был влюблен в Вашу бабушку и со временем собирался стать с ней под венец. Но тут грянула одна революция, затем другая. Князь был вынужден эмигрировать во Францию, а его старший сын Иван погиб в Крыму, защищая Трон и Отечество.

Ваша бабушка, как нам удалось это выяснить, вскоре вышла замуж за курсанта Красной Армии Абрама Гуревича. Он усыновил Вашего отца, и так, на долгое время, была скрыта тайна его рождения. Борис Абрамович (Алексеевич) Голицын-Гуревич только после войны с Гитлером заключил брак с девицей Софьей Матвеевной Коган, и в 1953 году родились Вы. Нам известно, что Ваш сиятельный отец скончался от сердечной болезни в июле 1992 года. Следовательно, Вы единственный наследник и носитель высокого имени князей Голицыных. Вот, вкратце, славная история Вашего рода и причина, почему наше собрание постановило выслать Вам документ о зачислении Вашего Сиятельства в славные ряды российского дворянства». Ниже следовала разборчивая подпись: «Ответственный секретарь Собрания, барон А. Кугель» и дата.

Четырежды Гуревич перечитал оба документа, но и после последнего прочтения не до конца осознал присланное. Зато жена Ефима быстро разобралась, что к чему.

– Бабка-то твоя шустрила, что надо, – сказала она. – А ты, Фимка, оказывается, никакой не еврей, а сиятельный внучек. Хорошо, что документики эти лежали в Париже под спудом, а то бы шагать твоему папаше на Колыму за такое родство.

– Ничего не понимаю, – бормотал Гуревич. – Помню бабку и деда помню. Они никогда обо всем этом… Ну, никогда! Нет, не может быть. Глупости все это.

– Тут что-то о наследстве пишут, – напомнила жена Ефима Борисовича. – Это о каком наследстве?

– Откуда я знаю, – разнервничался Гуревич и почти что силой забрал у жены полученный аттестат и письмо. – Помалкивай обо всем этом, ладно. Детям знать совсем не обязательно, что их отец не еврей, а какой-то там князь.

– Дурак ты, Фима, – сказала на это жена. – Дураком родился, дураком помрешь.

С этой характеристикой она и оставила мужа в одиночестве, а Ефим Борисович первым делом подошел к зеркалу. Он долго вглядывался в очертания своей семитской физиономии, потом вооружился малым зеркалом и проверил личный профиль.

– Что-то есть, – пробормотал Гуревич. – Есть что-то, честное слово!

Неизвестно, как хранила тайну жена Ефима Борисовича, но сам новоявленный князь на следующий день проболтался своему коллеге по работе и приятелю – Бирюкову Марату. Марат был русским по папе, и Гуревич решил, что этот человек вполне может стать доверенным лицом его новой тайны.

– Ты представляешь! – сказал он Бирюкову в час обеденный, когда они закусывали прямо в конторе принесенными из дома бутербродами. – Сорок восемь лет носил честную еврейскую фамилию. И вдруг оказывается, что моя бабушка крутила амуры с сиятельством каким-то, а я сам, ни мало ни много, князь Голицын.

– Бывает, – подавив отрыжку, сказал Марат Бирюков. – У моего знакомого всю жизнь папа был профессор, а потом оказалось, что зачали его от полотера. Правда, полотер был непростой, а из самого Большого театра.

– При чем тут полотер, – обиделся Гуревич. – Князь и полотер – есть все-таки разница?!

Приятель только плечами пожал равнодушно и запил свой тоскливый обед бутылочкой диетической колы.

Гуревич невольно разозлился на коллегу и стал говорить о ценностях еврейства, о древней истории еврейского народа и о том, что величие его еврейского «дворянства» не идет ни в какое сравнение с жалким аристократизмом какого-то русского князя.

– Ну, – не стал спорить приятель. – Ты не нервничай… Пошли их всех знаешь куда… – И Марат Бирюков уточнил, куда нужно послать «всех».

– Да я и не нервничаю, – даже хохотнул Гуревич. – Пионером был, комсомольцем был, членом КПСС был, евреем стал, теперь вот в князья подался. Нам не привыкать.

– А все-таки ты не нервничай, – повторил коллега.

Советовать, как известно, легко. Только следовать советам чаще всего не удается. Ефим Борисович продолжал нервничать. Он каждый день тайком перечитывал присланные документы и, в конце концов, сам себе признался, что это действие приносит ему наслаждение, прежде неведомое.

Он не мог думать ни о чем, кроме своего негаданного

дворянства. Он уже не раз ярко, в картинах, порой даже порнографических, представлял себе роман его юной бабушки с бравым князем.

Он стал жить этими представлениями, вариантами своей возможной судьбы при браке князя и бабушки. И настолько интенсивно он стал жить всем этим, что по наблюдению домашних изменился даже внешний облик Гуревича. Он как-то выпрямился, в лице появилась некая снисходительная значительность, и даже походка Ефима Борисовича, прежде мелкая и даже суетливая, стала шире в шаге и уверенней.

Примерно через месяц пришло второе послание из Дворянского собрания. Гуревич нетерпеливо разорвал конверт, достал бумагу под знакомым грифом и прочел текст, слегка подрагивающий в его неспокойных пальцах.

«Ваше Сиятельство, князь Е. Б. Голицын (Гуревич)! Доводим до Вашего сведения, что, согласно выписке из реестра недвижимости Российской империи, вам на законных основаниях принадлежит, по праву наследства, усадьба под деревней Ельцы, Тверской губернии.

Усадьба: двухэтажный дом с мансардой (320 кв. м) с хозяйственными постройками – находятся в запущенном состоянии, но по решению Особого фонда Дворянского собрания от 22 мая 2001 года Вам предоставляется льготная ссуда в 100 тысяч долларов на ремонт этой недвижимости, памятника усадебного строительства России XVIII века».

Далее подпись, число, печать. Все, как положено.

– Ты что-то спрашивала о наследстве? – сказал, между прочим, за ужином своей жене Гуревич и небрежно швырнул документ на стол.

Жена прочла полученную бумагу. Глазам своим не поверила, прочла еще раз. Реакция женщины оказалась четкой и решительной:

– Отремонтировать и продать немедленно… Так, триста двадцать метров, с постройками, считай тысяч за четыреста пойдет, все-таки памятник архитектуры. Сам билет закажешь?

Ровно через три дня Ефим Борисович был в Москве.

– В Дворянское собрание, – небрежно бросил он шоферу такси.

– Адрес, может, скажешь? – грубым голосом поинтересовался шофер.

Гуревич назвал адрес, указанный на конверте. Путь туда, от аэропорта Домодедово, оказался недолгим, но уже на подъезде Ефим Борисович почувствовал неладное, слишком знакомой оказалась дорога.

– Все, – сказал таксист. – С тебя триста пятьдесят, приехали.

Раздолбанная «Волга» стояла у знакомого Гуревичу здания. В этом непрезентабельном сооружении он работал семь лет, до отъезда в Израиль. Инспектором трудился по очистке канализационных сетей.

В первый момент Ефим Борисович с надеждой подумал, что прежняя его контора прекратила свое существование, но потом увидел вывеску у подъезда и перестал на что-нибудь надеяться.

Бывшие его сослуживцы удивились визиту Гуревича. Впрочем, бывших оказалось не так уж много: заместитель директора, заведующий типографией Петрухин Василий, и два конструктора из КБ.

Все удивились, кроме Петрухина. Тот хитро подмигнул Гуревичу и спросил: не прибыл ли тот в Москву за наследством князя Голицына?

– Ладно тебе, Вася, – сказал Ефим Борисович и потрепал доброго приятеля по плечу, – я сразу понял, что ты шутишь, старый мастер этого дела. Как адрес увидал, сразу понял, какой я князь… А в Москве у меня срочное дело: заказик один нужно обсудить… Вот решил прежде друзей по старой работе навестить.

– С чемоданом, – хитро покосился на груз Гуревича Петрухин.

– Так по дороге же в отель, – нашелся Ефим Борисович.

Остановился он не в отеле, а на квартире престарелой родственницы жены. Ночью, под надсадный храп в соседней комнате, ему хотелось выть на луну, а потом повеситься.

Утром Гуревич позвонил жене в Израиль.

– Котик, – сказал он. – Усадьбу нашу подожгли, как раз на той недели. Все сгорело дотла. И ссуду теперь не хотят давать. Что делать?

– Езжай домой, Ваше Сиятельство, – ласково посоветовала жена. – Кто дураком родился, тот дураком помрет.

2003 г.

Нельзя человеку жить одному

В два часа ночи Вениамин Липшиц проснулся от брезгливого чувства к самому себе. Температура неподвижного воздуха за распахнутыми окнами поднялась, несмотря на отсутствие солнца и холодный свет луны, и все большое тело Вениамина покрыла влажная испарина.

Некоторое время он лежал неподвижно, ошибочно подозревая свой организм во внезапной вспышке болезни. Потом, услышав панический и короткий вопль случайного автомобиля, очнулся, все понял, вскочил и, снимая на ходу трусы, отправился в душ.

Пока Липшиц стоит под сладостными, холодными струями воды, чуть попахивающими хлором, я попытаюсь нарисовать портрет этого человека.

Вениамин Липшиц родился на свет, унаследовав некоторые особенности своего деда и матери. Дед Липшица владел внушительным ростом и огромной мышечной массой. Еще до войны с Гитлером он выступал на арене цирка нижним в пирамиде, а каждый знает, что хлюпику на этот пост не пробиться.

Мама Вениамина была женщиной весьма миловидной, но небольшого роста и с «птичьими», тонкими, ничего как будто не весящими костями.

Липшиц унаследовал физическую «форму» деда, но «содержание» этой формы взял у мамы. Получилась шутка природы, самый настоящий обман зрения.

Отец Липшица, человек деловой и энергичный, говорил своему сыну-подростку так: «Веня, каждому надлежит пользоваться тем, что дала ему природа. Это залог успеха. Иди в секцию баскетбола».

Липшиц послушно шел. В секции обрадовались парню гренадерского роста, но со временем радоваться перестали. Веня так и не научился играть в баскетбол. Талантливая форма не могла компенсировать бездарное содержание.

Под знаком этого противоречия и прошла вся дальнейшая жизнь Вениамина Липшица. Особенно семейная жизнь. До переезда в Израиль он был трижды женат. Не очень опытные дамы восхищались могучей статью Вени, брали его, покорного, за руку и вели в загс. Но очень скоро выяснялось, что внутри огромного тела сидит маленький и очень слабый человечек. Вынести такое разочарование женщины не могли и бежали от бедного Липшица сломя голову.

Если честно, он бы мог поправить положение, если бы хоть

раз сделал попытку вернуть кого-либо из жен, но Веня и в суд-то за разводом шел с большим трудом, нехотя и зевая от скуки.

Однако последнее поражение на семейном фронте подействовало на Липшица странным образом: он решил переместить себя в пространстве, то есть воспользоваться национальностью своей мамы.

Липшиц бросил скромную должность на картонажной фабрике, продал однокомнатную квартиру в городе Серпухове, оформил документы на выезд и летом 2002-го оказался в Израиле.

Знакомые отговаривали Вениамина, пугали его волной арабского терроризма, но Липшиц всем отвечал привычной шуткой:

– Я мужичонка маленький, в меня не попадут.

Знакомые посмеивались, глядя на огромного, под два метра, Липшица и в глубине души не считали, что еврейское государство в чем-то выиграет, взяв на прокорм такого верзилу.

Надо сказать, что после последнего развода Липшиц твердо решил в брак больше не вступать. Его мнение о слабой половине рода человеческого с каждой очередной неудачей все ухудшалось и ухудшалось.

Вениамину не было еще и сорока лет. Женщины в Израиле интересовались им не меньше, чем в России. Веня, как и раньше, не сопротивлялся, когда его брали за руку, и вели в укромный уголок, но в остальном проявлял упрямство, так как иллюзиями насчет счастливой семейной жизни уже не страдал.

Необходимо отметить, что при всей своей заурядности Веня был удивительно пунктуален, подробен и даже въедлив. Еще в России он слышал разные байки о недобросовестности хозяев на рынке жилья в Израиле, а потому, когда нашел подходящую квартиру на съем, долго и внимательно проверял качество сантехнического, электрического и газового оборудования, окон и дверей в квартире. После проверки остался всем доволен и только тогда подписал договор на аренду маленькой клетушки в Бат-Яме с исправным душем, но без кондиционера.

И вот теперь Липшиц охлаждал свое горячее тело и с грустью думал о неизбежном возвращении к влажным простыням и отвратительной подушке, хранящей застарелый запах пота.

Он долго обтирал свое большое тело маленьким полотенцем, но наконец вздохнул тяжко и взялся за ручку двери душевой. Что-то звякнуло в замке, и дверь не открылась. Вениамин нажал еще раз, но безуспешно. Судя по всему, механизм запора сломался, и язычок замка превратился в засов, отодвинуть который Липшиц никак не мог.

Так он оказался в заключении. Но понял он это не сразу и легкомысленно отнесся к бытовой, как ему показалось, неурядице.

Он стал копаться с предательским замком. Даже попробовал справиться с запором с помощью зубной щетки – других инструментов в душевой не оказалось. Вышибить створку он не мог, так как дверь открывалась во внутрь квартиры… И вдруг Веня понял, что попал он в положение незавидное и ему не выбраться из душа среди ночи ни при каких обстоятельствах. И событие это может сказаться на всей его судьбе в новой стране.

В Израиле никто не стал бы искать Липшица, и он никого не знал даже в том доме, где поселился.

Вениамин не страдал в мыле на лестничной площадке, как инженер Щукин из знаменитого романа Ильфа и Петрова. Он стоял относительно сухой, но тоже совершенно голый в душевой комнате арендованной квартиры, ясно сознавая всю унизительность своего положения.

У инженера Щукина был хотя бы шанс встретить человека на лестничной площадке. Он такого человека и встретил. У Липшица такого шанса не было. И тут, после первого приступа отчаяния, он сообразил, что позади душевой находится небольшой балкон, куда Вениамин сразу же вынес разное хозяйское барахло и где стояла старая, проржавевшая стиральная машина. С балкона этого можно было позвать на помощь.

Но ночью?! И что кричать в чужой стране? Липшиц к тому времени знал всего лишь несколько слов на иврите. И тут его осенило. Он собрал в своей памяти школьные знания английского языка, с большим трудом перепоясал чресла коротким полотенцем, выскочил на балкон и тихо, придушенно произнес в кромешную темноту: «Хелп ми, хелп ми».

Никто, естественно, не отозвался. На балконе было душно и мерзко, близкое море отдавало бетону домов свою излишнюю влагу, большое тело Вениамина Липшица вновь покрылось липким потом. Он даже подумал, что хорошо в такую ночь оказаться взаперти в душе. Не возбраняется вновь смыть этот мерзкий пот. И вообще, можно вполне переждать до утра и даже поспать в душевой кабинке, притулившись к прохладной стене.

Он подумал так, но почему-то панически испугался образу своих мыслей, снова выскочил на балкон и, забыв о природной деликатности, отчаянно заорал в темноту: «Помогите!»

– Ты чего орешь! – отозвался почти сразу грубоватый, прокуренный голос. Шел этот голос с балкона квартиры над Вениамином и, казалось, прозвучал совсем рядом.

– Замок испортился! – крикнул Липшиц. – Я выйти не могу из

душа.

– Не ори! – настоятельно посоветовали ему. – Ребенка разбудишь. Это бывает. Такие у них замки. Потерпи, я сейчас инструмент найду.

Липшиц терпел несколько минут в надежде на избавление. И вдруг услышал шорох, а потом увидел в лунном свете гладкие, пухлые, женские ноги, а за ногами полу халата.

К соседу, попавшему в беду, цепляясь за толстую веревку, спускалась женщина.

– Я голый совсем! – отчаянно заверещал Липшиц.

– Ну и… с тобой, – грубо ответила соседка.

Вениамин попытался укрепить полотенце на бедрах, но сделал еще хуже. Его «фиговый листок» свалился, и Липшицу пришлось закрыть интимное место ладонями.

Женщина явилась к нему с мощным молотком и трехгранной отверткой. Сама огромная и голая фигура Липшица, казалось, не очень ее заинтересовала. Женщина решительно двинулась к двери.

– Хорошо, что не суббота, – сказала она. – Бери и бей под основание.

– Я не могу, – сказал Липшиц.

– Чего это? – женщина впервые глянула на беднягу и все сразу поняла. – Ладно, я на тебя не смотрю. Тоже мне бык тамбовский. Всяких видела. Работай!

Липшиц тяжко вздохнул, поставил отвертку и ударил по ней молотком.

– Да ну тебя, – сказала женщина. – Ни черта вы, мужики, делать не умеете. Дай сюда!

Последовало три точных сильных удара, и дверь распахнулась. Липшиц бросился в комнату, напялил шорты и вышел к своей избавительнице.

Женщина, опустившись на табурет в тесной кухне, курила, жадно затягиваясь.

– Тебя как кличут? – спросила она.

– Вениамин, Веня, – сказал Липшиц.

– А меня Ниной зовут. Давно в стране?

– Три месяца, – сказал Липшиц.

– Один живешь?

– Один, – ответил Липшиц.

– Нельзя человеку жить одному, – пуская клубы дыма, сказала Нина.

– А вы? – осмелел Липшиц.

– Я не одна, у меня сын есть, – сказала женщина. – Три года исполнилось, Сеней зовут.

– А муж? – спросил Вениамин.

– Выгнала. Хлипкий был, вроде тебя, – сказала Нина, и Липшиц с радостью подумал, что эта женщина сразу распознала его суть и не будет делать ставку на рост и солидную массу. Ему даже понравилась прямота Нины, и сама эта женщина понравилась – и лицом, и фигурой.

– Закуривай? – предложила Нина, доставая пачку сигарет.

– Я не курю, – улыбнулся Липшиц.

– Пьешь?

– Только шампанское на Новый год.

– С бабами-то хоть спишь? – нахмурившись, спросила Нина.

– Это бывает, – тихо признался Липшиц.

– Только на меня не рассчитывай, – сказала Нина. – Мне с человеком хорошо и долго знакомиться нужно. Я брезгливая, с любым в койку не лезу.

– Я тоже брезгливый, – признался Липшиц.

– Ну, бывай, – сказала Нина. – Некогда мне, а то Сенька проснется, – и ушла от нового репатрианта, на этот раз через дверь. Ключ от своей квартиры она предусмотрительно захватила с собой.

Вениамин Липшиц не смог сразу заснуть на влажных простынях, но лежал он в хорошем настроении, улыбался каким-то внезапно возникшим теплым мыслям и вспоминал слова своей прокуренной соседки: «Нельзя человеку жить одному».

2003 г.

Тайна ада и рая

Рассказ фантастический

Мой давний знакомый Пинхас Лигман вечно цитировал Зигмунда Фрейда, причем находил в его многочисленных сочинениях самые невеселые места. Ну, например: «Цель всякой жизни есть смерть, и, заходя еще дальше, можно утверждать, что неживое существовало прежде живого».

Он был мрачнейшим созданием, этот Пинхас Лигман, будто сама благоприобретенная профессия наложила на беднягу свой отпечаток. Дело в том, что работал Лигман патологоанатом. Причем долгие годы пребывал таковым в специальной лаборатории при Институте им. Склянского, где имел дело исключительно с покойниками специфическими – жертвами всевозможных убийств.

В 1990 году Лигман переселился в Израиль, жил на пособие по старости скромно и тихо и только однажды намекнул мне, что сделал в России великое открытие, но был предупрежден, будто в случае огласки рискует не только своей жизнью, но также здоровьем и благополучием своих близких: дочери, зятя и троих внуков.

Но вот зимой 1998 года, в холодный, дождливый и ветреный день, он появился на пороге нашей квартиры, вытащил из кармана лист газеты на русском языке и произнес, по обыкновению слегка заикаясь: «Он умер! Все! Он умер, наконец!»

– Кто умер? Неужели Арафат? – назвал я первое пришедшее на ум имя.

– Нет, академик Василий Сталинович Первухин, мой бывший шеф. Человек, укравший мое изобретение. Человек, взявший с меня страшную тайну не рассказывать об изобретении этом никому и никогда. Все! Заклятие снято! Ты будешь первым, кто узнает тайну смерти человека.

– Можно и подождать, – сказал я. – К чему нам это, пока мы живы.

– И это говоришь ты?! – возмутился мой гость. – Человек, который презирает атеистов.

– Понятно, – усмехнулся я. – Пинхас Лигман нашел еще одно доказательство бытия Божьего.

– При чем тут это?! – возмутился мой гость. – Так слушай же: «Жизнь теряет содержательность и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь».

– Опять Фрейд? – спросил я.

– Да, он! – решительно подтвердил Пинхас. – И гением этим

сказано: «Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти».

Стемнело. За окном шумел ветер, по стеклу били плети дождя. И тут погас свет, как это часто бывает в нашем городе во время ненастья.

Мы сидели у стола в полной темноте. Я предложил зажечь свечу, но Лигман попросил не делать этого.

– Нельзя зажигать свечи всуе, – сказал он. – Грех это. Лучше газ запали. И светло будет, и тепла прибавится.

Первый раз слышал о грехе, связанном с таким безобидным предметом, как свеча, но спорить не стал… Мы сидели у стола при свете газовой горелки, пили кофе, и Лигман начал рассказ о своем великом изобретении.

– Случай всесилен, – сказал он. – Мы в его власти. Ученый всю свою деятельную жизнь будто участвует в лотерее. Повезет – выиграет, не повезет – так и не сможет сказать своего слова.

– Но везет-то далеко не каждому, – робко возразил я.

– Верно, – кивнул Лигман. – Просто человеку одаренному достается больше билетов. Его шансы на удачу предпочтительней. Вот и все. Но в моем случае и степень таланта не имела никакого значения.

Мой гость замолчал. Торопить его не хотелось. Если честно, в тот момент меня не слишком интересовало давнее открытие Лигмана. Я вообще и всегда относился с изрядной долей скепсиса к таким людям, как Пинхас, и считал всех представителей этого неугомонного племени безумцами.

Всполохи грозы время от времени освещали вдохновенные, но тяжелые черты лица моего гостя, его всклокоченные, седые волосы. В тот вечер Лигман был очень похож на классическое изображение Бетховена. Мне даже показалось, что раскаты грома повторяют первые такты Третьей симфонии великого композитора.

– Итак, случай, – тихим голосом продолжил Пинхас. – В тот вечер я и мой ассистент занимались одним любопытным материалом. Труп эксгумировали через две недели после захоронения, и нам следовало проверить, поражены ли ядом останки Бублика… Не нужно улыбаться. До конца жизни буду помнить кличку того криминального авторитета.

– Извини, – сказал я, все еще без особого почтения внимая рассказу моего приятеля. – Но посуди сам: «Отравленный бублик» – звучит не очень серьезно.

Пинхас Лигман тяжело вздохнул и поднялся.

– Нет, – сказал он. – Ты еще не созрел, чтобы понять и осмыслить мое изобретение. Очень жаль. Видимо, я зря пришел к гуманитарию… Хотя, вполне возможно, дело не в профессии, а в

направлении ума, что ли. В тебе слишком много жажды жизни и страха смерти, а здесь нужна норма.

Я обиделся на справедливую, надо думать, критику, и не стал задерживать Пинхаса. Он вышел, но через минуту вернулся.

– Лифт не работает, – сказал он. – И черт тебя дернул поселиться на двенадцатом этаже. Топать вниз по темной лестнице не самое приятное занятие. Впрочем, подниматься еще противней.

И он снова присел к столу, попросил вместо кофе стакан простой воды, но пить не стал, решительно отодвинул кружку и произнес, глядя мимо меня:

– В те годы все разваливалось в России, расползалось по швам. Наши хозяйственные службы работали из рук вон плохо. Не знаю уж почему, но в мою лабораторию зачем-то притащили инсфектор – новейший прибор для определения биотоков мозга. Ну какие могут быть биотоки у объекта нашего исследования? Я сразу же попросил убрать этот чертов инсфектор. Мне пообещали это сделать, но, как известно, обещанного три года ждут.

Так вот, мы (я и мой ассистент Сеня Волох) закончили с Бубликом, взяли срезы его тканей для анализа и фаланги пальцев, и тут Сеня говорит:

– Петр Наумыч, давайте проверим биотоки у этого парня.

– Сеня, – сказал я. – Какие могут быть биотоки у покойника. Ты, насколько мне известно, окончил медицинский институт, а не цирковое училище.

– Верно, – не стал спорить Волох. – Извините. Сам не знаю… Дурь какая-то померещилась. Пойду домой, если не возражаете.

Он ушел, а я остался один в лаборатории. Дело в том, что биохимический анализ костей и тканей я обычно делал сам. Работа эта тонкая, требует большого опыта и знаний. Волох был талантливым парнем. Со временем я стал доверять ему, как себе, но тогда не решился – слишком этот Сеня был молод… Где-то примерно через час покончил с анализом. Выяснилось, что Бублика не потчевали ядом перед удушением.

На скорую руку оформил бланки с анализом, отправился я в душевую и вдруг там, под струями холодной воды, вспомнил о дикой идее моего ассистента.

В дальнейшем, как мне потом казалось, я действовал, будто повинуясь потустороннему приказу. Вернул из морга труп Бублика, затем приволок к изголовью каталки этот чертов инсфектор.

Подключить его клеммы к черепу покойника было нетрудно, но не хватило шнура. Пришлось и тележку, и сам аппарат подвинуть к стене. Руки мои дрожали, когда я засовывал вилку в

розетку.

Дрожали и тогда, когда разбирался с механизмом включения. Наконец табло зажглось, дрогнул поплавок в демонстрационной камере… И тут, веришь, я, крепкий, здоровый мужик, повидавший в своей жизни не мало, чуть не упал в обморок.

Мозг трупа жил, причем жил активно. Прибор показывал, что погибшее серое вещество Бублика излучает бешеную энергию биотоков. Причем сам характер полученной кривой показывал типичную картину шока, боли, смятения…

Передо мной был труп страдающего человека.

– Человека в аду, – дополнил я, стараясь произнести эту фразу как можно серьезней.

– Мы вправе определить подобное и так, – внимательно посмотрел на меня Лигман. – Хотя в научном отчете, составленном через год, мы употребили слово «экстремальная ситуация».

– И что же было дальше? – спросил я, с большим трудом подавив зевок.

– Дальше мы с Волохом проверили инсфектор на разном материале, – заметно успокоившись, продолжил Лигман. – Чаще всего мы получали положительный результат. В сорока случаях из пятидесяти биотоки демонстрировали сигнал покоя и даже, если можно так выразиться, глубокой нирваны.

– Эти были в раю, – буркнул я.

Но на этот раз Пинхас не обратил внимания на мою реплику с очевидным привкусом иронии.

– Мы получили существенные ассигнования, – продолжил он. – И расширили сферу своих исследований. Мне пришло в голову сделать анализ святых мощей. Впрочем, «святых» не совсем точное слово.

Нам стало известно, что в Таллине недавно обнаружили мумифицированные останки некоего де Круа в подвале одной из церквей. Известна была история их происхождения. Этот Круа считался отпетым жуликом и предателем. Долгов за ним числилось много, и после смерти кредиторы запретили хоронить герцога в надежде, что родственники труп выкупят для упокоения останков, но щедрой родни не оказалось. Круа пролежал в подвале год, потом о нем забыли, со временем вход в подвал завалили разной рухлядью, и только совсем недавно в ходе реконструкции обнаружили в сухом подвале прекрасно сохранившиеся останки герцога.

В те годы Эстония все еще находилась в составе СССР. Мне удалось без особых проблем получить этого де Круа для исследований на инсфекторе. Я ожидал увидеть, как ты заметил,

картину ада, но получил ровный и спокойный график ритмов этого негодяя.

Признаться, я решил, что произошла историческая ошибка и этот Круа давно истлел в земле, а передо мной находились останки какого-либо монаха. На этом и собирался поставить точку. Как вдруг мне предоставили полный перевод хроник, посвященных судьбе герцога, и выяснилось, что этот человек и в самом деле был предателем, кутилой, бабником, но незадолго перед смертью спас тонущего в озере Мяло ребенка. Причем случилось это поздней осенью. Круа сильно простудился и, как указывается в хрониках, от этой простуды и умер, не дожив и до пятидесяти лет.

– Лирика все это, – сказал я. – Мертвые ткани или кости не способны давать живые сигналы, на то они и мертвы.

– Ты знаешь, как хоронили в древности наших предков? – спросил Лигман и, не дождавшись ответа, продолжил: – В сухой пещере оставляли покойника на столе каменного ложа и только спустя время помещали его останки в нишах, углублениях в стене. Как ты думаешь, почему наших пророков не прятали в землю? Не знаешь, конечно. Я тебе скажу почему: в древности люди больше знали о смерти, чем мы сегодня.

– Интересно, что же такое они знали? – спросил я, прислушиваясь к шуму дождя за окном.

– Они знали, что не все нервные клетки мозга человека умирают вместе с ним, – отвернувшись в сторону, видимо, затем, чтобы не видеть мою противную, скептическую физиономию, сказал он. – Мы провели тщательный анатомический анализ на микробиологическом уровне и обнаружили несомненный источник биотоков. Мне трудно тебе, невежде, объяснить его природу, но источник этот был нами найден.

– Тут Нобелевской премией пахнет, – сказал я.

– Стоп! – поднял руку Пинхас Лигман. – Я получал неограниченные ассигнования, потому что работы были строго засекречены, как раз после того, как мы провели локацию мозга мумии Ленина. О результате ты догадываешься.

– Допустим, – сказал я. – Мне понятно, почему в коммунистической России подобные исследования находились под запретом, но потом, почему потом твое доказательство существования ада и рая не стало достоянием научной общественности?

– Дело в том, что академику Первухину поручили уничтожить все результаты нашей работы, – еле слышно произнес мой гость. – Он сказал, что сделает это обязательно, если услышит о моей попытке придать огласке суть моего открытия… И вот теперь он

умер, а я уже купил билет до Москвы, чтобы попытаться вернуть миру то, что принадлежит ему по праву… Завтра я лечу… Вот на всякий случай оставляю тебе краткий отчет о проделанной мною работе. Собственно, я и рассказал тебе о ней, чтобы подчеркнуть важность моей просьбы.

Пинхас Лигман поднялся, вытащил из кармана куртки объемистый блокнот, положил его на стол, повернулся и, не прощаясь, вышел…

Некоторое время я прислушивался к затихающей, тяжелой поступи моего гостя. Когда стихли звуки на лестнице, раскрыл блокнот и в неверном свете от газовой горелки прочел эпиграф к отчету: «Зародышевые клетки ведут свою работу против умирания живой субстанции и достигают результата, который должен казаться нам потенциальным бессмертием, хотя оно, быть может, означает лишь продление смертного пути». Зигмунд Фрейд.

Лигман так и не вернулся в Израиль из России. Недавно мне стало известно, что он погиб там, в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Блокнот ученого, заполненный формулами и расчетами, я передал в биохимическую лабораторию университета в Кацрине, а сам рассказ об открытии Пинхаса Лигмана вы только что прочли.

1999 г.

Солдат и солдатка

Когда мы утрачиваем что-то замечательное в себе, по вполне понятным причинам, нам начинает казаться, что и весь мир идет следом за нами: становится бедней и несчастней. Так мы утешаем себя. Потерю переносить легче в большом коллективе.

С годами приходит убеждение, что мир нашей юности был совсем другим, наполненным любовью, добротой и благородством, а нынешние молодые живут скудно и скучно, корыстно и безнравственно. С таким миром и прощаться не так грустно. А прощаться и освобождать место приходится. Как известно, с плачем мы приходим в жизнь на земле и уходим горюя.

На самом деле не мир людей меняется, а мы. В мире все по-прежнему вот уже многие тысячи лет, за исключением незначительных деталей. Сорок лет назад я портил школьные тетради карандашом, сегодня пишу с помощью компьютера. Когда-то я ездил на работу в громыхающем и вонючем трамвае. Сегодня следую туда в замечательном автобусе с кондиционером. И так далее… Разницы особой не вижу. Вот я во многом другой – это точно. Что-то познавший, что-то утративший, что-то вдруг вспомнивший и что-то забывший навсегда.

Прочел последнюю фразу и услышал в ней назойливую букву Ш. И это нормально. Время и силы уходят от нас с тихим шипением: ш-ш-ш-ш-ш… Как воздух из проколотой камеры велосипеда.

Но хватит вздохов. Совсем не о том хотел написать. О молодости этот рассказ и о любви, как я надеюсь, настоящей.

В тот день, в поезде, вытащил из сумки газету на иврите и попытался разобрать надпись под одной из фотографий. Солдат напротив, видимо, и решил, что с русским языком я не знаком. Рядом со мной сидел хасид и, собрав в трубочку толстые губы, увлеченно читал Тору. Этого человека тоже, само собой, не следовало солдату опасаться. А больше в нашем отделении вагона никого не было.

Солдат начал улыбаться еще до того, как набрал номер телефона. Я такой радостной и белозубой улыбки на смуглом лице давно не видел.

Было очень странно. Человек сидит прямо напротив тебя и вдруг начинает улыбаться, но не тебе, а каким-то своим тайным мыслям.

Впрочем, мысли эти недолго были тайными.

– Марин! – сказал солдат, крепко прижав телефон к уху. – Я

еду уже. Привет! Меня отпустили. Знаешь, я думал, что на этой неделе не отпустят. И вдруг командир говорит: «Бронштейн, ты едешь!» Ты знаешь, я его, гада, ненавижу, а тут вдруг так полюбил. Бывает такое: вот не любишь совсем человека, а вдруг он тебе, как родной… Да, и о тебе тоже… Слушай, вот у тебя так бывает: закроешь глаза, а перед тобой человек, как живой?.. Бывает, здорово! Вот и у меня, даже притронуться к нему можно, к этому человеку. Только я не всех вижу. Я тебя вижу… Когда на крыше стою, мне нельзя глаза закрывать, но я на секунду закрою – и сразу тебя вижу – какая ты… Что, что? Всю тебя вижу… Одетой и раздетой, по-разному…

Тут солдат на меня покосился, но я сделал вид, что разговор этот совсем не понимаю и вообще равнодушен ко всему на свете, кроме вида за окном.

Рельсовый путь шел вдоль автомобильной трассы. Параллельно нашему поезду мчался красный «пежо», и очень хотелось обогнать эту жалкую букашку, которой уготованы развязки, повороты, пробки, светофоры и прочая дорожная пакость.

– Нет, – сказал солдат. – Ее я давно уже не вижу. Да и тогда, если честно, не видел. Там было другое… Что сейчас? Не знаю… Только я тебя и вижу и слышу постоянно. Вот вчера ночью проснулся в палатке. Мне показалось, что ты меня зовешь. Твой голос – точно, во сне. И так ясно – прямо над ухом. Проснулся – и заснуть не могу. Пошел, покурил. Наверно, час курил… Я раньше все думал, что такое бессонница? Теперь знаю… Я тогда, ночью, просто взял и пошел бы… Как куда? К тебе, к кому еще?

Тут, признаюсь, коснулись меня дурные мысли. Развел тут, думаю, сопли по телефону, а платить за все это папаша, небось будет. И вообще, в наше время о таких вещах говорили интимно, тихо, а среди людей помалкивали. Мало мне было дурных мыслей, я еще поступок в злобе совершил скверный, с намеком: достал книгу на русском языке и стал ее читать.

Но солдат на книгу мою внимания не обратил. Слишком он был увлечен разговором.

– Марин, – сказал солдат. – Я домой только на минуту. Бабуля заболела, к ней сбегаю, а потом прямо к тебе. На пляж рванем – ладно. Знаешь, я раньше не очень любил купаться. У нас, в России, река была тихая, тихая – Шерна. Вода в ней все лето была ледяная, но чистая, как в колодце. Я в ней любил купаться, а в море нашем мне сразу не понравилось. Теплая слишком вода, соленая и волны всегда летом. А с тобой купаться люблю… Как почему? Ты в воде очень красивая… Почему только в воде? Ты всегда красивая, но в море особенно.

Тут контролер появился. Мы с соседом сразу билеты предъявили, а солдат, как уже было отмечено, и он в том признался, видел перед собой только одну свою Марину и слышал только ее.

Контролеру пришлось повысить голос. Парень глянул на него безумными глазами, не понимая, что от него нужно этому чужому человеку, но все-таки наконец сообразил, правда, с заметным усилием.

– Не уходи, – сказал он в трубку. – Тут контроль. Я сейчас, – быстро нашел билет, отдал и тут же вновь забыл обо всем. – Марин, – сказал солдат. – Почему я все время говорю, а ты молчишь?.. Нет, я говорю, а ты ничего не говоришь… Ты слушаешь. А кто там с тобой рядом шумит?.. Девчонки? А, тогда понятно… Нет, я тебя не ревную. Знаешь, я просто хочу, чтобы никого в мире, кроме нас, не было. Я бы с тобой уехал жить на необитаемый остров… Мы бы музыку с собой взяли… Ну, может быть, бабулю мою. … Твою сестру? Не знаю. Она совсем маленькая. Ей на необитаемом острове трудно будет… Бабуле еще труднее?.. Ну, может быть. Знаешь, мне с тобой никогда спорить не хочется. Ты иногда такое скажешь, а мне все равно… Почему глупая? Ты самая умная и красивая в мире.

Вот тут я «поплыл». Солдат мне понравился, даже очень. Говорил он без акцента, на приличном русском языке. Грубых, мусорных слов в его речи не было, сленга тоже. Спрятал книгу в сумку, устроился поудобнее и закрыл глаза, будто решил подремать, но на самом деле так слушать было удобней, а слушать солдата стало приятно и даже радостно.

– Марин, – продолжал он. – Знаешь, мне легче, когда в походе каком-нибудь. Иду, еду – и вроде к тебе, а когда на одном месте – тогда трудно, я тогда паниковать начинаю… Вот сейчас еду – и ничего… Как на чем? На поезде, из Акко. Ты тоже на поезде?.. Ничего не понимаю! В каком поезде?

Тут солдат вскочил, дико озираясь, а в другом конце нашего вагона поднялась статная девица с телефоном, прижатым к уху. Солдат и солдатка рванули друг к другу, чудом не искалечив пассажиров своими автоматами. Остановились в полуметре друг от друга. Лица парня я не видел. Девица сияла всем своим веснушчатым ликом. Ну а затем последовал рывок в объятья друг к другу. И поцелуй вышел у них долгим и страстным. А чего стесняться? Они и без долгого путешествия вдруг оказались на необитаемом острове.

Такие бывают чудеса с современной техникой связи. Люди разговаривают друг с другом; думают, что между ними большое расстояние, а на самом деле они совсем рядом. Ну, а во всем

остальном такой разговор мог случиться и десять, и пятьдесят, и тысячу лет назад.

Кто-то, возможно, мне не поверит, что такие горячие чувства имеют место быть в нашем разочарованном и усталом мире. В доказательство привожу фотографию надписи у автобусной остановки, неподалеку от моего дома. Кто-то начертал на бетоне признание девушке с тем же именем – Марина. Не всю надпись можно разобрать на фотографии. Приведу ее полностью: «Марина! Я могу построить город, разрушить горы, но я не могу затушить огонь, который ты зажгла во мне!» Последние четыре слова влюбленный начертал из пульверизатора на плитках мостовой и разобрать их уже трудно. Большую часть надписи, вы сможете прочесть без труда сами, если попадете к дому 196, по улице Иерушалаим, в Холоне.

Мне хочется думать, что украсил эту стену тот солдат из поезда. И сделал он это в самом начале своей любви, когда еще не стало очевидным отношение к нему этой самой Марины. А он просто был обязан признаться в любви к ней, и сделать это как можно быстрей, потому что предстояла служба в армии и невольная разлука: на неделю, на день, на час, на минуту – не важно это.

А еще я сфотографировал на фоне надписи свою собаку. Она заслужила это, потому что принадлежит к породе, выведенной будто специально для любви к людям. Причем такие собаки любят весь род человеческий, независимо от возраста, пола и цвета кожи. Я не знаю, почему так получилось, но хорошо, что вышло именно так. Есть собаки для охоты, для сторожевой службы, есть псы для собачьих боев, а есть и вот такие – только для любви к людям.

И, если честно, я своей собаке завидую. Завидую удивительному таланту сразу и бесповоротно верить всем и каждому. Верить и любить всех с первого взгляда.

Религия тысячелетия пробует вывести такую же человеческую породу, но пока безуспешно. Собственно, это ее главная задача. Всевышний не озабочен проблемой любви среди тех же собак, а вот любовь человеческая ему крайне необходима по многим причинам. Особую, любвеобильную, породу собак вывели сами люди, а вот с собой они справиться никак не могут при всем старании.

Думаю, это не беда, это нормально, что не можем мы с возрастом говорить друг с другом так, как говорили тот солдат и солдатка в вагоне поезда, следующего из Акко в Тель-Авив. Беда в другом, и мешает нам, как мне кажется, другое: будто в отместку за утраченную силу и чистоту чувства приходит к нам

раздражение, нетерпимость к людям, цинизм. Мы начинаем хоронить и отпевать себя раньше смерти, забывая напрочь о том, что когда-то вполне могли «построить город и разрушить горы» на необитаемом острове, наедине со своей любовью.

2002 г.

Случайный ребенок

Пришли к нему переписчики в 1979 году. Большую подробную перепись населения затеяла тогда советская власть. Вот пришли к нему молодые ребята-комсомольцы с планшетами и стали спрашивать: кто и когда?

А он, надо признаться, даже в это ясное утро был под хмельком, веселый, игривый до полного безобразия.

Фамилию, имя выдал, не юродствуя: «Коган Осип Давидович».

Спросили о годе рождения. Он тихо, склонив голову, признался, что родила его мама только год назад, потому что он чувствует себя настоящим младенцем, особенно после хорошего приема горячительных напитков.

Потом опрошенный стал занудно объяснять бедным ребятам, что художнику, как и женщине, всегда столько лет, насколько он себя чувствует.

Переписчики терпеливо выслушали Когана, а потом списали год его рождения с паспорта.

– Национальность? – спросили они.

– Скрипач, – поднявшись и гордо выпятив грудь, ответил Осип Давидович.

– Такой не бывает, – осторожно заметил один из переписчиков: юное создание непонятного пола с румянцем на всю щеку.

– Как раз такая и бывает, – возразил Коган и снова пустился в долгие разъяснения своей установки, но при этом ловко накрыл стол и предложил комсомольцам выпить по рюмочке в честь предстоящего Рождества.

Отсюда читатель может сделать вывод, что от всего своего еврейства герой этого рассказа сохранил одну фамилию. Это, между прочим, тоже не пустяк, если вспомнить, сколько подобная фамилия могла принести неприятностей ее обладателю.

Причем даже у папы Когана был во время войны шанс паспортные данные сменить вполне законным образом. Папу забрасывали к партизанам, в тыл, и в документах полностью истребляли даже намек на еврейство, по вполне понятным причинам.

Давид Коган внешне на еврея был мало похож, а его сынок так тот и вовсе унаследовал из неизвестного источника вполне славянскую внешность. И это несмотря на то что мама Осипа была не просто еврейкой, а дочерью раввина из города Мариуполя.

Осип Давидович с детства проявил особые способности к музыке. Скрипку он неплохо освоил уже в десятилетнем возрасте и еще в музыкальной школе стал получать различные призы, участвуя в областных и общесоюзных смотрах юных талантов.

Когану прочили блестящее будущее после консерватории в Питере, куда он и отправился после школы. Но тут случилось с будущим виртуозом непредвиденное: он загулял, причем так круто, что в пьяном виде вместе с какой-то шпаной угнал машину «Волга» и прокатился в ней до первого фонарного столба.

В итоге юный скрипач получил перелом голени и срок по приговору суда: два года.

Выводов из случившегося Коган не сделал. Тюрьма его не испугала и не исправила. Правда, законы Коган старался впредь не нарушать, но придумывал тысячи приемов ухода от прозы жизни, то и дело придаваясь веселым изобретательным загулам.

Он не разбил сердце бедной маме и серьезному папе. Родители просто махнули рукой на сына-гуляку. Была у Когана тихая сестренка Роза. Вот этим ангелочком они и утешились.

Девицы любили Когана безмерно. С Осипом не было скучно. Он любил праздники в этой жизни больше самой жизни, да еще и умел зарабатывать деньги, был щедр и никогда не считал копейки.

И Коган любил женский пол, но жениться его никто так и не пригласил. Все дамы будто понимали сразу, что для развлечения и секса этот парень подходит, а вот для прозы будней и деторождения нужно искать другого партнера.

Так пробыл Коган холостяком до тридцати пяти лет, но тут одна женщина по имени Марта, забеременев от Когана, решила прибрать его к рукам.

Да и Осипу Давидовичу вдруг пришло в голову обмануть самого себя. Он решил, что созрел для тихой, семейной жизни, и покорился воле беременной от него, но нелюбимой женщины.

Так Коган стал отцом семейства, но пробыл в этом качестве всего лишь полтора года. Надо сказать, что жить молодожены стали в семье Марты. Семейка эта оказалась настолько пошлой и глупой, что вскоре скрипач затосковал смертельно и стал вести себя так, как и до женитьбы себя вел.

Даже рождение дочери Фаины не смогло заставить уже немолодого гуляку обуздать свой бурный характер. Да и сама Марта быстро поняла, что ей был нужен ребенок, а не муж – похабник, гулена и пьяница.

В один прекрасный день, точнее, в ночь чемодан Когана просто выставили за дверь. Намек он понял, явившись утром с очередного праздника жизни, и не стал тревожить сладкий сон

обителей квартиры.

Супруги быстро развелись, и веселый скрипач с радостью вернулся к своей прошлой, загульной жизни лысеющего повесы.

Папа Марты был большим начальником и очень состоятельным человеком. Папа не скупился на содержание дочери и внучки, но категорически потребовал, освободив беспутного отца от уплаты алиментов, чтобы «грязная тень Когана не касалась стен его дома».

Осип Давидович принял условия игры. Он даже переехал в соседний город К. и стал, не без успеха, трудиться в привокзальном ресторане этого населенного пункта.

Ресторан славился на всю округу своей кухней. И теперь многочисленные посетители смогли оценить не только харчо и шашлыки этого заведения, но и виртуозную скрипичную игру лауреата премии Шарлоты Домье Осипа Когана. (Эту Шарлоту он, конечно, выдумал.)

Шло время. Герой нашего рассказа пил, гулял, толстел и играл на скрипке. О своей случайной жене и случайном ребенке он вспоминал крайне редко.

Тут настали в России другие времена. Открыли границы, и народ, по мере возможности, стал искать счастье за кордоном.

Коган, как уже отмечалось, считал себя скрипачом, а не евреем. Израиль волновал его меньше, чем качество канифоли и настрой его инструмента. (Здесь я должен отдать Осипу Давидовичу должное: скрипку свою он любил, берег пуще ока и музыке был предан всей душой.)

Итак, Осипу Давидовичу, недавно отпраздновавшему свое пятидесятилетия совсем не хотелось менять прописку, но его давно забытая жена Марта решила отправить свою дочь в Израиль на учебу.

При оформлении документов потребовалась подпись отца. Марта разыскала Когана и без лишних слов положила перед ним этот документ для подписи.

Встретились они в ресторане, где вот уже пятнадцать лет работал Осип Давидович.

Коган внимательно прочел документ, потом спросил:

– Кто такая Борисенко Фаина Осиповна?

– Твоя дочь, – сухо ответила Марта.

– Я такой не знаю, – отодвинул бумагу бывший муж. – Я знаю Коган Фаину Осиповну.

– Не юродствуй, – сказала Марта. – Подпиши здесь. Мне некогда. У меня поезд через час.

– Я не знаю никакой Фаины Борисенко, – упрямо повторил Коган.

– Послушай, – Марта с трудом взяла себя в руки. – Ты же в курсе, я снова вышла замуж, его фамилия Борисенко. Вот мы и решили, что не нужно Фенечке мучиться с твоей характерной фамилией. Сам помнишь, как тогда было…

– Не знаю я никакой Борисенко, – повторил Коган и залпом выпил еще одну стопку коньяку.

– Престань пить, – брезгливо поморщилась Марта. – Как ты вообще живешь?

– Плохо, – признался Осип Давидович.

– Болеешь?

– Болею.

– Тебе нужны деньги?

– Нет, деньги мне не нужны, – сказал Коган.

– А что тебе нужно?

– Мне нужна дочь по фамилии Коган, – сказал Осип Давидович, наливая себе в рюмку очередную порцию коньяка.

– Ты – чудовище! – поднялась Марта. – Все эти годы тебе было плевать на дочь! Ты ни разу, ни разу не видел ее! И вдруг! Ты мстишь мне. И сам не знаешь за что.

– Почему, знаю, – сказал Коган. – За тот чемодан у двери. Больно уж получилось некрасиво… А тот – Борисенко, – ты с ним тоже развелась?

– Года через три, – вздохнула Марта. – Слушай, Фенечка все равно замуж выйдет и возьмет фамилию мужа. Не понимаю твоего упрямства.

– Покажи мне ее фотографию, – попросил Осип Давидович.

– Я не захватила… Ах нет, вот тут – паспортная…

– Красивая, – сказал Коган, впервые увидев на маленьком квадратике фотобумаги взрослую дочь.

– Даже очень, – сказала Марта. – И не порть ей жизнь. Подпиши – и дело с концом.

– Твой поезд, – напомнил Коган и вернул фотографию дочери. – Ты опоздаешь.

Так началось сражение за его подпись. На деталях останавливаться не буду. Скажу только, что даже бандитов подослал к своему бывшему зятю отец Марты.

Крутые ребята в кожанках поймали Когана поздно вечером, за объездными путями, долго били, а потом сказали, что убьют, если он не подпишет требуемую бумагу. Тогда и проблем не будет. От покойника, само собой, подпись никто не потребует.

Коган кивнул, попросил документ, взял его окровавленными пальцами и аккуратно порвал ровно на четыре части.

Бандиты удивились такому упорству ресторанного лабуха, но бить его больше не стали.

В конечном итоге пришлось фамилию в нужном документе выправить на прежнюю – Коган. Сделать это было непросто, но деньги родителя Марты, как обычно, помогли решить и эту проблему без промедления.

Родитель этот, человек простой и бесхитростный, сказал так: «А твой пьяница, похоже, прав: здесь жить нужно с одной фамилией, а там – с другой».

Примерно через год после отъезда дочери и сам Осип Давидович надумал отправиться в Израиль на постоянное место жительства.

В консульском отделе посольства его попробовали отговорить. Сказали, что в таком возрасте и с такой профессией ему будет трудно начать новую жизнь с нуля.

– Почему с нуля. Я к любимой дочери еду, – сказал Коган. – Она у меня уже год, как в Израиле, а больше никаких родных на свете не имеется.

Чиновник из консульства молча подписал его документы.

Теперь Осип Давидович живет в центре Израиля. Работает по профессии, играет на скрипке в одном из «русских» ресторанов. Пить стал меньше, особых развлечений не ищет.

Примерно раз в три недели садится Коган в автобус и отправляется к Мертвому морю. Там он выходит на одной из остановок и поднимается наверх, к кибуцу, где учится его дочь.

Идти в гору тучному человеку трудно. Осипа Давидовича мучает одышка. Он часто останавливается и отдыхает, любуясь тихим, величественным пейзажем красной пустыни…

Потом он занимает одно и то же место, на скамейке, у школы дочери. Свои походы он совершает по расписанию и точно знает, когда в школе заканчиваются уроки.

Он ждет появления дочери в стайке шумных девиц и парней. Он следит за ней, стараясь делать это незаметно. «Свидание» длится не больше двух минут. Собственно, ради этих двух минут он и совершает долгое путешествие. Иногда школьники останавливается недалеко от Осипа Давидовича, о чем-то горячо спорят. Коган так нервничает, что не разбирает обычных русских слов. Он только радуется счастливой возможности еще какое-то время побыть рядом с дочерью.

Каждый раз, по дороге к кибуцу, Коган думает, что он наконец решится подойти к ней. Однажды даже скрипку с собой взял, решив, что обставит первое знакомство красиво: поднимется, шагнет навстречу дочери и исполнит что-нибудь замечательно-виртуозное.

Красавица застынет в изумлении, а он опустит смычок и

скажет:

– Фаина, здравствуй, я твой отец!

Но он так и не решился совершить и сказать задуманное. Коган боялся того, что последует за первой его фразой. Он почему-то решил, что сказанное дочерью в ответ может стать точкой в его судьбе. И тогда не станет даже этих двух минут родства и надежды.

1998 г.

Ржавый гвоздь

Иногда выстраиваются истории, в которых каждая строчка необходима, любая буква в строку. В этом рассказе нет ни одного обязательного слова. Он совершенно лишний, как и его герой. Мало того, любую фразу этого текста можно продолжить многоточием. В нем нет определенности и ясности точки.

Но кто знает, может быть, рассказ о безработном и должен быть таким?

Он никогда не писал стихов, а тут они появились: нелепые, дурацкие, всего две строчки, и не стихи вовсе, а так – стон, крик, жалоба: «Я никому не нужен, как прошлогодний ужин».

Он понимал, почему вышел этот нелепый, дурацкий «ужин» вместо законного, привычного снега. Он уже забыл о снеге, да и необходимость рифмы сама по себе потянула за собой неизбежное слово.

Он подумал, что прошлогодний ужин – это обычное дерьмо, ставшее прахом. Я – дерьмо, решил он. Даже хуже дерьма, безнадежней. Из праха был создан, в прах ушел при жизни. Меня закопали живого в землю, лишив работы.

Как спастись? Спрятаться в тихий омут памяти. Он помнил, например, куда сворачивал трамвай № 19. На улицу Восстания он сворачивал, гремя всеми железными суставами. Это знание когда-то давало ему крепость, уверенность в своих силах.

Троллейбус шел дальше, к Таврическому саду, а трамвай всегда поворачивал на улицу Восстания. С троллейбусом в его сознании почему-то не было связано ощущение силы и надежности. Только с трамваем.

Девятнадцатый трамвай обязательно сворачивал на улицу Восстания. Таков был порядок вещей, и порядок этот давал ему шанс выжить. По тому пространству, давно оставленному, он мог двигаться с закрытыми глазами, знал каждую выемку на мостовой, а потому тогда он не боялся остаться без работы. Он вообще ничего не боялся, потому что знал маршрут трамвая № 19.

Когда человек знает, что его ждет за поворотом, он и живет без страха.

А теперь что? «Я никому не нужен, как прошлогодний ужин». Никому, потому что фирма, где он работал, обанкротилась, перестала существовать. У хозяина фирмы еще живы отец и мать, жив его тайный счет в заграничном банке, он и банкротом нужен кому-то. Он – хозяин.

Ты – раб. Отпущенный раб. Можешь радоваться, вопить от восторга. Свобода! Что изменилось в мире за прошедшие тысячи лет? Да ничего. На земле, как и прежде, живут рабы и хозяева. Раб – это тот, кто работает за кров, одежду и кусок хлеба. Он всю свою жизнь работал за кров, одежду и кусок хлеба.

Цепи и бич надсмотрщика – это так, детали. Он был прикован к работе нуждой. Тем, что сильнее любых цепей. Он жизнь свою боялся потерять меньше, чем работу. Теперь он не раб. Он – ничто… Он никому не нужен, как прошлогодний ужин.

Деньги, а не биохимическая реакция создают человека. Есть они – ты существуешь. Нет – превращаешься в пыль, прах, грязь.

Когда-то хватало рубля, чтобы стать богатым человеком. На рубль можно было позволить себя настоящее пиршество в пещере Али-Бабы. С этим смятым рублем он был нужен той рыжей девочке. А когда ты нужен тому, кто нужен тебе, мир вокруг спокоен и гармоничен.

Всего лишь рубль в кармане, где никогда не бывало кошелька, – и ты самый нужный человек на свете. Как просто.

В кармане штанов, тех единственных: грубых, школьных, с тяжелым ремнем из кирзы. Был праздник, когда ему купили первый костюм из самого дешевого материала на свете. Ему же костюм этот казался королевской мантией, потому что в костюме из дерюги он был нужен той девочке.

Случился бал, школьный бал, а он был в костюме, и девочка была счастлива, что он в костюме, таком красивом, и сама пригласила его на танец вальс. Самая красивая девочка в школе пригласила его на танец. А он был в новом костюме и нужен всему миру в тот момент: и липам на бульваре, и облакам в небе, и скупому северному солнцу.

В мире нищеты – нет классов. Точнее, есть над этим миром властная элита, но она живет в заоблачной дали, почти на Олимпе. Равенство в нищете – это было уделом его детства.

Здесь рядом с ним были странные люди, будто из другого измерения, владеющие так называемым постоянством. Никто не мог лишить их работы, дарованной государством. Ни при каких условиях.

Вместе с этими «постоянными» людьми, классом «бессмертных», на одном «квадрате» жили граждане второго сорта, наемные работники частного сектора. Их с легкостью могли перечеркнуть в любой момент, как лишнюю букву в строке. Чуть поодаль жил народ и вовсе бесправный: рабочая сила без гражданства: «временные» люди. Но как раз эти «временные» люди не знали, что такое безработица. Всем смыслом, сущностью их жизни была «черная» работа, просто потому, что первый сорт

граждан делать ее не хотел, а второй стоил слишком дорого.

В стране, где и постоянные граждане не нужны, трудились сотни тысяч временных. И он возненавидел этих ни в чем не повинных бедных людей, теряющих силы и здоровье под открытым небом в ходе тяжкого, многочасового труда.

Прежде, когда он был нужен, мир вокруг казался ему нормальным и понятным. Только недавно он понял тайное и коварное безумие «нормального» мира.

Теперь он не нужен, совсем. Будто умер при жизни, перестал существовать. Как странно. Он столько узнал, столько пережил, столько понял, столько сумел сделать, а теперь он не нужен никому. Возраст? Да, полвека – это много, это вечность, это возраст солидный, но полвека – это всего лишь пятьдесят лет. Короткие пятьдесят лет, только начало жизни. Хорошо, пусть не начало, а всего лишь середина.

А тут: «Я никому не нужен, как прошлогодний ужин».

Мама всегда искала его глазами, губами, теплыми руками. Он всегда был нужен маме, в любой момент: больной, здоровый, с деньгами или совсем без денег. К маме он мог прислониться в любой момент и найти опору. Он был спокоен и на Крайнем Севере, далеко от нее, и на жарком юге, куда письма от мамы доходили только через месяц.

Он ничего не боялся в этой жизни, пока была жива мама. Он знал, что голодный всегда возьмет из ее рук кусок хлеба, хворый – найдет утешение и лекарство, в душевной смуте – поддержку, возможность покоя.

Он жил долгие годы, не вспоминая о матери, но она всегда была рядом с ним, соединенная волшебной пуповиной, которую не может разрезать нож акушера при родах.

Он думал о странном парадоксе: вместе с мамой в мир мертвых уходит не наше прошлое, а наше будущее.

Жена, дети… Он смотрит в глаза жены и детей. Это совсем другие глаза. Он им нужен, конечно же нужен! Но до каких-то пределов, до тех пор, пока он именно то, к чему его родные люди привыкли. Да он и сам приучил их к человеку, который мало чем похож на него самого.

Нынче, вот уже четыре месяца, он, потеряв работу, вынужден снять маску. Он остался наедине с самим собой. И это понять трудно даже близким людям. Может быть, особенно им.

Он выходит из дома не на работу, а для того, чтобы эту работу найти. Он делает это все реже. Первые месяцы бедняга много двигался и много ел. Потом он решил, что неподвижности не нужна пища.

Он стал перемещать себя в пространстве неохотно, редко, но

аппетит только увеличился. Но он знал: человек, который никому не нужен, не имеет права на хороший аппетит, как бездействующий мотор на смазку.

Он начал думать о себе, как о механизме, выброшенном на свалку. Так устроен мир: нужно освобождать место для новых, только что сошедших с конвейера, отлично отлаженных машин. Шестерни не имеют права тупиться, а стальной скелет терять упругость… Он что-то такое учил в юности об усталости металла и сопротивлении материалов…

Его материал перестал выдерживать сопротивление, металл его мышц и мозга устал. Он всего лишь машина, выброшенная на свалку.

Может быть, вон на ту свалку, вдали, за окном его квартиры. Он уйдет туда и перестанет дышать в проржавленном салоне какого-нибудь автомобиля. Он выберет для себя машину: большую и просторную, похожую на катафалк, и умрет в тишине, под открытым небом, рядом с кустом живой зелени, пробившимся через дыру, проеденную ржавчиной в полу автомобиля.

Он сказал сам себе, что никому не нужных людей следует хоронить именно так: не на кладбище, а на свалке старых автомобилей.

«Я никому не нужен, как прошлогодний ужин».

Так устроен мир, думал он. Мир богатства. Это миру бедности нужна каждая крошка хлеба, каждый глоток простой воды, каждая заплата на ветхой одежде. В мире бедности и каждый человек нужен. Пустой, никчемный, бездарный, невежественный – нужен! Мир нищеты и чудовищно жесток, и добр к людям одновременно.

Мир богатства – равнодушен. Он перестает быть твоим миром, как только выносит тебя на обочину, оставляет за скобками, как только твой товар на рынке теряет цену.

Ты больше не в силах сопротивляться центробежным силам. Ты летишь от центра со скоростью света. Летишь в никуда. К черной дыре, входу в иной, страшный, потусторонний мир. Вход этот наверняка безобразен, штукатурка на углах отбита, и даже голые кирпичи пострадали от множества неосторожных ударов.

Углы арки, въезда во двор-колодец, берегли от небрежности тележных колес тумбы из камня. Не стало телег, да и въезд во двор его детства закрыли железными, плохо крашенными воротами. Тумбы остались. Никому не нужные тумбы. Они были прекрасны – эти будто природные наросты, торчащие из асфальта. Старики, устав, садились на камень тумбы и сразу превращали пустые знаки прошлого в необходимый для человека предмет.

Он любил эти камни у въезда во двор. Он и сейчас, закрыв глаза, прикасается к их шершавой поверхности ладонью. Он делает это и чувствует себя нужным. Необходимым существом в том далеком мире ненужных, случайных, отверженных вещей.

Здесь лишние вещи делают человека необходимым в цепочке, в круговой поруке, но в то же время никому не нужным. Последнее, что он купил в магазине, – кусок брынзы в коробочке.

Он съел брынзу, а красивую, крепкую упаковку выбросил. Зачем она, та коробка? Лишняя деталь, существенно добавляющая цену к необходимому для сытости товару. Лишняя коробка, существующая лишь для того, чтобы какое-то время лишние люди не чувствовали себя лишними, конструируя эту коробку и выдавливая ее из пластика.

Мир богатых – это мир лишних людей и ненужных вещей. Он заблудился, он просто попал не в свой мир, а потому и стал никому не нужен в тупике под названием жизнь.

Он бы мог выбраться из этого тупика, дождавшись трамвая № 19. Один глаз девятнадцатого трамвая был голубым, а второй – белым. С Литейной он сворачивал, вползал железной змеей на Кирочную улицу, принимал каждого в свое теплое брюхо и полз, громыхая на стыках рельс, дальше прямо, до поворота на улицу Восстания.

Трамвай был нужен жителям города, а трамваю были нужны пассажиры. Трамвай, существо из стали, чугуна, дерева, стекла и кожи, спасал каждого и спасал тем самым себя самого.

Тогда безработный жил в мире, где каждый гвоздь шел в дело, каждый гвоздь был нужен, согнутые гвозди выпрямляли и снова вбивали в доску, а не выбрасывали в мусорное ведро.

Он был нужен в том мире бесценных вещей. Он мог не бояться, что неловкий удар согнет его, а время коснется ржавчиной. Он знал, что его не выбросят на свалку, исправят и пустят вновь в дело.

Как он спасался потом от безумия мира лишних вещей? Копался в земле. Сажал что-то и снимал урожай, был настоящим творцом своего нехитрого урожая. От первого до последнего момента он один, своими руками, творил чудо живого. Он сажал в землю одну картофелину, а получал пять – восемь клубней. Он один мог накормить пятерых. И эти пятеро смотрели на него, как на Бога.

Он был нужен своему наделу земли, а земля была нужна ему.

Утром, ранним утром, он срывал ягоды клубники, выросшие за ночь. Он мыл эти ягоды, укладывал на треснувшее блюдце с розовой каймой. Дети спали. Он ставил на тумбочку перед ними это блюдце с ягодами. Он знал, что скоро дети проснутся,

проснутся с радостью, потому что увидят и сразу съедят сочные, сладкие ягоды.

Тогда он был нужен своим детям. И дети были нужны ему.

И вообще, думал он, только человек на земле всегда нужен кому-то. Босой человек на голой земле. Мы сами себя загнали в ловушку цивилизации, искусственно удлинили свои годы, а теперь не знаем, зачем нам они: лишним, никому не нужным людям.

Как давно это было, думал он. Да и было ли? Может быть, тебе это все кажется: и спасительная сила трамвая – миф, и ржавый гвоздь, годный для дела?

В детстве мы все безработные. Именно тогда больше всего нужны себе и людям. Но детство вернуть невозможно, как невозможно вернуться в потерянный мир нормальной, естественной, желанной безработицы.

Сегодня ты должен найти работу, чтобы снова стать нужным кому-то и самому себе. Не смотри в зеркало. Это не твои глаза, застывшие, белые от страха. Это не твои морщины и синяки под глазами. Не смотри в зеркало. Лучше разбей его на тысячу осколков. И перестань повторять без устали: «Ты никому не нужен, как прошлогодний ужин». Забудь эти проклятые рифмованные строчки!

Вот темные очки. Убери живот, выпрями спину – и вперед! Даже в этом проклятом мире необходим каждый ржавый гвоздь. Только найди свой молоток и свою доску. Не бойся перемен, уйди от рутины привычного. Ты силен и молод. Тебе под силу раскрутить земной шар против часовой стрелки.

Ты всего лишь неинтересен этому миру в том качестве, в котором был необходим прежде. Предлагай себя, как раба на торжище, годного для любой работы. Для любой, по усмотрению Хозяина.

Он осмотрит твои зубы, пощупает мышцы и не станет заглядывать в душу. Он найдет для тебя работу, снова сделает нужным кому-то… Лишит тебя опостылевшей свободы, вновь превратит в раба.

Что из того, что ты перестанешь быть нужен самому себе. Успокойся, присядь на каменную тумбу, хранящую углы арки въезда во двор от тележных колес, жди трамвая № 19, он прикатит двуглазым веселым чудовищем и увезет в детство, к Некрасовскому рынку, где встретит тебя мама с тяжелыми котомкам в руках и скажет: «Как же долго тебя не было, сынок. Как ты мне нужен. Ты даже представить себе не можешь, как ты нужен мне».

2003 г.

Предатель

Он любил и берег себя. Иосиф знал: только размеренная и спокойная жизнь плодотворна. Жизнь, наполненная физическими упражнениями, прогулками по окрестностям города с последующим и обязательным посещением бань.

Он знал, что писательство – плод праздности. Он знал, когда отдыхает тело, трудится душа. Но вялые мышцы неизбежно начинают мстить мозгу. Человек попадает в ловушку своей собственной неподвижности и умирает самой нелепой, глупой смертью.

Иосиф не хотел умирать. Он всегда ненавидел смерть. И в молодости, и вот теперь, когда он стал стариком.

Труд был закончен. Работа всей его жизни. Он сказал себе, что должен любить и уважать первого читателя. Мало того, и этот, первый, обязан любить и уважать его самого.

Иосиф дал рукопись сыну Эльазару. Он ничего не сказал в момент вручения. Он только произнес, будто нехотя, небрежно:

– Прочти вот это.

– Отец, – улыбнулся сын. – Ты самый замечательный сочинитель в мире. Ты самый честный и мудрый историк. Мне нет необходимости читать все эти свитки, чтобы сказать тебе это.

– Историк не может быть сочинителем, – нахмурился Иосиф. – Его хлеб – документ, правда документа и событий, ответственность перед своей собственной памятью и потомками.

– Извини, – сказал сын. – Я верю, что эта рукопись составлена именно так.

– Ты все-таки прочти, – повторил Иосиф, в тайне надеясь, что сын – умница, но шалопай и гуляка, откажется от утомительного труда чтения.

Эльазар держал свитки на руках, как ребенка, но чужого ребенка.

«Он плохо выглядит, – подумал Иосиф. – В его возрасте нельзя так плохо выглядеть… А я не должен позволять себе неопределенность чувств. Все эти метания изнуряют душу и ослабляют тело».

– Ладно, – сказал он сыну и сделал попытку забрать у него свитки. – Оставь это… Беги по своим делам. В твоем возрасте шум женских одежд важнее тишины рукописных страниц.

– Ты обиделся, – отступил на шаг Эльазар. – Вот глупости. Я обязательно прочту все, что ты написал. Ты великий человек, и я преклоняю голову перед твоим талантом.

Он и в самом деле склонился перед отцом, прижимая свитки

к груди, а Иосиф запустил длинные, нервные пальцы в его жесткую, курчавую шевелюру. Он подумал в тот момент, что такие волосы могут быть только у сильных и здоровых парней, наделенных крепким характером. Он нагнулся и поцеловал сына в голову.

Прошло тридцать дней. Срок, вполне достаточный, чтобы прочесть рукопись. Но Эльазар не торопился отдать ее отцу. Мало того, он будто старался не попадаться ему на глаза. Иосиф устал ждать.

Он сам пришел к сыну. Тот спал в неурочный час, истомленный приключениями ночи. Иосиф присел на подушки рядом с изголовьем спящего юноши.

Он сидел так долго, вглядываясь в лицо сына, будто стремился разгадать его судьбу. Наконец, он решил разбудить юношу:

– Эльазар.

Сын не просыпался.

– Эльазар! – повысил голос Иосиф.

Сын резко поднялся, будто и не спал вовсе. Он стоял, прижавшись спиной к стене, и смотрел не на отца, а на масляный светильник в его руке.

– Что с тобой? – спросил Иосиф. – Ты всегда смотрел мне в глаза. Что случилось? – Он нагнулся и задул светильник, потому что там, над плоской крышей дома, тяжелое облако освободило солнце, и яркий свет из прямоугольного отверстия под потолком залил комнату сына. Свитки рукописи старика были разбросаны по каменному полу.

Юноша невольно зажмурился. Солнечный луч ослепил его.

– Прости старика, – начал было Иосиф.

– Ты не старик, – прервал его Эльазар. – Не говори так.

– Хорошо, – улыбнулся Иосиф. – Все же прости меня, но должен тебе сказать, что излишне спорить с природой. Это вредно для здоровья. Ночью мир наш, деревья, цветы, животные и насекомые, – все это спит, а днем, разбуженное светом к действию, бодрствует.

– Вчера, – растерянно забормотал сын. – Поздно… У Клавдия… Пришлось задержаться…

– Пусть подобное будет исключением, – сказал Иосиф, приблизившись к сыну и с нежностью прикоснувшись к его обнаженному плечу.

Эльазар молчал, оставаясь все в той же позе. Иосиф прошелся по комнате, легко нагнулся и поднял один из свитков.

– Ты прочел это?

– Да, прочел, – прокашлявшись, ответил сын.

– Утром – вода твой первый друг, – сказал Иосиф. – Омой лицо, а потом мы поговорим.

Сын покорно вышел из комнаты. Иосиф развернул один из свитков.

«Весь город превратился в поле брани заговорщиков и их приспешников, – прочел он, – и оказавшийся между ними народ был растерзываемым ими на части, словно огромный труп…»

Вошел сын. Лицо Эльазара порозовело, в глазах появился блеск. Все это с удовольствием отметил Иосиф.

– Ты производишь омовение холодной водой, – сказал он. – Это похвально. Итак, что ты можешь сказать о моей книге.

– Я уже все сказал, – тупо и равнодушно произнес Эльазар. – Ты лучший из сочинителей.

– Собери свитки, – попросил Иосиф.

Казалось, сын был рад предложенному. Он слишком долго подбирал свитки, а затем аккуратно сложил их у ног отца.

– Вот, – сказал он. – Ты не волнуйся. Все здесь. Все в полном порядке.

Иосиф собрал свой труд и молча направился к проему двери. На пороге его остановил тихий, еле слышный голос сына.

– Ты предал их, – сказал Эльазар.

Иосиф остановился так, будто перед ним внезапно выросла стена.

– Ты предал их, – повторил уже громче сын.

Иосиф резко обернулся, роняя свитки.

– Я спас их всех от забвения! – крикнул он в лицо сыну. – Я подарил им бессмертие.

– Ты предал их, – вновь повторил Эльазар.

– Чем предал? – теперь уже негромко спросил Иосиф. – Тем, что понял бессмысленность сопротивления. Я сохранил жизнь себе и многим из них, потому что в сопротивлении не было смысла. Я знал это задолго до войны. Я был в Риме. Они не были там. Враг уничтожает строптивых и слабых. Враг милует мудрых и покорных.

– Враг милует рабов, – сказал сын из тени.

– Я не раб! – снова повысил голос Иосиф. – Творец не может быть рабом. Мой дух свободен. Я прославил наш народ. Я обессмертил героев.

– Ты уже говорил об этом, – сказал Эльазар.

– И повторю в тысячный раз! – крикнул Иосиф. – В стотысячный раз! Я обессмертил их подвиг!!!

– Они погибли, а ты остался жить, – сказал сын. – Ты вкусно ел и крепко спал, а они в это время гнили в земле. Ты предал их

еще тогда, когда был командиром. Ты сам пишешь, что там, в пещере, твой жребий на смерть выпал последним. Ты сам подстроил это. Твои друзья, твои солдаты погибли, а ты сдался врагу.

– Что ты знаешь о моих «друзьях»? – шагнул к Эльазару Иосиф. – Что ты можешь знать о них. Они грызли друг друга, они предавали друг друга. Отец убивал сына, а сын отца. Они клеветали, они обливали друг друга грязью. Они открывали врагу ворота крепостей!

– Ты был среди них, – сказал Эльазар еле слышно.

– Нет! – дико закричал Иосиф. – Я был с другими. Я вел их к победе. Я дрался за свободу и веру нашу… – Он вдруг сел прямо на пол, выронив из рук все свитки. – Я просто устал быть слепым. Я не мог не видеть очевидного. Только безумец способен биться лбом о каменную стену.

– Наш народ безумен? – тихо спросил сын.

– Да… Это правда, – сказал Иосиф. – Безумен… Все покорились. Все народы вокруг нас. Никто не мог и не хотел нам помочь. Только мы сражались до последнего человека, до последней капли крови… Только мы шли во имя свободы на самоубийство. «Смерть или Родина!» – кричали мы. «С нами Бог!» – кричали мы. А Бог давно перестал нас видеть и слышать. Он устал от своего народа. Он устал от его упрямства и пролитой крови.

– Боги, когда их много, устают, спят, едят, пьют и ссорятся? – негромко возразил Эльазар. – Бог не может устать.

– Ты так думаешь, потому что молод и полон энергии, – вздохнул Иосиф, он лихорадочно перебрал свитки, развернул один из них. – Ты читал это. Ты должен был прочесть: «В сравнении со злополучием евреев меркнут несчастья всех когда либо живших народов, и виновником этого явился не кто другой, как они сами». Ты читал это?

– Да, читал, – ответил сын. – Палач потеряет силу, если не поверит в виновность жертвы.

– Я не палач! – крикнул Иосиф.

– Да, – поспешно кивнул Эльазар. – Ты – жертва.

– И Тит Великий не был палачом, – сказал Иосиф. – Он стоял у стен Иерусалима и ждал, когда город сдастся на милость победителя. Он был готов проявить эту милость и пощадить наш народ. Он жалел его, как жалел евреев я. И я был голосом Тита. Я призывал их сдаться, пощадить свою столицу и Храм. Тит не понимал и не мог понять, почему евреи подпали под власть мятежников. Он был вынужден уничтожить наш Храм. Ты пойми – его вынудили сделать это. Не стало Храма – не стало города – не

стало народа. Все это сотворили несчастные секарии. Великий Цезарь сказал как-то, что единственным военачальником евреев является безрассудство… Дай мне руку, – Иосиф первый раз в жизни не смог подняться без посторонней помощи.

Эльазар помог отцу.

– У римлян много богов, – усмехнулся Иосиф. – На место ослабевшего идола всегда может стать другой. Их вера хитра и изворотлива. Наш уставший Бог способен отвернуться от своего народа, а другого не найдешь, можно и не стараться.

– Ты помнишь, как выглядел Храм? – спросил Эльазар.

– Он стоит перед моими глазами во всем великолепии, – с улыбкой ответил Иосиф. – Его воздвигли на высоком холме. Сначала там уместилось только святилище и алтарь. Век за веком народ расширял насыпь холма. Площадь все увеличивалась, и Храм отстраивался. Царь Соломон укрепил стеной восточную часть холма и построил первую колоннаду. Века строительство Храма не прекращалось ни на минуту. Я видел Храм в завершенном величии и знал о несметных сокровищах, заполнивших его пределы. Мало того, я видел эти сокровища в руках у римлян. Это было ужасно. Они увезли с собой все, что накапливал наш народ веками… Они постарались увезти с собой нашего Бога и утопить его в волнах моря. Они уничтожили город, потому что в этом городе жил наш Бог.

– Ты сам говорил: Он невидим и всесилен, – сказал сын. – Зачем Ему какой-то город. Одним городом больше, одним меньше – какая разница?

– Нет, – покачал головой отец. – Верно, Всевышний везде и во всем. Но мы, евреи, приходили к Нему по-настоящему только в Иерусалиме.

– Что вспоминать? – усмехнулся Эльазар. – Теперь там одни развалины. По Храмовой горе бегают лисицы, а по улицам города Бога бродят медведи и леопарды.

– Перестань! – закричал Иосиф. – Молчи! Никогда не говори так! Наш город жив. Он просто не может умереть. Подойди сюда. Я открою тебе одну тайну.

Сын приблизился к Иосифу. Отец зашептал ему на ухо, хотя не было в этом нужды – никто не мог их подслушать:

– Наш Храм был построен на могучем камне, уходящем к центру земли. – Свистящий шепот Иосифа заполнил комнату. – Пока существует этот камень, есть надежда, что Храм снова отстроят и город наш поднимется. А камень будет существовать вечно. Вот почему зря старались вавилоняне, зря уничтожил наш город великий Тит. Только не говори это никому. Слышишь?

– Хорошо, – снисходительно улыбнулся сын, подумав, что в

мире слишком много камней и мало храмов. Храмы исчезают, а камни остаются – вот и весь секрет.

Иосиф будто не расслышал сына. Он ходил по комнате из угла в угол и бормотал что-то невнятное себе под нос.

Эльазару стало жаль отца. Так жалко, что он сказал:

– Прости. Ты сам учил меня говорить то, что думаешь. Я, наверно, поторопился думать. Ты не предал их, ты их обессмертил.

Иосиф не ответил. Он остановился и вновь собрал свитки. Эльазар помог отцу. Они вновь слишком долго занимались этим простым делом: собиранием свитков. Солнце тем временем скрылось за очередным облаком. В комнате стало темно.

– Я предал их, – вдруг сказал Иосиф. – Ты был прав. Я предал их. Я не смог стать героем. Я стал предателем. И вся моя жизнь, вся работа стали оправданием предательства, если оно возможно, оправдание это. Как ты думаешь, оно возможно?

– Не знаю, – сказал сын. – Откуда мне знать. Я никого не предавал. Я не видел, как горел Храм в Иерусалиме. Не видел, как рушились его стены и были разграблены сокровища… Я не видел тех самоубийц из крепости.

– Там не оказалось малодушных, – охотно, даже с какой-то радостью подхватил старик. – Мужья убивали жен и детей… Своих детей… Потом они уничтожили все свое имущество. Они устроили костер до самого неба. У этого костра мужчины бросили жребий, выбрав по жребию девятерых в убийцы… Они честно бросили жребий. Совсем не так, как это сделал я в той пещере… Последним упал на свой меч их несчастный предводитель.

– Его звали Эльазар! – крикнул сын. – Ты ненавидел его! Ты его проклял! Ты считал его палачом своего рода. И ты назвал меня, своего сына, именем этого человека!

– Я любил его, – тихо сказал отец. – Я всегда любил Эльазара. Я любил его больше, чем себя, жалкого труса и предателя. Я завидовал ему всю свою жизнь. Завидовал его мужеству и воле. Он понимал под жизнью право на свободный выбор, на поступок во имя высшей цели. Во мне всегда был этот человек. Был. Ты знаешь, как я сражался с римлянами! Как бил этих спесивых негодяев. Во мне был Эльазар… Был… Но был и другой. Тот, кто считал, что самое главное – сохранить жизнь. Я всегда говорил себе: «Наш Бог не исчезнет вместе с Храмом. Его не станет лишь вместе с последним евреем. Нужно беречь свою жизнь так, будто ты этот последний»… Какая глупость… Нет разницы, когда умереть: в тридцать лет или шестьдесят. Звезды и не заметят разницы… Я утешал себя тогда высокими словами, но на самом деле слишком любил власть, деньги, простые удовольствия

жизни. Мне нет прощения.

– Все бы забыли об этом Эльазаре, если бы не ты, – сказал сын, обняв отца. – Ты и он теперь навсегда вместе.

– Как хорошо ты сказал это, – покачал головой Иосиф. – Мы – вместе. И вместе вернемся в Иерусалим… Ты простил меня, Эльазар?

– Разве это имеет значение. Мой суд ничего не значит, – отозвался сын. – Главное, чтобы ты сам простил себя.

Солнце вновь залило комнату красным золотом закатного света.

– Я писал, как мне казалось, ради одной истины, – сказал Иосиф. – Я всегда думал, что знаю, как она звучит и как выглядит. На самом деле я просто спасался от безумия. И теперь понял это. Каждый из нас должен придумать свою правду, чтобы выжить и не сойти с ума.

– Только не пиши об этом, ладно? – попросил отца сын. – Пусть все останется, как есть. В твоей книге нет отчаяния и страха… Если ты напишешь о том, что сказал мне, люди скоро забудут твою книгу. Они забывают всех, кто сомневается в том, что несет им истину. Они забудут об Эльазаре, падающем на свой меч.

– Хорошо, – подумав, согласился Иосиф. – Я обещаю тебе это.

В тот день он невольно пропустил вечернюю пешую прогулку по холмам, вокруг своего дома. Назавтра Иосиф заставил себя проделать двойной маршрут. И в банях, после утомительной прогулки, он пробыл два обычных срока. Иосиф сразу же вызвал своего терщика, и тот работал над его кожей с особым усердием, определив чутьем профессионала желание старика.

2001 г.

Бедный, бедный Финкельштейн

В школе у него была кличка Смычок. Кличка неизбежна при длинной фамилии. Даже учителя редко вызывали к доске Финкельштейна официально, признавая, что есть в его «прямом» именовании что-то неприличное.

– Ну что нам сегодня Смычок напиликает? – улыбался, снимая очки с толстенными линзами, наш математик Петр Самойлович.

Финкельштейн не обижался. Он сам терпеть не мог отцово наследство, хотя бы потому, что никогда в жизни папашу своего в глаза не видел. Тот ничего не оставил сыну Яше, кроме «гнусной» фамилии и какого-то вытянутого в струну облика, которому, надо думать, Финкельштейн и был обязан своей кличкой.

Был Смычок злоязычен и остроумен. Меня не жалел, подмечая каждую мою слабость или оплошность. Долго не мог я понять причину такой злости, пока Финкельштейн сам не открылся:

– Ты, Аркан, из евреев, а фамилия твоя на «ов». Я же – русский, а получил подарочек. Давай меняться?

Он преувеличивал. Неизвестный папа все-таки писался евреем, хотя по матери Смычок был совершенно «чист» и даже имел происхождение деревенское.

Попробовал как-то его утешить разговорами о внешности. Яков был похож на маму: светловолос и голубоглаз, но это не помогло. Отношения наши лучше не стали.

Впрочем, несправедливость с метрическими данными не казалась Смычку вечным проклятием. Он уже давно решил исправить дело при выдаче паспорта, но, к несчастью, у русской мамы фамилия тоже не была «чистой».

Смычок любил рассказывать о немце – лютом крепостнике, заставившем всех крестьян его вотчины именоваться Шварцами. Он утешал себя историей-мифом, но от этого Яков Шварц никак не мог превратиться в Васю Иванова, и несчастный Финкельштейн в глубине души продолжал страдать тяжко.

И все-таки он стал Шварцем. После восьмого класса судьба развела нас, но жили мы в соседних домах, и случайные встречи продолжались.

– Вот ты хитрый, – говорил Смычок, – к станку пошел, пролетарий. Ясное дело: еврея без рабочего стажа в институт не примут. А вам, евреям, без высшего образования никак нельзя.

Сам Финкельштейн-Шварц продолжал учиться в специальной математической школе и был уверен, что путь в университет для

него открыт. Однако на экзаменах он не добрал сущую ерунду и принят не был.

– У них там процентная норма, – говорил он. – Ты что, не знал? К чему в бумагах копаться, если черным по белому из фамилии ясно, кто таков абитуриент Яков Евсеевич Шварц. Может такой человек быть русским?

Меня же приняли в политехнический институт. Видно, тоже не стали заглядывать в документы и поверили русской фамилии.

У Смычка проблемы были со здоровьем – в армию его не взяли. Получился счастливый резерв времени, чтобы разобраться в себе самом. Вот тогда мой школьный приятель обиделся на университет и увлекся живописью, поставив крест на точных науках. Он и раньше неплохо рисовал, но относился к своему дару несколько свысока. Теперь же изменился совершенно.

– Человек обязан быть творцом, – говорил Смычок. – Только тогда он имеет право называть себя человеком. Земля полнится трудами гения. Мир прекрасен только потому, что кто-то способен понимать это.

Вот как красиво говорил Яша Шварц. Он и сам был красив, высок и длинноволос в курчавости. Девушки любили моего школьного приятеля отчаянно. Он же подпускал к себе влюбленных особ снисходительно и даже высокомерно, будто жалел их за проявления низменной страсти. Он помогал, естественно, страсть эту утолить, но не баловал девиц особым вниманием, разбивая сердца и омрачая ясные очи влюбленных.

Вот почему все мы были удивлены вестью о ранней женитьбе Смычка. Я слуху этому не поверил, но в доказательство получил официальное приглашение на свадьбу.

При регистрации Яков Шварц заявил, что он принимает фамилию жены. Затем, во время бедного пиршества в третьеразрядной кофейне, он отвел меня в сторону для исповеди, будто только за этим и пригласил на бракосочетание.

– Понимаешь, – с улыбкой начал Смычок, – я решил сделать ставку на живопись. И не имею права рисковать. В «Муху» поступать будет Яков Горелов, а не какой-то там занюханный Финкельштейн-Шварц. Что молчишь? Ты считаешь, что я не имею права на русскую фамилию?

Я сказал, что он имеет право на любую фамилию, даже на итальянскую или китайскую. Но он обиделся на шутку, пояснив, что к судьбе своей относится ответственно и больше не позволит идиотской случайности портить себе биографию.

– Впрочем, – добавил Смычок, – тебе, с твоим фартом на прозвище, этого не понять.

Потом к нам подошла молодая жена моего приятеля:

создание крошечное и тихое.

– Яшенька, – еле слышно произнесла она, – вот ты где, а я уже волновалась.

И правильно она волновалась. Недолго они прожили в браке. Через шесть месяцев развелись. Фамилию жены Смычок оставил.

Развод случился как раз перед экзаменом в художественное училище, но и на сей раз Горелов Яша оплошал на рисунке с натуры и принят не был.

– Старик, – сказал он, – там сидят ретрограды. Что они понимают в подлинной живописи? Бездарей этих посадил в кресло сам сатана, чтобы душили подлинные таланты.

Я не думал спорить, потому что сам понял свою ошибку в выборе профессии. Я тогда тоже заболел «творчеством» и стал думать о себе самом лестно и с большим уважением. Я сказал Яше Горелову, что уйду из технического вуза, так как почувствовал в себе силы сочинять стихи и жить во имя высокой цели.

Смычок нахмурился. Ему это не понравилось. Он давно считал себя гением и был убежден, что другие таланты человечеству не нужны, хватит одного Яши – подлинного и незаменимого. Мир обойдется без конкуренции самозванцев.

– Глупости, – сказал он, – тебе, еврею, удалось просочиться в институт. И сиди тихо. Нечего рыпаться. Читал твои стишки – очень посредственно. В творчестве человек должен быть ВСЕМ, а не ЧАСТЬЮ. Средних стихотворцев не бывает и не должно быть… А потом, это не профессия – сочинитель, одумайся, пока не поздно.

Величие замысла – вот чем был болен мой школьный приятель. Кто упрекнет его в этом? В молодости нам так хочется думать, что Творец трудился над нами лично, заботясь о штучном товаре. Мы неповторимы, а конвейер воспроизводства населения поставляет в этот мир кого угодно, только не нас.

Смычок задумал штурм небес, но преодолеть земное притяжение невозможно, и тут нужна в оправдание целая система вымышленных помех, объясняющих свою горестную тяжесть и отсутствие крыльев.

Горелов-Шварц-Финкельштейн сделал еще одну попытку сдать экзамены в художественное училище. Безуспешно. Вот тогда он доказал всем высокий трагизм своих устремлений. Смычок повесился. Его вовремя вынули из петли и откачали. Он согласился жить дальше, но ценой предательства своей мечты.

– Знаешь, – сказал он при встрече, – живопись устарела. Фотография – вот подлинное современное искусство. Мгновение – и ты видишь мир по-своему. И это твое видение –

подлинно творческий акт. Сегодня живопись кажется мне занятием суетным и несерьезным… Ладно, расскажи, чем ты занят?

Не стал рассказывать о своих успехах. Не хотелось его обижать. Мне он тогда казался героем, посмевшим наложить на себя руки в ответ на вероломство судьбы.

Через год он сам нашел меня. Адрес общежития ВГИКа добыл в справочном киоске за пять копеек. Смычку не я был нужен, а институт. Он решил стать кинооператором. Конечно, самым выдающимся и гениальным. Он работы свои привез в огромной самодельной, из картона, папке: серию осенних пейзажей и натюрморты.

В нашей комнате нашлась свободная койка. Смычок полночи рассказывал о себе и о своем творчестве. Творчество можно опустить, а вот новые подробности биографии моего школьного приятеля были любопытны.

Маме Горелова врачи поставили ложный диагноз. Анна Федоровна приготовилась к смерти и рассказала любимому сыну о подробностях его появления на свет. Отец Якова через год после рождения сына был арестован в результате хозяйственной ревизии. Анна Федоровна сразу же развелась с ним и связала свою судьбу с начальником арестованного мужа. Начальник вскоре оказался негодяем, и мама решила не искушать судьбу больше и посвятить всю себя воспитанию единственного сына.

Через пять лет папа Финкельштейн отбыл срок, но в родной город не вернулся. Он остался работать на Крайнем Севере и вскоре стал большим начальником на металлургическом комбинате. Все эти годы он исправно присылал сыну солидные алименты, хотя сам обзавелся новой и в итоге многодетной семьей.

Анна Федоровна по загадочной причине прежде ничего не рассказывала сыну об отце, придумав обычную, красивую легенду: похоронила бывшего мужа в полярной экспедиции.

Смычок очень на маму обиделся. Тем более, что и смертельный диагноз был вскоре отменен. Он даже предпринял поездку к отцу – очень занятому, крайне уставшему, пожилому человеку. Отец принял его радушно и сказал, что денежную помощь сыну не прекратит, а напротив, ее увеличит, чтобы Яша мог учиться, ни в чем себе не отказывая.

Смычок решил сразу же после сдачи экзаменов в институт вернуть себе фамилию отца. Потом он сказал, что своим талантом конечно же обязан исключительно еврейскому происхождению. Он теперь считает себя евреем – «представителем великого и мужественного народа». Он протянул

мне руку с соседней койки и произнес с пафосом:

– Здравствуй, брат мой!

Мой новоявленный брат конкурс благополучно прошел, но на летних экзаменах снова недобрал баллы и вынужден был согласиться на заочное обучение.

– И отлично, – сказал он. – Я не сопляк какой-то, чтобы штаны в аудиториях протирать. Буду работать.

Он устроился на Ленинградскую студию телевидения ассистентом оператора. Мы регулярно встречались, когда он приезжал сдавать сессию. Смычок появлялся гордый и при деньгах. Фамилию он себе оставил прежнюю, сославшись на проблемы с устройством на работу, однако вспыхнувшую любовь к евреям сохранил. Он даже предпринял попытку выучить язык иврит, но в связи с Шестидневной войной «пропаганду сионизма» категорически запретили под страхом тюрьмы или психушки.

В начале семидесятых мы встречались редко. Я был занят лихорадочным и суетливым пробиванием сценариев, а он, получив диплом, редко приезжал в столицу.

Смычок позвонил летом 75-го года.

– Старик, – сказал он, – если не боишься, мы можем встретиться.

– Почему я должен бояться?

– Мы уезжаем на постоянное место жительства в Государство Израиль.

– Кто это мы?

– Я и моя жена Вера.

Он снова выбрал в жены девушку тихую и невысокого роста. И на этот раз взял фамилию жены. Смычок стал Яковом Шапиро. Он сказал, что намерен поднять в Израиле операторское искусство и принять непосредственное участие в глобальном киносъемочном проекте библейского содержания. Вера Шапиро молчала и смотрела на своего статного мужа влюбленными глазами.

Года через три вновь раздался звонок Смычка.

– Старик! Я в России… Старик, я счастлив, что вернулся. Ты думаешь, им там нужно искусство? Танки им нужны и самолеты. Дикая африканская страна, заселенная дикарями. Ты же знаешь, я раньше никогда не был антисемитом, но теперь…

– А как жена Вера? – спросил я.

– Осталась там.

– Фамилию вернул старую?

– Да не в этом дело. Встретимся – поговорим. Я тебе такое расскажу, такое…

– Нет, – сказал я. – Не нужно нам встречаться. Извини, на

этот раз мне страшно, даже очень, боюсь я с тобой встречаться.

Его долго возили по Стране Советов с рассказами об ужасах жизни в еврейском государстве. Потом возить перестали. И снова я потерял Смычка из виду. Встретились мы на юбилее нашей замечательной школы. Он был по-прежнему красив, только русые волосы заметно поредели. Говорить Смычок стал меньше, и улыбка появилась на его губах какая-то странная, застенчивая, что ли.

– Видел твои изделия, – сказал он. – Весьма посредственно, сам понимаешь. Собственно, при нашей зверской цензуре…

– Опять в Израиль собрался? – спросил я.

– Зачем? – улыбнулся Смычок. – Я тут жениться решил на студентке из Австралии.

– Как ее фамилия? – по инерции спросил я.

– А зачем тебе? – удивился Смычок.

Юмора моего он не понял или не захотел понять.

Смычок женился на своей австралийке и уехал в эту далекую страну. Там он успешно занялся рекламными съемками и, как рассказывали, разбогател и растолстел. Только с семейной жизнью опять получилась у него промашка. Очередной бездетный брак быстро распался, и Смычок дальше искушать судьбу не стал. Это я уже из письма вычитал. Он мне прислал совершенно неожиданно толстенный пакет на адрес в Израиле.

В письме он вновь говорил только о себе. С горечью отметив, что жизнь проходит, на пяти страницах убористого компьютерного текста перечислял своих врагов и обстоятельства, помешавшие Смычку стать гениальным художником. Он писал, что по-прежнему чувствует в себе могучую силу творца, но перестал бороться с дьявольским роком. Он стонал и жаловался на равнодушие мира, его слепую и глухую жестокость. Он выбрал мою персону, чтобы выговориться, но, возможно, и не меня одного – слишком безличным было послание это.

Судя по всему, ответа он не ждал и не нуждался в ответе. Через год общие знакомые рассказали, что Смычок погиб. Отправился на пляж купаться и не вернулся. Никакой предсмертной записки мой школьный знакомый не оставил. Кто знает, возможно, он сам свел счеты с жизнью, а может быть, и жизнь свела счеты с ним.

1998 г.

Пятьсот шагов

Не знаю, как это все было. Мало того, никто знать этого не может. Вернее всего, дело происходило совсем не так, без всех этих дурацких красот и конфликтов, придуманных автором. Но кто знает… Мы и сегодня живем в иллюзорном мире. Будущее представляется нам совсем не таким, каким оно случится, значит и прошлое наше иллюзорно. Мы слышим только его слабое эхо. Вот и попробуй догадаться, как выглядел источник звука.

Дети старика умерли раньше своего часа, и он жил вместе с внучкой. В положенный час девица влюбилась, и в нее влюбился избранник сердца, но старик не дал согласия на брак, потому что соблюдал обычаи. А обычай его рода запрещал семейные узы между черноволосыми и рыжими.

Черными как смоль кудрями, отметил Бог внучку старика, а рыжей шевелюрой объект ее нежных чувств.

Черные и рыжие могли жить вместе, но скрещиваться права не имели. Кто-то когда-то решил, что дети от таких браков получатся неудачными, больными и тупоумными. И род старика вовсе не хотел такого продолжения своей судьбы.

Слово деда несчастной внучки было законом в том месте, где он жил. Старик первым остановился там, куда следом за ним пришли другие. Раньше он водил свой род по пустыне от одного колодца до другого. Движение было обычаем племени старика. Считалось, что только кочевники живут в родстве с небом, не копят земных богатств, не становятся объектом зависти и ненависти соседей и не бывают измученными рабами земли.

Старик совершил грех. Он восстал против этого обычая вечной дороги, мучимый болезнью. Восстав, он поклялся, что больше никогда не отступит от правил, дарованных его роду предками.

Старику было трудно дышать внизу, в долине. Неизвестно, что заставило больного, немощного человека найти в себе силы, чтобы подняться в горы. Но там он вздохнул полной грудью и решил, что только здесь он построит свой дом, неподалеку от того места в пещере, где бил из-под земли ключ чистейшей воды.

Старик, как и положено, привел за собой свой род. И другие сообщества разных людей, кому опостылела вечная дорога, последовали за ним. Так в окрестностях источника выросло значительное поселение. Первое настоящее имя того города нам неведомо. Известно только, что в переводе оно значило Место, Где Дышится Легко.

Люди в те давние времена враждовали точно так же, как и

теперь. Город невольно накопил разного рода богатства и стал приманкой для соседей. Глупцам казалось, что они станут и богаче и сильней, если разграбят то Место, Где Дышится Легко.

Жителям города надоели злодейские набеги соседей, и они решили построить вокруг своих домов стены, способные задержать врага.

Старик, основавший город, сказал всем, что не следует торопиться. И только по одной причине: население в Месте, Где Дышится Легко, выросло многократно, а нового источника воды так и не было обнаружено. К старому ручью, даже ночью стояли длинные очереди женщин с глиняными кувшинами.

К очередям этим все привыкли. Они, как и всюду в том мире, стали местом для развлечений. Женщины на пути к водопою чесали языки, перемалывали друг другу косточки, вместо того чтобы заниматься детьми и давать им знания, необходимые в том городе по принятому в древности Закону.

– Нужно искать воду, – говорил старик. – Где-то близко должен быть настоящий источник, способный напоить весь город быстро и легко.

Но и в те годы далеко не всегда прислушивались люди к голосу здравого смысла. Они торопились жить, а для спешки легко найти оправдания. Старика обвинили в том, что он чуть ли не в сговоре с врагом хочет оставить город без защиты.

Старику кричали прямо в лицо обидные слова, и он отступил. Он вообще перестал разговаривать с людьми и с тех пор беседовал только с Богом во время молитвы.

Горожане без промедления приступили к строительству. Камня вокруг было предостаточно, и вскоре Место, Где Дышится Легко, окружила высокая стена.

Люди спокойно трудились на полях вокруг города, а вечером возвращались под защиту могучих стен, запирали деревянные ворота, обитые медью, и спали спокойно и крепко. Спокойный и крепкий сон нужен пахарю не меньше, чем плоды и зерно.

Так шли годы. Мужчины трудились в поле. Женщины стояли в долгих очередях у источника, а дети, мальчики и девочки, росли, чтобы со временем стать землепашцами или поставить на плечо высокий глиняный кувшин с водой.

В одну из дождливых зимних ночей к возведенным стенам подошел хорошо вооруженный враг и, не дожидаясь рассвета, бросился на штурм города. Атакующих торопил проливной холодный дождь, солдатам нападавших хотелось быстрей оказаться под крышей.

Враги яростно штурмовали стены крепости и били тараном в медные обручи ворот города.

Но люди на стенах любили то Место, Где Дышалось Легко, и они защищали свой город изобретательно и отважно.

Дождь прекратился, стало жарко, и теперь враги штурмовали неприступную крепость, мечтая спрятаться в тени домов за крепостными стенами. Взаимное озлобление росло с каждым днем, с каждым убитым. И когда достигло оно пика, когда стало ясным, что не будет пощады побежденным, наступила развязка.

Солнце тоже не знало жалости и пило воду единственного источника быстрее, чем люди – защитники города. Тонкая и ломкая струя вожделенной влаги уже не могла напоить всех. Нехватка воды мучила горожан сильнее, чем стрелы и мечи врагов. Люди внутри крепости стали умирать от жажды и от неведомых болезней.

Казалось, городу пришел конец. Но враги за стенами страдали не меньше, чем защитники Места, Где Дышалось Легко. В один прекрасный день враг исчез так же тихо и незаметно, как появился.

Старик, первым поставивший свой дом в городе, не умер. И внучка его осталась жива, и ее избранник – рыжий парень не погиб, защищая город. Молодые любили друг друга по-прежнему и терпеливо ждали, когда мир вокруг подобреет и станет мудрей.

Горожане после осады решили, что всем им нужен царь: человек, на которого можно бы было возложить всю меру ответственности за происходящее. Будет царь, и в случае беды не придется им долго спорить, кто виноват.

Царя долго не могли выбрать. Спорили до хрипоты. Никто не хотел быть верховным вождем. Наконец, горожане бросили жребий и на обломке глины прочли имя того, кто первым пришел на Место, Где Дышится Легко.

Старик сохранил живость ума и крепость характера. Он только ослеп и стал весить не больше чем птица-аист, свившая гнездо сразу после ухода врагов на одной из крепостных башен города.

Люди с черепком пришли и сели на каменистую землю во дворе дома старика.

– Ты теперь наш царь, – сказали они ему. – Хватит молиться. Город умрет без воды или враги его разрушат, когда вернутся. Скажи, что делать?

– Искать воду, – сказал старик.

– Внутри стен ее нет больше, – сказали люди.

– Ищите за стенами, – сказал старик, поднялся и ушел в тень, под крышу своего дома.

Враг разорил поля вокруг города. Дел было много, но горожане понимали, что без воды им больше не жить в том Месте,

Где Дышится Легко.

Однажды, в тишине звездной ночи, случайный прохожий услышал под землей шепот источника. Утром к скале под кручей пришли люди и совместными усилиями сдвинули с места огромный валун.

Струя голубой воды всем на радость ударила из расщелины в скале. Был праздник в городе. Людям казалось, что эта находка обеспечила им и их детям счастливую и долгую жизнь.

Когда все устали и стихло веселье, горожане пришли к царю, чтобы услышать от него слова одобрения и благодарности.

– Вы рады тому, что нашли, как напоить врага, – тихо сказал старик, но его услышали все. – Источник за стенами города – это не ваша жизнь, а смерть ваша.

– Но ты сам послал нас туда на поиски воды! – закричали люди. – Ты, царь, виноват во всем.

– Стойте! – поднялся старик, тяжело опершись на палку. – Вы забыли. Я предупреждал вас: нельзя торопиться с возведением стен крепости. Нужно было подождать немного. Найти сначала воду, а потом…

Старик устал говорить громко и ушел в свой дом под тень плоской крыши. Люди не уходили. Их не пугала жара. Воды теперь в городе было предостаточно. Люди страшились будущего. В будущем этом мог вновь появиться враг, для которого они нашли воду в пятистах шагах от неприступных стен города.

Только на закате старик снова вышел к горожанам.

– Что нам теперь делать? – спросили люди. – Переносить стены?

– Нет, – сказал царь. – Вода уходит под землю. Нужно пробить для нее туннель под стенами крепости в город, а сам источник спрятать от глаз человеческих. У нас будет вода, а враг не получит ни капли.

– Мы не знаем, как пробить туннель в скале. Мы никогда не делали этого, – заскучав, сказали люди.

– Мы никогда раньше не жили в городе, – сказал царь. – Мы никогда не жили вместе. Теперь мы только учимся жить за стенами, как народ. А народ должен уметь делать многое. Камень вокруг нашего Места, Где Дышится Легко, мягок. Железо крепче этого камня. Вы сделаете из железа рубила, а из меди молотки. Пятьсот шагов не так много. Уходить в землю нужно с двух концов, навстречу друг другу. Двести пятьдесят шагов должен пройти каждый перед тем, как встретиться.

Так жители города – землепашцы – стали землекопами. Было решено вырубать туннель узким и невысоким, в рост человека. Воду плотиной отвели в сторону, чтобы не затопила она

камнетесов.

Один человек работал в туннеле посменно, в свете масляного светильника, а еще один выносил отработанную руду к золоту дневного света или к серебряному свету луны, потому что горожане торопились, страшась прихода врагов, и работали даже ночью.

Выбрать верный путь под землей невероятно трудно. Здесь необходимо особое искусство ориентации на звук. Горожане часто меняли направление работ, туннель уходил в сторону, петлял… Двести пятьдесят шагов давно уже было пройдено, а рабочие так и не вышли навстречу друг другу.

– Что нам делать? – спросили у царя.

– Там, откуда мы пришли когда-то, живет племя людей, способных превратить пещеры в дома и храмы. Они мастера старые и опытные. Пошлите гонца с просьбой о помощи.

Гонца послали. Он вернулся и назвал цену, назначенную людьми того племени великих каменотесов. Таких богатств, чтобы заплатить за работу, не было в городе.

– Ищите двух слепых, – сказал тогда царь. – У слепых особенно развит слух. Они слышат лучше зрячих. Так распорядилась природа.

– Ты слеп, – сказали люди царю. – Ты станешь одним из двоих.

– Нет, – ответил старик. – В моих ногах нет силы. А потом, я ваш царь, и, если умру раньше времени, некому будет давать вам советы и отвечать за все ваши грехи.

С ним согласились. Люди постепенно привыкали не спорить с царем. Слепых нашли без особого труда, но и эти несчастные люди в глухой темноте подземелья растерялись и не смогли выбрать верное направление.

Тогда царь собрал на площади всех горожан, чтобы решить совместно проблему туннеля. Люди собрались, долго спорили и кричали, но так и не придумали, как найти под землей верную дорогу навстречу друг другу.

Царь распустил народ. Все разошлись, но, когда площадь опустела, к старику приблизился рыжий горожанин, влюбленный в его внучку.

– Я сделаю то, что нужно, – сказал он. – А ты, царь, отдашь мне в жены ту, которую я люблю.

– Для этого дела необходимы двое, – сказал царь.

– Я понимаю, – кивнул рыжий. – Второй станет твоя черноволосая внучка.

Старик долго думал. Он признавал всем сердцем святость обычаев, но понимал, что без воды Место, Где Дышится Легко,

обречено.

«Пусть так, – думал старик. – Обычаи наши для жизни вечной, а города всего лишь на время. Пройдут века, и люди забудут то Место, Где Дышится Легко. А потом, я же обещал небу не грешить больше».

Тем временем все чаще стали поговаривать, что враг собирает новые силы и готов напасть на город. Старик позвал внучку, протянул руку и долго ощупывал ее лицо.

– Сколько тебе лет? – спросил царь.

– Много, – ответила внучка.

– Ты так и не нашла себе мужа? – спросил старик.

– Я не искала его.

– Твой любимый тоже состарился? – спросил царь.

– Мы живем рядом, хотя и не вместе, – ответила внучка.

Старик вновь протянул руку и ощутил влагу на щеке немолодой девушки.

– Ты плачешь, – сказал он. – Хорошо, пусть будет так, как хочет твой рыжий.

– Он уже не рыжий, – сказала внучка. – Он совсем облысел.

– Тем более, – вздохнул старик. – Скажи ему, что вам двоим я поручаю закончить работу в туннеле. Ты и твой рыжий будете стоять позади каменотесов и направлять их удары. Как только вода потечет в город, можете стать мужем и женой. Если вы найдете дорогу друг к другу под землей, значит, и на земле вам быть вместе.

– Спасибо, царь, – сказала внучка.

– Я тебе не царь, – закричал старик. – Я твой дед.

– Спасибо, дедушка, – сказала постаревшая девица, влюбленная в того, кто когда-то был рыжим, а теперь полысел.

Потребовалось не больше месяца, чтобы выправить русло туннеля, найти путь друг к другу. Рабочие по-прежнему меняли друг друга, но все эти дни бессменно, за спиной каждого из проходчиков туннеля, стояли внучка старика и ее возлюбленный.

Потом люди говорили, что эти двое слышали не удары рубила по камню, а стук своих сердец. И на этот шум и шли навстречу друг другу. Но все это красивая сказка. На самом деле совершенно неизвестно, как людям из рода старика удалось пробить в камне подземный туннель, по которому хлынула за стены города чистая и холодная вода.

В тот день, когда это случилось, умер царь. Старик давно решил, что умрет именно в этот день, чтобы не нарушать обычай, заповеданный ему предками, и не быть на свадьбе молодых, успевших состариться в ожидании счастливого момента.

Мертвому старику смочили сухие губы водой из пробитого в

камне туннеля. Он просил об этом в своем завещании.

Люди Места, Где Дышится Легко, вновь по жребию выбрали нового царя, и им оказался суженый внучки старика.

Всем в городе было безразлично, что прежде он был рыжим, а старый обычай запрещал брак людей этой масти с черноволосыми. Обряд свадебный совершили над седой девушкой и лысым парнем. И все-таки эти двое еще удивили горожан, родив множество нормальных детей и дождавшись внуков и правнуков.

То Место, Где Дышится Легко, существует по сей день. Враги на протяжении тысячелетий не раз разрушали великий город, но он упрямо восставал из пепла.

Все неотвратимо менялось, кроме воздуха гор и туннеля, проложенного любовью рыжего и черноволосой девушки.

Недавно прошел те пятьсот шагов под землей по колено в холодной и чистой воде вечного источника. В свете фонаря видел зарубки на стенах туннеля. Первые двести пятьдесят шагов шли они справа налево, потом слева направо. Видел тупиковые ниши, заделанные много тысяч лет назад, заметил лишние извивы пути. И только с того места, где за спинами рабочих появились те двое, подземная дорога становилась прямой, как стрела.

Видел все это, потому и имею полное право рассказать вам историю туннеля, старика царя и влюбленных, ставших мужем и женой в том Месте, Где Дышится Легко.

1998 г.

Живой товар

За рулем сидел грузный, угрюмый, тяжелый тип с одутловатым лицом. Не люблю таких, но пришлось сесть рядом с ним. Другой возможности покинуть отдаленный пункт на севере Израиля у меня не было.

«Ничего, – утешил я сам себя. – Два часа – не вся жизнь, потерпим».

Но два часа, как это часто бывает в дороге, превратились в четыре. Да и жалеть не пришлось о той слишком затянувшейся поездке.

Обычно, если человек нам сразу чем-то не нравится, мы и ждем от него разных неприятных сюрпризов. Он как бы должен всем своим поведением подтвердить наши подозрения разными пакостями.

Вот и этот угрюмый тип сразу и без спроса на полную громкость включил в своем фургоне магнитофон. Динамики зарычали под гитару с каким-то пьяным, больным надрывом.

Отец родной свой лучший взвод
Послал на смерть под Кандагаром.
Земля горела там пожаром,
И камни плавились как воск.
Прости, отец, прости родной,
Мы больше не придем домой…

Шофер фургона был сильно контужен той страшной войной, и песни об одном и том же шли без перерыва и паузы… Я молча нервничал, злился, но постепенно и по старой рабской привычке приспосабливаться к любым обстоятельствам стал прислушиваться к песням, стараясь понять тот смысл, который несли в себе эти окопные шлягеры.

Мне показалось, что я понял, почему СССР начисто проиграл войну в Афгане. Не было в песнях этих проклятий в адрес врага. Да что там проклятий – не было ни одного дурного слова о противнике. Мало того, было совершенно непонятно, на какой войне сложили свои головы «пацаны и братушки». Всего лишь единственный раз услышал: «Несчастный, бедный мой Афган» – и все. На этом «проклятия» в адрес «духов» себя исчерпали.

Понял тогда, что над таким противником невидимкой одержать победу невозможно. Русский солдат не знал, за что и с кем он воюет. Об этом и решился сказать грузному типу в паузе,

когда он собрался заменить кассету в магнитофоне.

– Нет, – сказал он. – Мы не проиграли ту войну. Мы просто ушли от нее. И правильно сделали… Я-то свою войну чуть не продул. Ранило сильно. Месяца три в госпитале провалялся, в Херсоне…

Не стал я тогда с ним спорить, напоминать о том, что получила Россия после «ухода» из Афганистана. Не стал, поняв, что спор в этих обстоятельствах не будет иметь смысла, да и рядом со мной сидит человек незаурядный, настоящий солдат, «сделанный» и сформированный войной, а потому достаточно интересный. Почувствовал невольное уважение к этому человеку и желание разговор с ним продолжить. Таких людей нужно слушать, а не спорить с ними.

Настроился, если честно, на рассказ или рассказы о войне, но об этом шофер, его звали Петром, а в Израиль он прибыл «по бабушке», говорить не хотел. Мои попытки развить тему Афгана наткнулись на упрямое и демонстративное молчание.

В часе езды от Тель-Авива мы попали в чудовищную пробку. Как потом выяснилось, впереди случилась серьезная авария. Вот мы и двигались вперед долго и со скоростью пешехода. Разговор должен был завязаться сам собой. Так и получилось.

Афганистан оставил в покое, но были в те дни и другие «затравки» для разговора между двумя человекообразными существами в брюках и с бородой: война в Ираке, кризис, забастовки, безработица…

Оказалось, что Петр вот уже четыре месяца имеет сносную работу: развозит по стране бригады ремонтников-электромонтеров. Спросил, где он раньше трудился. Ответил, что мотался «как дерьмо в проруби», долго сидел на пособии, а однажды даже загремел по-черному.

– Это как? – спросил я.

Он усмехнулся, ничего не ответил. Я же понял, что настаивать на разъяснениях не имею права… Пауза затянулась, но мы все еще двигались вперед неспешным «шагом», и мне даже показалось, что Петр испытывает что-то вроде угрызений совести, будто по его вине я не смогу вовремя попасть домой.

– Нужно было ехать через Афулу, – сказал он. – Но кто знал?

– Ерунда, – отмахнулся я. – Дело обычное. Да и я никуда не спешу.

Петр на мои слова будто впервые решил приглядеться к человеку рядом с собой, потом он вновь усмехнулся и процедил сквозь зубы:

– За любую дрянь хватаешься, когда тебя в угол загонят…

Вновь промолчал и даже с откровенным любопытством стал

разглядывать полицейские машины, автомобили «скорой помощи» и несчастные останки некогда роскошных джипов на обочине…

– Не умеют ездить, – сказал Петр, переключив передачу. – По-наглому ездят, а это верная смерть рано или поздно.

Мы мчались по шоссе с приличной скоростью.

– Встретил тут одного знакомого, – даже с каким-то облегчением начал свой рассказ шофер. – Он меня и втравил. Сам-то уже давно возил шлюх из России. Прием, значит, такой был. Не знаю, как сейчас с этим делом, а тогда он придумал один хитрый трюк: находил мужиков холостых в Израиле, давал им по две тысячи баксов, за своей счет в Россию отвозил, кормил от пуза, поил, там женил их на профессионалках… Остальное, сам понимаешь, дело техники. Ну, с постоянным местом жительства никто торопиться не думал. Дамы приезжали по «гостевой», и сразу на приготовленное место службы в бордель. Деньги на «женихов» они быстро отрабатывали, месяца за три, остальное шло в прибыль.

Сам понимаешь, что сами женихи «товаром» были тоже недоброкачественным. Как правило, алкаши, наркоманы, бродяги… Эти на все были готовы. А нам от них требовалось только одно: чистый паспорт.

Но пускать их в Россию одних никто и не думал. Тут глаз нужен был за такими и глаз. Контора наша «брачная» работала официально, по лицензии. Скандалов никто не хотел. Вот и организовали с каждой группой сопровождение. Меня на работу взяли сразу, после первого разговора. Я же непьющий, семья нормальная, двое детей и квартира собственная. Ну и подрядился… Первый раз все прошло без сучка и задоринки. Отвез я группу из пятерых «женихов». Назад привез пять «невест». «Товар» столичный и образцовый…

Но, знаешь, везде интриги: меня и бросили на один южный город. Мне, кстати, хорошо знакомый. Я в том городе после Афгана работал в порту на таможне… Не хотел, если честно, туда лететь, но выбирать не приходилось. Взял на этот раз четверых «женихов». Паршивый народ оказался, скандальный. Предупредили их, что во время поездки сухой закон, так они в первую же ночь сорвались… Ну, пришлось повозиться… Ничего, довез «женишков». «Невест» наш агент уже подготовил. Я уж не знаю, как там насчет профессии, но внешний вид имели они… Ну прямо королевы красоты. Одна мне особенно понравилась: веселая такая девчонка: Люба-Любовь.

Ну, поженили мы их быстро, в один день, но канал визовый был у нас только в Москве. Я же почему-то решил везти свою

компанию в столицу поездом. Думаю, с дальним умыслом решил. Себе, само собой, взял купе люкс на одного. Всех остальных разместил в соседнем вагоне.

Любе еще при посадке объяснил, что ждать ее буду к себе ночью обязательно.

– Приду, – говорит. – Не пожалеешь, – и смеется, глазищами сверкает. Губы пухлые, ямочка на одной щеке, лет на двадцать меня моложе… Ну не девочка, а подарок…

Тут мы опять застряли в пробке. Вновь, досадуя на новую задержку, Петр замолчал, чертыхаясь и проклиная все на свете. Стал он звонить домой. Пожаловался на пробку, но обещал все-таки быть к приходу каких-то гостей. Отговорив, шофер раздраженно сунул аппарат на место, но, похоже, рассказ свой не собирался продолжить, а я по опыту знал, что торопиться в таких случаях нельзя. Вот и взял инициативу на себя, стал рассказывать о какой-то ерунде из своей же непутевой жизни. Вижу, шофер меня и не слышит, о своем думает. Ну я и замолк. Так, молча, и ползли мы в пробке минут двадцать. Наконец снова вырвались на волю, миновав очередных задевших друг друга лихачей, и Петр продолжил свой рассказ:

– Жду, значит. На столик коньяк выставил, закусон приличный. Только вот сердце вдруг стучать стало, будто я сопляк какой и бегу на первое свидание. А Люба все не идет. Выпил я тогда сам с полстакана, сжевал что-то. Думал уже спать лечь. Стучит. Отодвинул дверь, увидел ее, и тут, веришь, понял, что ждал эту девчонку легкого поведения совсем не за тем, о чем думал.

Что-то в ней такое было… запретное, что ли. Будто и она пришла ко мне не за сексом вовсе, а совсем за другим.

– Ой, – говорит. – Как вкусно… Можно?

– Ешь, – говорю. – Затем и поставлено.

Вот сижу я напротив этой Любы, а она уплетает все подряд. Знаешь, сначала пирожные проглотила, а потом бутерброд с икрой сжевала… Ну совсем как ребенок. А я сижу дурень дурнем и совсем забыл, зачем эту Любу позвал. Сидит передо мной ребенок, лопает с аппетитом, а я, старый хрен, этим любуюсь.

Наелась она, спасибо сказала, губёнки свои пухлые вытерла, смотрит на меня. Ну а я что? Разговоры начал разговаривать. Сам знаю, что это верная «могила» для такого дела. Знаю, к чему эти разговоры приводят, а все спрашиваю, не могу остановиться. Ну а Люба отвечает. Охотно и подробно отвечает.

Занялась, мол, этим всего два месяца назад. Не очень ей нравится, но ничего не поделаешь… Ей один парень год назад полюбился. А он подонком оказался, «друзьям Любу отдал».

После того насилия ей уже было все равно. От матери она ушла. Всегда с ней не ладила. В общем, обычная для нынешней России история.

– А отец где? – спросил я.

– Кто его знает, – вздохнула Люба. – Я его ни разу и не видела. Мама как-то говорила, что был у нее один солдатик лихой, приблудный, да случайный, в госпитале она его выходила, в Херсоне, – вот от него и понесла. Врачи тогда сказали, что аборт ей делать нельзя, а то детей совсем не будет. Вот мамочка, дуреха, и решила рожать себе на горе-несчастье. А тот солдатик, как оклемался, так и… – И она махнула рукой в сторону ночи за окном.

Вот на этом месте ее рассказа и стал я догадываться, почему не заладилась у меня любовь с этой девицей. Веришь, спина стала холодной, как лед, а по этому катку горячие мурашки поползли. Даже не знаю, как из себя выдавил тот вопрос:

– А мать-то твою… как зовут?

– Тебе-то зачем? – вдруг насторожилась Люба. – Тебе-то какая разница?

– Анной, – говорю. – Аней?

Тут эта Люба вдруг как закричит, как бросится на меня с кулаками. Колотит меня прямо по лицу и визжит на сто децибел: «Нет! Нет! Не хочу!! Нет!!!!»… А я только локтями и закрываюсь от ударов.

В дверь стучать стали. Резко так, громко. Слышу голос проводника: «Что там у вас? Прекратите, ночь!» Тут Люба и очнулась, перестала меня бить, села тихо на прежнее место.

– Все в порядке, – говорю я проводнику, достал пяток долларов, отодвинул дверь, сунул ему их в щель, сел на место, оставив дверь открытой….

Знаешь, я раньше думал, что страшнее войны нет ничего на свете. Оказалось, не так это. Бывает и мир пострашнее войны… Выходит, мог я свою дочь родную… Не знаю, что меня от греха этого спасло. С того дня стал я думать о Боге, честное слово…

Петр замолчал. Понял тогда, что вновь не имею никакого права на вопросы. После такой истории мог только молчать в ожидании возможного финала.

– Чудной ты мужик, – после долгой паузы усмехнулся шофер. – И неинтересно тебе, чем дело кончилось?

– Почему же? – сказал я. – Интересно.

– Еле тогда расхлеб ту кашу, – сказал Петр. – Еле Любу отбил. Не буду рассказывать как… Не интересно… Со мной она живет сейчас, в моей семье. С женой, сыном и дочкой вроде ладит. Работает на фабрике пластмассовых бутылок, устроил ее к

приятелю. Поглядим, как дальше пойдет. Тут загадывать нельзя. Ну а меня с той хлебной работы, конечно, поперли. За последний вояж с «женихами» не заплатили ни шекеля, даже свое пришлось отдать: все бабки со счета в банке. Это понятно. Я и не возражал.

В самом Тель-Авиве, как ни странно, пробок не оказалось. Петр быстро подвез меня к дому. В последние минуты вел он себя так, будто ничего мне и не рассказывал о себе, будто придорожному столбу, а не человеку откровенно поведал о том, что он счел более страшным испытанием, чем война.

Я не обиделся и не стал делать вид, что четыре часа в дороге, да и с такой историей, все-таки должны сблизить людей. Поблагодарил, правда, Петра за подвозку. Мы сухо и быстро пожали друг другу руки, на том и расстались. Судя по всему, больше и не встретимся никогда.

2001 г.

Сильнее страха

Законы, даже самые мудрые и справедливые, пишутся не для всех и каждого. В этом и заключается несовершенство любых правил, придуманных человеком.

13 января 1953 года семья Коганов: папа, мама и дочь Наташа, девица юная и красивая, сидела молча за столом, под розовым, матерчатым абажуром с кистями. В молчании скорбном девушка уронила слезу на свежий номер газеты «Правда». Ее недавний ухажер, некто Иванов Сергей, спросил, в чем причина такого горя?

Наташа вскочила, хотела было унести газету прочь, но передумала и отдала ее Иванову. Сергей присел к столу и внимательно прочел статью «Убийцы в белых халатах», в которой много нехорошего писалось о народе, к которому принадлежала его невеста.

– Теперь нас всех убьют, – сказала мама Наташи.

– Перестань! – крикнул папа. – Здесь есть и русские фамилии.

– Уходи, – сказала жениху Наташа.

Сергей Иванов не стал с ней спорить. Он молча покинул комнату, где поселилась печаль, но на следующий день, то есть 14 января, поступил весьма странным образом. Ни одному русскому человеку в тот год подобное не могло прийти в голову, а вот Сергею Иванову пришло.

Заявление он писал в общежитии института, где учился. Писал рано утром, на подоконнике. От окна, плохо заклеенного бумагой, дуло, и ледяные узоры на стекле сказочно преображали свет уличного фонаря.

«Заявление, – писал студент. – Я, Иванов Сергей Иванович, 1932 года рождения, русский, проживающий по адресу г. Тула, ул. Ворошилова, дом 2, прошу изменить в паспорте мою национальность на еврейскую».

Он поставил число и красиво расписался. Какие секреты в общаге? Плечи Иванов имел широкие, но они не могли закрыть текст заявления от глаз любопытных. Сосед, подкравшись на цыпочках, прочел написанное, вырвал лист из рук Сергея и дико завопил, разбудив остальных студентов, крепко и сладко спавших в этой комнате общежития.

– Мужики! – орал он. – Тронулся Серега! Ну совсем спятил!

Потом он, увернувшись от Иванова, вскочил на свою койку, прижался к грязной стене и прочел громко, для всех, заявление своего товарища.

Тихо стало. Друзья смотрели на Сергея, нормального парня,

комсомольца и хорошего товарища, ничего не понимая. А потом все присутствующие почувствовали страх, непонятно почему и откуда взявшийся, будто это они все, коллективно, написали прошение о переводе в другую, еврейскую, национальность. У двоих ребят сразу возникла потребность посетить туалет.

– Шютка, да? – спросил оставшийся казах Сакен Наримбетов.

– Это он из-за той статьи, – сообразил отличник, умница и очкарик Гаврилов Николай.

– Сколько дали? – спросил похититель документа, спрыгнув на пол. – Эти гады все купить могут. Вот и Серегу нашего купили.

Иванов спорить не стал, но характер проявил. Он боксом занимался с детства, а потому, как на тренировке, спокойно уложил Гаврилова на пол хуком справа, в челюсть. У лежащего забрал свое заявление, влез в рукава худой шинели, напялил на макушку заячий треух и вышел на свежий воздух.

Паспортный стол милиции был еще закрыт. Неподалеку от отделения находилось железнодорожное депо. Там Сергей и решил отогреться в обществе своего земляка – вохровца – Баштаева Трофима Денисовича – болезненного человека средних лет.

В тесной сторожке продохнуть нельзя было от папиросного дыма. Хозяин потянулся и открыл перекошенную, на одной петле, форточку. В помещение струей ворвался холодный воздух, и Сергей Иванов стал под эту струю, чтобы очнуться в прежней решимости совершить то, что он надумал сделать.

Стрелок охраны и Сергей относились друг к другу душевно. Отец Иванова погиб на недавней войне, а Баштаев был комиссован по состоянию здоровья. Семьи у вохровца не имелось, а потому он относился к студенту с особой заинтересованностью и теплом.

Тем не менее Иванов не стал рассказывать о своей затее. Спор у земляков случился по обычному поводу. Никак не могли они прийти к согласию, какая из городских команд лучше играет в футбол.

Потом Иванов прикорнул на железной кровати в сторожке Баштаева. Сергей почти всю ночь сочинял свое заявление, а потому сразу же заснул на полуслове. Трофим Денисович укрыл земляка, но при этом из кармана шинели выпало заявление студента. Вохровец документ прочел, будить Иванова не стал, но бумагу спрятал в карман и, напялив тулуп (пришло время обхода), вышел из сторожки, закрыв за собой двери на висячий замок.

Примерно через час студент проснулся и сразу же сделал два открытия: во-первых, его обращение в паспортный стол милиции

исчезло, а во-вторых, он никак не мог покинуть сторожку, даже через окно, забранное крепкой решеткой.

Стук и крики не помогли Иванову, но вскоре вернулся его земляк.

– Ты чего, зачем? Отдай! – закричал студент.

Баштаев грел руки, прижав их к гофрированному железу печурки. Нагнулся, открыл дверцу и бросил в тлеющие угли заявление Иванова. Бумага охотно и радостно вспыхнула.

– Давай перекусим, – сказал Трофим Денисович, закашлявшись и снимая с плиты облупленный чайник. – Не сердись, Серый, что запер. Лучше у меня посидеть, чем на зоне.

– За что? – возмутился Сергей.

– За глупость, – невозмутимо объяснил Баштаев. – А за что люди сидят?.. Гляди, у меня леденцы есть. Вон целая коробка. А ты чего занятия-то прогуливаешь?

– Лекция в час, – хмуро отозвался Иванов. – Я пойду.

Он вышел на мороз с ясным пониманием, что земляк прав совершенно и только собственная глупость могла заставить его написать то злополучное заявление. Он даже протопал бодро мимо отделения милиции, но тут что-то заставило Иванова остановиться. Он сам себя обозвал предателем, громко и четко обозвал, выдохнув пар изо рта. Студент сделал это совершенно неожиданно, будто кто-то невидимый подсказал ему это обидное слово.

В паспортном столе ему дали бумагу, ручку с железным пером и чернильницу-непроливайку. Перо было скверным, чернила и того хуже. Иванов испортил три листа бумаги. Девушка-лейтенант только из симпатии к молодому и симпатичному студенту не выгнала его прочь за такую непозволительную трату казенного имущества.

Наконец она прочла заявление Иванова, и сразу глаза лейтенанта милиции утратили прежнюю добрую и зовущую влажность, а высохли до стального блеска. Девушка поднялась, не глядя на Иванова, и молча спрятала заявление в сейф.

– Когда зайти? – спросил студент.

– Вам сообщат, – сухо ответила девушка в синей форме и показала на дверь.

Вечером, сразу после лекций, Иванов был у Коганов.

– Я думала, ты уже никогда не придешь, – сказала Наташа.

– Это почему? – спросил Сергей.

– Ну, мы теперь вроде как прокаженные, – сказала Наташа Коган. – С нами опасно.

– Я тебя люблю, – сказал Сергей Иванов. И обрадовался,

потому что прежде, так непринужденно и легко, он не мог выговорить эту простую фразу.

А на следующий день за Ивановым пришли прямо в общежитие. Всего один человек за ним пришел, с виду совсем не страшный, но при оружии. Никто этому не удивился, и Сергей Иванов тоже.

На первом допросе у студента спросили: «Ты что, сука, шутишь так?»

– Нет, – ответил Сергей. – В тяжелую минуту для еврейского народа я бы хотел быть в его рядах.

– Бабу поимел, небось жидовку? – резонно поинтересовался следователь.

– Нет, – ответил Сергей и не солгал, потому что с Наташей своей не был в половой близости.

Иванова направили на экспертизу в местную лечебницу для душевнобольных. Психиатр, тихий, седенький старичок, долго разговаривал с ним на разные сторонние темы, а потом вдруг спросил напрямик:

– Куда тебя, парень, на излечение или в лагерь?

– Лучше в лагерь, – сказал Иванов.

Но до суда выдержал он дюжину допросов с побоями. Следователи решили сшить с его помощью целое дело. Соседей по общежитию допрашивали, но те и в самом деле не знали, с кем из «агентов Джойнта» их бывший друг был связан.

Суд состоялся в середине февраля. Сергей Иванов получил по 58-й статье обычный срок – 10 лет лагерей, но с правом переписки. Отсидел студент всего два года. Был освобожден «по полной», за отсутствием состава преступления.

Как раз перед выходом на свободу встретился Иванову человек умный и, как показалось Сергею, не злой. Только этому человеку он и поведал свою историю. Друг по несчастью внимательно выслушал длинный рассказ, а потом сказал всего одну красивую фразу, забыть которую не может Иванов по сей день.

Он сказал: «Я и раньше так думал. Страх правит миром. Но любовь сильнее страха».

В институте Иванова восстановили на прежнем курсе. Защитил Иванов диплом летом 1957 года, а осенью, получив назначение на машиностроительный завод в городе Челябинске, зарегистрировал свой брак с Наташей Коган. Жили они вполне счастливо, родили троих детей и дождались внуков. Сорок лет проработал Сергей на одном месте и ушел на пенсию с должности

заместителя начальника инструментального цеха.

А теперь расскажу о развязке этой истории, благодаря которой я и узнал ее в подробностях от самого Иванова Сергея Петровича. Недавно его семья в полном составе перебралась в Израиль на постоянное место жительства.

В нашем «паспортном столе» Иванов спросил, может ли он наконец изменить свою национальность, стать евреем. Он даже сделал попытку рассказать русскоязычной чиновнице свою давнюю историю. Та улыбнулась словоохотливому, наивному старику и сказала, что законы Государства Израиль не позволяют это сделать без прохождения гиюра.

Новый оле спросил, что это такое? Ему терпеливо объяснили.

– Нет, – подумав, сказал Иванов. – Не потянуть. Годы не те.

Новоприбывшего искренне расстроила очередная невозможность стать евреем. Сергею Петровичу, если честно, было все равно, кем дожить свой век. Опечалился он по другому поводу. Знал Иванов: отойдут они с Наташей в другой мир, а лежать рядом на кладбище не смогут.

2001 г.

Хуже убийцы

После парной, хорошей выпивки и вкусной закуски не положено говорить о дурном, но так уж вышло, что пошла речь о грехах юности. И вовсе не потому, что о грехах этих с возрастом приятно вспоминать, а совсем по другой причине.

Евгений Маркович Желток (есть и такая смешная фамилия) – господин необыкновенно тощий, совершенно седой, но розовощекий, как красная девица, стал, по обыкновению, жаловаться на свою жену Софью Абрамовну. Была эта дама и в самом деле личностью мерзкой, пребывающей постоянно в дурном настроении духа, и немудрено, что при этом она обладала уникальной способностью погружать всю компанию в мутное болото смертельной тоски.

Стоило этой Софе только открыть рот, как сразу же и всем собравшимся казалось, что в мире нашем нет ничего, кроме пошлости, глупости и смерти. С особенной силой умела эта скаредная женщина ругать Израиль. В еврейском государстве ей не нравилось все, и прежде всего, сами евреи.

Евгений Маркович, напротив, пессимистом и ругателем не был. Мало того, Желток умел радоваться сущим пустякам, а анекдоты рассказывал с таким актерским блеском, что никто в его присутствии и не думал вступать с ним в поединок со своей, пусть и достаточно смешной, байкой.

Как уживались эти двое на протяжении тридцати пяти лет, понять было трудно. Но уживались, даже двоих детей родили и дождались внуков. Однако такой положительный результат семейной жизни не мешал Евгению Марковичу при каждом удобном случае эту личную жизнь проклинать. Впрочем, делал он это с легким, незлобивым юмором, а потому и ругань в адрес жены воспринималась слушателями, как забавный очередной анекдот.

Софья Абрамовна редко сопровождала мужа. В парной она не потела, пьянство терпеть не могла и соблюдала строгую диету. Обычно Евгений Маркович использовал отсутствие супруги для очередного веселого рассказа о злом нраве своей благоверной, но на этот раз что-то с ним произошло. Да и выглядел Желток как-то непривычно, бледен был смертельно и повел речь без обычных шуток-прибауток.

– Грехи наши, – сказал Желток. – Всё от них: и пот, и кровь, и все несчастья жизни.

Никому эта преамбула не понравилась. Место и время для подобных откровений Евгений Маркович выбрал неудачно.

Хозяин бани подлил пива в кружку тощего приятеля и подвинул к нему блюдце с очищенной воблой.

– Брось! – сказал он. – Что было, то прошло. Давай, Женька, лучше анекдотец.

– О чем? – мрачно поинтересовался Желток.

– Про любовь плотскую, – предложил, облизнув губы, третий в компании, лучший друг дома по имени Арнольд.

– Будь она проклята, любовь эта, – не притрагиваясь к кружке, негромко произнес Евгений Маркович. – Сколько от нее несчастий, смертей, жизней разбитых… Какие тут анекдоты… Одни грехи… И не прошли они… Уйти не могут. Все с нами… Вот мы тут сидим, ни о чем плохом не думаем, а оно с нами.

– Что оно-то? – спросил Арнольд.

– Грехи, – опустил голову Евгений Маркович.

– Ты что, в Бога стал верить? – тяжко вздохнул хозяин бани.

– Не знаю, – совсем уж тихо отозвался Евгений Маркович. – Точно известно, моя-то, благоверная, – наказание за мой же грех… За ложь, за комедь подлую…

– Знаешь, иди ты к раввину, ему и кайся, – посоветовал Евгению Марковичу Арнольд.

В ответ Желток посмотрел на лучшего друга дома совсем уж непонятно, даже с мукой какой-то.

Здесь необходимо отметить, что в России Желток был кандидатом наук, профессором, преподавал студентам вуза что-то вроде научного атеизма, но, к счастью, имел хобби: увлекался автомобильным транспортом, с юности сидел за рулем собственного авто и починить мог любую развалюху.

В Израиле бывший профессор работу по этой, настоящей, «железной» специальности нашел сразу, даже возраст зрелый не помешал ее получить. Трудился Желток в техническом центре «Мазда» и зарабатывал совсем неплохо. О прежней своей ученой доле он забыл, как о дурном сне, и не любил, когда ему напоминали о давнем способе «рубить капусту».

– Гады вы все, – поднявшись во весь свой немалый рост, сказал Желток. – Веники березовые! С вами только дурака и валять. Слово по-человечески нельзя сказать.

– Говори, – разрешил хозяин бани и налил водочку в рюмку обиженного, решив, что предложение пива было ошибкой. – Только выпей!

– Не хочу! – решительно отказался Желток и, не прощаясь, направился к выходу из сада в четыре дерева, где компания обычно и отмечала «банный день».

– Конец света, – вздохнул Арнольд. – Что это с ним?

– Бывает, – сказал хозяин бани. – Софа достала. Это точно.

Но Евгений Маркович не ушел. Он вернулся. Вновь молча занял свое место, выпил рюмку водку и сказал, не закусывая:

– Свою жизнь разбил, Софы в осколки и Надюшину вдребезги.

– Кто это – Надя? – спросил Арнольд.

– В одном классе учились, – уставился куда-то, поверх голов присутствующих, Желток. – Надя меня любила с восьмого класса, а я любил Софу.

– Тоже с восьмого? – спросил хозяин бани.

– Тоже, – кивнул Евгений Маркович. – Был у нас кружок художественной гимнастики… Я ее там увидел в трико, и все – запал намертво.

Тут хозяин бани не выдержал и рассмеялся.

– Я что сказал смешного?! – заорал на него, вскочив, Желток. – Я что сказал?!

– Извини, – опешил хозяин бани. – Я себе твою Софу в трико представил – все сто двадцать килограммов.

– Дурак, – успокоился Евгений Маркович, но садиться не стал, отошел к ближайшему дереву, взялся за ствол и продолжил, стоя спиной к друзьям по пару: – Хуже любой болезни эта любовь. Ходил за ней, как привязанный. Три года ходил, домогался. К губам пускала, а ниже ни-ни. Школу дневную бросил. На завод пошел, чтобы у отца рубли не клянчить. В кино Софу водил за свои, в кафе, за город ездили, к заливу… Надя ее лучшей подругой стала. Теперь так думаю, что из-за меня, чтобы к нам быть поближе. – Желток вернулся к садовой мебели, сел, налил рюмку водки, выпил.

– Ты закусывай, закусывай, – посоветовал Арнольд, и Евгений Маркович совет принял. Пережевывал воблу он слишком долго и, похоже, рассказ свой не собирался продолжить.

– Ну а про грех когда? – не выдержал хозяин бани.

– Грех? – поднял на него глаза Желток.

– Ну, ты же каялся.

– Да, да, – кивнул Евгений Маркович. – Школу как-то закончил – вечернюю, в институт поступил, и нас сразу отправили на картошку. Деревня Беседы называлась. Там совхоз: два старика, три бабы и поле гниющей под дождем картохи. Жили в бараке прямо у поля. Молоко нам возили с ближайшей фермы, бульбу пекли на костре – тем и жили. Меня определили к гужевому транспорту. Запрягать научили – дело нехитрое. Потом по грязи шел за телегой, ящики на нее грузил с той же грязью – вперемешку с картошкой. И вся работа… Ну вот, один раз запрягаю утром свою клячу, а мне несут телеграмму с почты, а в телеграмме: «Милый, люблю, не могу без тебя. Я твоя. Софа»… Я уж не помню, как отпросился, как до города добрался. Несусь к

ней бегом, но у самого подъезда сталкиваюсь с Надей. Она встала в дверях. Меня не пускает и говорит: «Не надо, Женя, не надо. Не любит она тебя». Должен сказать, что перед самой картошкой я с Надей сошелся. Там отказа не было. Я, чтобы отомстить Софе, сошелся, ревность ее вызвать – такой был подлый расчет. – Желток замолчал, и было не похоже, что он намерен продолжать рассказ.

– Обычное дело, – сказал хозяин бани. – Ну, пошел ты к Соне?

– Пошел… Прорвал «оцепление» и пошел. – Желток налил еще водки, но пить не стал, а продолжил: – Такой стал великий победитель той осенью. Будь они прокляты, эти победы! Не любит она меня, как не любила сорок лет назад, так и не любит. Отсюда злость. Подарком никогда не была, а тут вовсе ведьмой стала.

– А Надя? – спросил Арнольд.

– Погибла, лет двадцать назад. Дважды замуж выходила, но детей не было… Однажды вышла из дома, стала улицу переходить прямо под колеса грузовика… Вот тебе и победа! Троих убил: Надю, себя, Софу… Она, может, кого и полюбила со временем, другой бы человек получился.

– Ну, ты уж совсем в палачи себя, – сказал хозяин бани. – У каждого, поди, такой грех найдется, если поискать. Тоже мне – убийца.

– Хуже я, – пристально посмотрел на него Желток, хотя было непонятно, что может быть хуже убийцы.

Вечер был вконец испорчен. Все чувствовали, что произошло нечто непоправимое. Спиртное допили молча и мрачно, будто каждый вспоминал о своей молодости, о своих грехах… Потом вдруг Арнольд развеселился.

– Тут мне анекдот рассказали, – начал было он.

– Заткнись, – тихо, но властно посоветовал лучшему другу дома хозяин бани.

Кто убил Сталина?

Музыка – необходимое и достаточное доказательство существования Бога.

Курт Воннегут

Днем, 13 января 1948 года, хозяину доложили по телефону, что объект ликвидирован. Товарищ Сталин улыбнулся и повесил трубку… Нет, не так: он сначала повесил трубку и только потом улыбнулся. Хозяин редко позволял себе улыбаться при свидетелях. Докладчик на том конце провода и был своего рода свидетелем.

Улыбку Сталина вызвал даже не факт точного исполнения приказа, а само слово «ликвидирован». Короткое, точное слово, способное раз и навсегда перечеркнуть возникшую проблему.

Хозяин любил не решать, а ликвидировать проблемы. Затем уже без улыбки, сжав тонкие губы, представил себе тело этого странного человека, смятое колесами тяжелого грузовика. Он без труда представил себе картину ночного убийства, раздробленные кости, изуродованное лицо жертвы, кровь на снежной пороше.

Не только личное присутствие при казнях и пытках доставляло подлинное удовольствие Иосифу Виссарионовичу, но и способность к воображению. Он был творческой личностью и легко мог себе представить мучительную смерть и одного человека, и дюжины, и даже миллионов.

Затем он опустился в кресло, и рука хозяина сразу же нашла заправленную табаком сладких папирос трубку, но вдруг ему совершенно расхотелось курить. Товарищ Сталин поднялся, погасил горечь во рту стаканом боржоми и вырвался из внезапной муки одиночества, включив радиоприемник.

Он ждал привычных славословий в свой адрес. Хозяин относился к этим пафосным словам, как к обязательной молитве, но в то же время и наркотику, без которого он уже не мог жить.

Но на этот раз товарищ Сталин не услышал славословий. Радиоприемник одарил его музыкой: концертом для фортепьяно с оркестром. Простая, чистая до прозрачности, мелодия не имела никакого отношения к хозяину. Она была продиктована композитору Б-гом или обращена к Б-гу. В любом случае: сам он – хозяин, ликвидация объекта, кровь на снегу – не имели к музыке этой никакого отношения.

И звучала она будто из иного пространства, над которым

товарищ Сталин не был властен. Он знал, что его тело окружено плотным, практически непроницаемым кольцом охраны, но вдруг, и со страхом, подумал, что охрана эта не имеет никакого смысла, если есть на свете такая организация звуков.

Хозяин любил музыку, особенно балеты Петра Ильича Чайковского. Он прощал этому композитору его гений за стон, мольбу о прощении, слезы. Ему была понятна музыка-жалоба Чайковского. Она никак не посягала на власть товарища Сталина, но сейчас с ним пробовали говорить на равных. Мало того, несмотря на легчайший язык мелодии, насмешливо, свысока и снисходительно.

В первое мгновение хозяином овладел приступ гнева. Он даже протянул дрогнувшую руку, чтобы выключить радио, но что-то заставило товарища Сталина остановиться. Он, тайный мистик, вдруг с ужасом подумал, что услышанное не имеет никакого отношения к эфиру, и не зеленоглазый мерцающий огнями ящик стал источником внезапной шумовой атаки на его мозг. И нет никакого смысла глушить радиоволны, потому что музыка эта не перестанет звучать.

Хозяин так и остался стоять у радиоприемника, несмотря на то что в какой-то момент сердце его внезапно забилось в непривычном, давно забытом ритме, связанном, скорее, не с искусством, а актом любовным. Сердце, впрочем, довольно быстро успокоилось, но возникла колющая боль в виске, затем головокружение, и хозяину даже показалось, что он может упасть.

Товарищ Сталин не упал, но смог отойти от радиоприемника только тогда, когда услышал бесстрастное объявление диктора: «Исполнялся 23-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта. Партия рояля – Мария Юдина, дирижер – Александр Гаук».

Хозяин знал, что перед любым решением следует сделать паузу, но немедленно попросил связать его с радиокомитетом. Музыку эту следовало приручить, сделать обычным, привычным, подвластным шумовым фоном.

– Сейчас был концерт, композитор Моцарт, – сказал он. – Хороший концерт. Привезите мне пластинку, хочу еще раз прослушать.

На том конце провода отрапортовали, что пластинка будет доставлена немедленно.

– Не надо немедленно, – поморщился хозяин. – Можно и утром… завтра.

Он повесил трубку и сразу забыл о своем внезапном капризе, вызвал секретаря с сегодняшней почтой и занялся неотложными хозяйственными и политическими делами.

Хозяин понятия не имел, что его невинная просьба привела к

настоящей панике в радиокомитете. Дело в том, что никакой пластинки с записью именно этого концерта Моцарта не существовало, а случился живой эфир, даже без параллельной записи звука, как это обычно практиковалось во время передачи свободных от цензуры классических произведений далеких веков.

Начальник радиокомитета узнал об этом от музыкального редактора.

– Пластинка нужна к утру, – сказал он.

– Это невозможно, – растерялся редактор.

– Ты знаешь, какая сейчас погода в Верхоянске? – спросил начальник радиокомитета.

– Я думаю – холодно, – ответил редактор.

– Градусов пятьдесят мороза, не меньше, – сказал начальник радиокомитета и добавил, выдержав красноречивую паузу: – Птицы на лету замерзают.

Не было нужды в этом уточнении. Редактор все понял и развил бешеную деятельность по срочному сбору оркестрантов. Скрипачи, трубачи и барабанщики тоже были в курсе насчет климата за Полярным кругом, и отказа в большинстве случаев не было. Случилась неувязка с альтистом Бронским и флейтистом Погосяном.

Эти музыканты хлебнули лишнего в ресторане «Арагви», и привести их в должное состояние не представлялось возможным. Пришлось срочно искать замену, что и было незамедлительно сделано.

С пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной проблем никаких не возникло. Женщина эта почитала за великое счастье исполнить лишний раз гениальное произведение венского волшебника. В студию звукозаписи она явилась одной из первых и приветствовала собравшихся к тому времени музыкантов бравым арпеджио из вступления к 23-му концерту.

Солистка всячески стремилась снять напряжение, вызванное внезапным вызовом и особой ответственностью. Удалось ей это только отчасти. Нужно сказать, что дирижера пришлось менять трижды за ночь, что, бесспорно, сказалось на качестве записи, но мастерство Марии Вениаминовны в значительной степени скрасило этот недостаток, да и заказчик был не таким уж меломаном, чтобы судить о мелких шероховатостях в игре мобилизованных на ночное бдение музыкантов.

В общем, к девяти часам утра пластинка была готова. Ее оформили должным образом, поместили в роскошный конверт и отправили по указанному адресу со специальным курьером, прибывшим к радиокомитету точно в указанное время.

Получив запись концерта, хозяин, оставшись в одиночестве,

сразу же поставил пластинку на бобину проигрывателя… Через десять минут он понял, что приручить Моцарта ему никогда не удастся, и почувствовал что-то вроде уважения к этому, давно усопшему, композитору. Моцарт не умел жаловаться и просить о снисхождении. И на этот раз поединок с концертом хозяин проиграл.

Товарищ Сталин дождался финальных аккордов и вызвал секретаря.

– Отправьте этой пианистке десять тысяч рублей… Как ее фамилия?

– Юдина, товарищ Сталин, – доложил секретарь.

– Отправьте пианистке Юдиной двадцать тысяч рублей, – поправил сумму хозяин.

Деньги эти Марии Вениаминовне были незамедлительно переданы, и она поблагодарила отправителя таким письмом: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу помощь. Я буду молиться за Вас денно и нощно и просить Господа, чтобы он простил Ваши прегрешения перед народом и страной. Господь милостив, Он простит. А деньги я отдам на ремонт церкви, в которую хожу».

Хозяин прочел эту краткую записку и удивился.

– Какой Господь, какая церковь? – спросил он. – Она же еврейка, эта Юдина.

– Крестилась, и давно, товарищ Сталин, – доложил секретарь.

– Жид крещеный, что вор прощенный, – пробормотал хозяин, брезгливо отодвинув от себя благодарность Юдиной. – Ладно, простим и мы ее.

Марию Вениаминовну не тронули, даже в худшие времена борьбы с космополитизмом и сионизмом. Это она и Моцарт тронули вождя народов.

Дмитрий Шостакович, и не один он, свидетельствует, что пластинку с 23-м концертом хозяин слушал в свою последнюю, роковую ночь. Видимо, ему так и не удалось ощутить власть над музыкой Моцарта.

Дело, вполне вероятно, было так: в тот день соратники сообщили вождю, что процесс врачей-убийц практически завершен и скоро можно будет приступить к окончательному решению «еврейского вопроса» в СССР.

«К ликвидации сионистов-отравителей», – сказал один из соратников.

Хозяин, как и тогда, в день убийства Соломона Михоэлса, остался один и невольно улыбнулся этому решительному слову-точке, но теперь оно относилось не к одному раздавленному

колесами автомобиля великому артисту, а к сотням тысяч перепуганных до смерти, беззащитных людей.

Он улыбнулся еще раз, представив, как будут умирать все эти ликвидированные по его воле люди, затем почему-то вспомнил о концерте Моцарта. Пластинка всегда стояла наготове, но уже не та, записанная в ночь музыкального штурма и натиска. Первая давно пришла в негодность.

И точно так же, как в тот роковой день, 13 января 1948 года, хозяин был захвачен небесным магнетизмом музыки. Моцарт и Юдина перенесли его в иное пространство, где занимался рождением и ликвидацией рода человеческого не он, а Г-сподь Б-г.

И точно так же, как в тот зимний день, сердце хозяина забилось учащенно, а затем резкий удар в висок лишил сознания товарища Сталина. Он лежал на ковре, мокрый, в моче, умирая, ликвидированный Высшей силой и по Б-жьему суду.

А игла все еще скользила по пластинке, и звучала музыка торжества человеческого гения и радости… Хозяин был недостоин реквиема.

Теперь, когда я слышу разговоры, что Сталин умер не своей смертью, а был убит, я не собираюсь спорить с упрямыми сторонниками «теории заговора». Я знаю точно, что вождя народов убила Мария Вениаминовна Юдина и Вольфганг Амадей Моцарт.

2008 г.

Спаситель

Бывает так: живет себе человек спокойно, думает о том, о чем полагается думать… Ну, там о здоровье, о деньгах, в общем, о разных привычных житейских проблемах, но вдруг происходит с ним полное безобразие: он начинает форменным образом маяться по какому-либо дурацкому поводу.

Именно эта неприятность и случилась с Басовым Ефимом – солидным мужчиной шестидесяти лет от роду. Все началось, как это часто бывает, с ночного сновидения. Во сне привиделся Ефиму давно забытый провинциальный городишко юга России, точнее, хилый фонтан на центральной его площади и Матвей Гендлер, моющий босые ноги в брызгах этого фонтана. Во сне Ефим решил, что такое омовение опасно: вот-вот появится милиция и арестует Гендлера за это безобразие. Он стал показывать сначала одними знаками, а потом заорал в голос, что Матвею нужно быстрей сматываться, иначе… Тут Гендлер словно услышал его крик и, не раздеваясь, нырнул в бассейн, а бассейн-то оказался и не бассейном вовсе, а бурным потоком, несущимся к водопаду. Вот плывет Гендлер по этому потоку кролем, а Басов бежит по берегу, ясно понимая, что спасти плывущего от неизбежной беды он уже не сможет. И все же Ефим решил броситься в воду, чтобы оказать помощь плывущему, но как только бросился, так и проснулся.

Сон этот подействовал на Басова странным образом, и настолько странным, что он, человек далекий от суеверий, решил спросить у жены, что бы это ночное видение могло значить. Жена Ефима, напротив, была дамой крайне суеверной, верила во все мыслимые и немыслимые приметы, а по расшифровке снов могла считаться первоклассным специалистом.

– Не к добру сон-то, – сказала жена, выслушав Басова. – Кто такой этот Матвей Гендлер?

Ефим рассказал, что сразу после института по распределению отправили его работать мастером на ткацкую фабрику в городе Т. Определили на жительство в общежитие до лучших времен. Фабрика Ефиму понравилась, и с работой он начал справляться, но однажды ночью, из-за девушки, конечно, попал не туда, куда надо бы, и встретился с теми, с кем лучше не встречаться.

Граждане города Т. нашли Ефима только утром в ограбленном и растерзанном виде, без признаков жизни. Даже врач «скорой помощи», прибывший часа через полтора, решил, что Басов не жилец на этом свете, но так как он еще дышал робко, отвез Ефима в районную больничку.

– Ничего, в нашем морге всегда места есть, – пробубнил санитар «скорой», заталкивая в салон носилки с Басовым.

Ефим обо все этом смело и определенно рассказал жене, потому что доподлинно выяснил подробности своего несчастья еще в той больничке, незадолго до выписки.

Так вот, в морг он тогда все-таки не попал, а попал на операционный стол, в руки тому самому Матвею Гендлеру, которого увидел во сне ровно через тридцать пять лет после той трагической страницы в своей биографии.

Матвей был ненамного старше Басова, но в больнице оперировал уже три года и стал за это время настоящей звездой на медицинском небосклоне этого провинциального центра.

– Золотые руки, бог, будущий академик, – именно такими комплиментами осыпали молодого специалиста. За Гендлером стали присылать из области, ходили слухи, что зовут его на работу в Москву – чуть ли не в Кремлевскую больницу: надзирать за Леонидом Брежневым и прочими членами Политбюро. А не оставлял молодой хирург город Т. по причине своей большой влюбленности в медицинскую сестру Катерину. Катерина, опять же по слухам, никуда из родного города перебираться не хотела.

Так вот, этот Матвей Гендлер пять часов возвращал Ефима к жизни. Рассказывают, что после операции он не мог стоять на ногах и сел прямо на пол, прислонившись спиной к холодной батарее парового отопления.

Потом Басову рассказали, что умирал он на столе трижды, и никто, кроме Гендлера, не верил, что пострадавший от бандитского насилия выживет.

Тогда, в молодости, Ефим не придал особого значения этому событию. Его и выписали через месяц из больницы так поспешно, что не успел он попрощаться со своим спасителем и сказать ему спасибо.

«Ничего особенного, – думал он тогда. – Врач выполнил свой долг, и я выполнил свой долг перед семьей, родиной и производством, оставшись в живых».

– Надо бы тебе с ним свидеться и это… спасибо сказать, – выслушав Ефима и подумав, тихо произнесла жена Басова. – А может, и неприятность какая с ним, а ты как раз на подмогу.

– Брось! – отмахнулся Ефим. – Сколько лет прошло. Возможно, он и не живой уже… Забыл обо мне совсем – это наверняка… Впрочем, не знаю… Мне как-то одна противная санитарка в той больнице прошамкала, что еврей еврея в беде не оставит. Такая у нас нация.

– Вот видишь, – вздохнула жена. – Не все так просто.

На этом вроде бы и завершился тот автобиографический

экскурс. Так решил Басов, но с решением этим поторопился, потому что мысль о том спасибо, которое он не успел сказать своему спасителю, стала мучить его каждый день.

Надо отметить, что в Израиле к тому времени жил Басов уже двадцать лет. А прежде сидел он в отказе аж четыре года, а потому считал себя, и не без оснований, настоящим патриотом Израиля, придерживался правых взглядов, голосовал за партию «Ликуд» и не стал жить на территориях, в поселении, только из-за бешеного сопротивления жены и детей.

О политике он думал и говорил постоянно; был в курсе всех текущих событий, интересовался историей еврейского государства… Можно даже сказать, что политика была чем-то вроде хобби Басова. И вдруг он перестал думать о терроре и ЦАХАЛе, больше не проклинал вероломные международные организации, «пляшущие под дудку арабов»… Басов будто ушел в себя, точнее, в ту давнюю историю травм, несовместимых с жизнью, и своего волшебного спасения на операционном столе золотыми руками хирурга Матвея Гендлера.

Прежде он меньше надоедал домашним политикой, чем нынче разговорами о своем долге, который то ли не смог, то ли не успел отдать своему спасителю.

– Папа, – сказала как-то дочь, которой изрядно надоело запоздалое покаяние отца. – Давай найдем этого Гендлера, и ты ему скажешь все, что не успел сказать тогда.

– Где ж его теперь найдешь, – вздохнул Басов. – Столько лет прошло.

– Талантливого еврея нужно искать в Америке или в Израиле – больше негде, – заявила дочь.

От слов она незамедлительно перешла к делу, и в течение дня обнаружилось, с помощью компьютера конечно, что Гендлер Матвей Абрамович живет не только в Израиле, но всего лишь в двадцати километрах от Басова, в городе Явне.

– Вот тебе телефон, – сказала дочь. – Звони.

– Не может быть, – не поверил Ефим. – Это другой Гендлер.

Но он ошибся. Матвей Гендлер оказался именно тем Гендлером. Мало того, он живо вспомнил операцию Басова и очень обрадовался восторженной благодарности своего старого пациента.

Уже на следующий день Ефим помчался в супермаркет, купил бутылку лучшего коньяку, торт, коробку конфет, цветы, фрукты и еще какую-то положенную в таких случаях ерунду.

В гости к спасителю отвезла его внучка – серьезная девица двадцати одного года, только что отслужившая в армии.

Гендлер жил на окраине Явне в небольшой, но собственной

вилле. Басов сказал ему все слова, которые собирался сказать, да еще и прибавил, что его внучка никогда бы не родилась на свет, если бы не мастерство удивительного человека, которого она видит перед собой.

Потом было застолье. Гендлер рассказал Басову, что в самом начале восьмидесятых он все-таки, защитив докторскую диссертацию, перебрался в Москву, а репатриировался всего лишь десять лет назад по вызову на работу в одну из крупных клиник Израиля.

Он в полном порядке, но все-таки был недоволен переездом, жаловался на скуку, на отсутствие привычных развлечений, долго говорил о Москве, как о мировой столице, полной денег, огня и жизни.

Потом, уже на последних рюмках коньяка, разговор зашел об Израиле, и Басов, к ужасу своему, обнаружил, что его спаситель настоящий левак и даже член партии «Мерец».

Он не мог сдержаться, стал спорить, доказывать Гендлеру, что эвакуация поселений приведет к концу еврейского государства. Гендлер же в ответ начал кричать, что священная обязанность евреев нести в мир идеалы добра и справедливости, а бесконечные войны с соседями – это потеря самих себя, своей избранности.

Басов на это заорал, что это дорога в новый Аушвиц, а Гендлеру нужно не в его злосчастной партии состоять, а в «Натурей Карта» сидеть, предавая и продавая родное государство… В общем, встреча эта закончилась совсем не так, как началась. Плохо она закончилась. Прощание стариков оказалось сухим, подразумевающим невозможность контактов в дальнейшем.

Потом, в машине, Ефим говорил внучке:

– Знал бы, ни за что не стал бы его благодарить, на коленках ползать… Какая все-таки сволочь!

– Брось, дед. Он же тебя все-таки спас, – рискнула напомнить внучка. – Да и черт с ней, с этой политикой.

– Лучше бы не спасал! – выпалил в сердцах Басов.

Затем, до самого дома, они молчали. Ефим все печалился над неудачей долгожданной встречи и вдруг подумал, как вероломна судьба, а позорная левизна Гендлера – это месть и наказание Басову за то, что не смог он вовремя сказать своему спасителю спасибо. А еще, успокаивая себя, он подумал, что все, чем он жил в последнее время, все-таки сущие пустяки по сравнению с теми пятью часами в операционной захолустной больнички, когда колдовал полуживым Басовым Матвей Гендлер, возвращая его к жизни.

Но самое обидное в этой истории то, что замечательному хирургу было плевать на партийность спасенного им некогда человека. Жизненный опыт давно подсказал Гендлеру, что друзей-приятелей заводить крайне опасно: замучают жалобами на хвори, просьбами излечить, спасти – и все по долгу дружбы, никак иначе. Честно говоря, и Басова заподозрил Гендлер в подобной корысти, а потому и кивнул ему сдержанно на прощание.

Завтрак для котят

Как они любили животных – эти старики! Сколько же им, любящим, было лет? По крайней мере, не меньше семидесяти. Утром старики приходили к котятам, в обязательном порядке приходили, будто это посещение входило в расписание дня и установленный порядок жизни. Котята жили в картонном ящике у ступеней санатория. Старики целой группой останавливались поодаль. Каждый из них приносил милым, пушистым, игривым зверушкам что-либо вкусненькое. Даже сметану в блюдцах приносили старики котятам. И о маме котят – белой ухоженной кошке с черным хвостом – они не забывали. Кошачьей маме старались поднести еду отдельно, но она, на радость старикам, все относила своим детям и терпеливо ждала, пока они насытятся. Они стояли и смотрели на это чудо природы, и выцветшие голубые глаза стариков увлажнялись доброй и светлой влагой.

Это настоящий умный порядок в жизни, когда ухоженные, прекрасно одетые пожилые люди кормят котят, а котята благодарят их за это радостной готовностью следовать на зов и своими веселыми играми. У многих стариков болели ноги. Кое-кто опирался на палку, был в группе даже один несчастный человек на коляске, но все они смотрели на котят так, будто это зрелище было главной оздоровительной процедурой. Кто-то любовался котятами молча, кто-то не мог сдержать эмоций и рассказывал соседу или соседке, что он чувствует, глядя на милых животных.

Я мог только догадываться, о чем говорили старики. Я не знаю немецкого языка, но знаю иное. Знаю, что почти все эти добрые люди, мужчины и женщины, когда-то состояли в известной организации гитлерюгенд и кричали своему фюреру: «Зиг хайль!» Они кричали это в строю, в своих летних лагерях, и когда поднимались в классе, приветствуя учителя. Кричали, конечно, по-разному: одни заученно и равнодушно, другие – «с душой», но кричали все, нельзя было не кричать. Крики эти входили в тот давний порядок жизни, точно так же, как кормление котят в современные правила игры. Тогда дети Германии не могли поступить иначе. Родители этих нынешних стариков бились на фронтах (восточном, южном и западном), а также решали «еврейский вопрос». Они рисковали своей жизнью, а дети военных людей должны были готовить себя стать достойной сменой родителям. Вот они, несмышленыши, выбрасывали ручонки вперед и кричали: «Зиг хайль!» А потом,

после войны, кто-то из них кричал: «Ура Сталину!», а кто-то коммунистов проклинал, голосуя за канцлера Аденауэра и свободную Германию. Таков был послевоенный порядок. На плечи нынешних стариков лег тяжкий груз восстановления своей страны. Они справились с этой задачей. И вот теперь старики достойно и обеспеченно продолжают свою жизнь, следят за здоровьем, ходят рука об руку со своими фрау (такая нынче мода) и вот теперь стоят у ступеней санатория и смотрят, отдыхая сердцем, на завтрак и потешные игры котят. Все прошло. Все забыто в этом величественном тихом осеннем парке, на берегу полноводной реки. Все забыто, и старики немцы кормят котят и любуются ими. Вот мой знакомый старик, которому явно за восемьдесят. Он успел послужить во славу рейха. В кого стрелял этот сгорбленный старец? А может быть, ни в кого он не стрелял, а всего лишь морил голодом заключенных концлагерей. А теперь он наверняка раскаялся и кормит котят сметаной.

Я не мог спросить старика, где он был во время войны. Не мог бы этого сделать, даже зная немецкий язык. Это так бестактно и жестоко: спросить у больного человека, очень преклонного возраста, где он был во время войны десятки лет назад. Да и глупо спрашивать. У старика есть своя легенда о том, что он делал в армии Гитлера. Он давно затвердил эту легенду. Он так часто ее повторял, что и сам поверил в то, чего не было… Каждый день встречался с этим немцем в лифте. Я садился в лифт на шестом этаже, он входил в кабину на третьем. Старик был безукоризненно воспитан и приветствовал всех словами и милой улыбкой, и меня, в том числе, тоже приветствовал. Мне казалось, что мою персону он отличал особо. Искренне был рад моему семитскому облику – этот старик. Он был так рад, что мы с ним вместе, в этом санатории, в этой кабине лифта. Однажды он обратился ко мне по-немецки. Я ответил на английском языке, что не понимаю его слов. Старик очень удивился: как это можно не понимать нормальную человеческую речь? Судя по всему, он весело сказал мне об этом. Он вообще казался веселым, улыбчивым и добрым стариком. И был, конечно, рад, что доживает свои дни спокойно, не погиб тогда на фронте и не был казнен победителями. Он был рад, что может лечить свои больные ноги, ходить на концерты симфонической музыки (их часто проводили в культурном центре санатория), а по утрам кормить котят и любоваться их играми, поддерживая славный порядок в этом парке. Мир и покой царили в душе старика. Я знал, что его зовут Вольфганг. Замечательное имя, так звали Моцарта. Мой знакомый старик очень любил симфоническую музыку. Однажды я слышал, как он насвистывал мелодию из

Седьмой симфонии Бетховена. Старик ковылял по улице имени великого немецкого композитора и насвистывал именно эту мелодию…

Вольфганг каждый раз приходил любоваться котятами. Даже в дождь он приходил, спрятавшись под зонтом. Ящик с котятами закрывали пленкой. Котятам было сухо и тепло рядом с мамой, и старик наливал в плошку из бутылочки молоко, взятое во время завтрака. Сам старик молоко не пил никогда. Я заметил это. Следовательно, он имел полное право поить молоком котят, не нарушая порядка. Мне он был симпатичен – этот Вольфганг. И так хотелось, чтобы он, по каким-то причинам, получил в свое время «белый билет» и не служил в армии Гитлера. Я сам был готов сочинить легенду, согласно которой богатый, очень богатый отец парня сумел купить своему сыну освобождение от армии, потому что, кроме всего прочего, ненавидел фашизм и сопротивлялся кровожадному режиму по мере сил. Отца Вольфганга, конечно, звали Людвиг, как и Бетховена. Людвиг родил Вольфганга – это так замечательно! Но мне пришлось забыть о своей легенде. Над парком, высоко, в чистом небе, чуть ли не каждый день оставляли свой росчерк реактивные самолеты. Однажды увидел, с каким восторгом следил «мой старик» за следом от невидимой воздушной машины. Рядом с ним стоял другой пожилой немец, и Вольфганг вдруг стал показывать ладонями этому человеку фигуры высшего пилотажа. Он демонстрировал их, выпрямившись, с видимым восторгом и знанием дела. Нет, он почти наверняка во время войны был летчиком. На «мессере» летал или на «хенкеле», был истребителем или бомбардировщиком, а вот теперь с тоской вспоминал о своих подвигах. Понимаю, что это тоже легенда, но она гораздо ближе к действительности, чем сочиненная мной прежде…

Старики немцы кормили котят. Старики евреи из этого санатория не делали этого. Место было занято? А может быть, были они не сентиментальны или не любили домашних животных? Старики немцы и старики евреи встречались, как правило, на концертах классической музыки. Они сидели рядом и слушали бессмертные мелодии великих композиторов. Старикам евреям тоже было много лет. Большая часть из них чудом спаслась в свое время от тех, кто теперь сидел рядом с ними, и слушал бессмертные мелодии. Еврейские старики мирно сидели плечом к плечу с теми, кто собирался превратить их мертвые тела в куски мыла, а кожу в абажуры для ламп. Такое было время. Оно прошло. Теперь евреи и немцы сидели рядом и слушали музыку. Иной раз (я слышал это) переговаривались по-немецки. Старики евреи из Прибалтики, как правило, знали этот язык. Они

переговаривались и улыбались друг другу: евреи и немцы. Таков был новый порядок. Наступило, слава Богу, время улыбок. Я сам был готов улыбаться милым немецким старичкам, внимающим звукам музыки или кормящим пушистое, ушастое чудо природы. Я улыбался. Стоял поодаль и улыбался радости немцев, их любви к живому. Улыбался, но почему-то не подходил близко к ним. Не знаю уж почему, но так и не решился сделать это…

Он не мог бы случиться – этот рассказ о немцах, кормящих котят, если бы сама жизнь не нашла для рассказа этого финала. Не следует придумывать завязку и эпилог истории. В середине ты волен чудить, фантазировать сколько угодно, но, не увидев завязки и финала рассказа в самой жизни, лучше не браться за перо. Возможно, кому-то эта концовка покажется случайной, ненужной и даже нелепой. Готов согласиться, что это так, но для меня история с котятами не существует сама по себе без того, что пришлось увидеть засветло в парке. Там, как раз, я и увидел финал этого нехитрого рассказа. Милая ухоженная белая кошка, самоотверженная мама веселых котят кралась в темноте по шуршащей, мокрой листве с мышью-полевкой в зубах. Мышь была еще жива и дергала задними лапками. Немцы в это время только просыпались и, накинув халаты, спешили в открытый бассейн, над которым, по осени, клубился пар и согревал своим теплом желтеющую листву берез и темную хвою сосен.

1999 г.

Тишина пустыни

Года два назад очередной ученый-фокусник из Еврейского университета в Иерусалиме сделал «выдающиеся» открытия: он стал утверждать, что пророк Моисей находился под воздействием психотропных веществ, когда получил десять заповедей на горе Синай. Вместе с тем, как подчеркнул ученый, далеко не каждый после употребления таких растений создает Тору. «Для этого нужно быть Моисеем», – заключил он. И на том спасибо. Я же уверен, что наркотики тут ни при чем. Моисей ушел от толпы в тишину и одиночество, чтобы получить Закон. Вот он настоящий, благотворный наркотик: тишина и одиночество.

Сильнейшее впечатление в моей жизни – Синайская пустыни. Группа была большой: народ галдел, смеялся, шаркал ногами, спорил. И вдруг необоримо потянуло прочь, подальше от суеты слов и движений. Передо мной было чудо Белого каньона, туда и ушел, трусливо узнав прежде, что направление движения группы совпадет с моим «бегством».

Шел быстро по мягкому, похожему на пшеничную муку, песку. Километра через два остановился и услышал нечто совершенно фантастическое: настоящую тишину. Совсем не ту – любимую, лесную. Подлинную, чистую тишину – без пенья птиц, шуршания листвы, даже скрипа каменистой почвы под ногами. Я замер, я боялся пошевелиться, чтобы не нарушить своим, тяжелым дыханием внезапное, волшебное безмолвие природы.

Восторг первой минуты прошел. Я сел на плоский камень, нагретый зимним солнцем пустыни, но сразу же поднялся, испугавшись тепла и уюта отдыха. Мне показалось, что тепло и уют способны разрушить святость тишины. Я должен был, я был просто обязан превратиться в камень, отлитый временем… В серый камень Синайской пустыни.

Как известно, «мертвая вода» способна оживить человека. Так мертвая тишина Синая вернула меня к самому себе. Я вдруг услышал самого себя, не только услышал, но даже увидел. И то, что увидел, мне совсем не понравилось. Все было не так: я не так жил прежде, не то делал, не то делаю. И жилище мое тех времен, с окнами на шумную трассу, показалось мне настоящим адом. Я ужаснулся своей страсти к словам и увидел себя тонущим в болоте неуёмной болтовни. Я вдруг понял, что нет ничего красноречивей тишины, что не способность продлевать паузу – не только грех плохого актера, но и мое личное несчастье.

Я понял вдруг, что жизнь в лязге железа, в криках и плаче, воплях, шепотах сформировала мое порочное сознание, что

полная неспособность уйти от ржавого скрежета современной цивилизации не дала мне возможность сделать то, что я должен был сделать. Я понял смысл Исхода в тишину пустыни. И понял, что нет большей благодати, чем эта волшебная тишина и одиночество в этой тишине.

Природа сама дарует человеку часы благодатной паузы, часы сна, но эти минуты в Белом каньоне Синайской пустыни, минуты сна наяву, минуты радости и стыда, всю жизнь, наверно, буду помнить, как дар особый.

Тогда, в ущелье, я попытался услышать Бога. Я знал, что только сейчас это возможно, но нет – моя суть, насыщенная пустыми словами и звуками, была глуха и бездарна. Я все еще не мог думать и творить под диктовку Всевышнего. Сколько же нужно лет и столетий прожить в безмолвии пустыни, чтобы обрести силу творчества. Не потому ли так долго дышали этим воздухом праотцы, сохраняя силы краюхой хлеба и глотком воды, потому что настоящая тишина не терпит ничего лишнего. Им нужна была долгота лет, чтобы приблизиться в тишине к бесконечности Вселенной.

Я поднял голову, и небо над головой показалось мне совсем не таким, каким оно было всего лишь час назад. Я увидел странное «опрокинутое» небо, выжженное чистотой воздуха и ярким солнцем до полной прозрачности. Небо не было голубым или синим – оно будто отражало «снежный» покров под моими ногами. Я видел седое, древнее, мудрое небо с какой-то другой планеты.

Тишина начинала творить чудеса. Я был готов к ним. Человек в пустыне всегда готов к чуду миражей, к чуду исполнения желаний и недостижимости этого чуда… И вдруг все обрушилось. Скрипели голоса, и скрипел песок под ногами моих спутников. Знакомый смерил «наркомана» подозрительным взглядом.

– Ты чего тут? – спросил он, нахмурившись, словно увидел на моем лице непонятные странные перемены. Наверно, были они – тогда, в пустыне – отражением десяти минут тишины, случайным даром благословенной паузы.

Эссе и очерки разных лет

Адреса

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.

Осип Мандельштам

Горд тем, что владею журналом «Звезда», № 5 за 1928 год. В номере этом первый роман Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», опять же впервые в печати «Смерть Вазир Мухтара» Юрия Тынянова, и – главное, главное! – «Египетская марка» Осипа Мандельштама. Только рукопись была перед типографским шрифтом в этом питерском журнале, отпечатанном в количестве 3500 экземпляров. Сколько их выжило, тех журнальных книжек: не уничтожено страхом, не ушло на раскурку, не сгорело в блокадных печах?

Глеб Струве в своем очерке о Мандельштаме писал: «В 1925 году вышла в свет первая книга прозы Мандельштама – “Шум времени”. В 1928 году она была переиздана под названием “Египетская марка”, с присоединением одноименной повести, напечатанной в промежутке в одном из советских журналов».

Вот он – предо мной – этот журнал, выпущенный из типографии «Печатный двор», Ленинград, Гатчинская 96.

«1928 год таким образом – вершина литературного пути Мандельштама», – пишет дальше Струве. Вершина, связанная с Петербургом. Таким, каким этот город был для поэта.

«Где-то между Сенной и Мучным переулком, в москательном кожевенном мраке, в диком питомнике перхоти, клопов и оттопыренных ушей зародилась эта странная кутерьма, распространявшая тошноту и заразу». Это проза «Египетской марки».

Я там был, там жил. Ну, не на Сенной, но совсем близко от Тенишевского училища – альма-матер Мандельштама. В очерке поэта, посвященном училищу, читаю: «…На Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда

и счастья образцовой школы».

В этом амфитеатре открыли со временем детский театр Брянцева.

Вот еще один раритет в моей библиотеке: толстенный том под названием «Весь Петроград на 1923 год». Красиво, богато он издан, в год нэпа, надежд на реставрацию нормальной жизни в городе и России. О театре Брянцева там сказано так: «(Моховая, 35, т. 574 – 85). Театр организован на основании распоряжения Петрогубсоцвоса 5 июля 1921 года… Основной задачей Т.Ю.З. является пробуждение и воспитание здорового театрального вкуса среди подрастающего поколения».

Пересмотрел там в свое время все спектакли, воспитывая «здоровый театральный вкус». Значит, и я учился почти в той же школе, что и Мандельштам. Впрочем, мне это только кажется. Мне просто хочется, чтобы было так. Мания адресов завораживает.

Но где жил сам поэт? Добрая половина тома «Всего Петрограда» занята фамилиями практически всех жителей города, тогда весьма немногочисленных. Причем узнать можно не только адрес, телефон (крайне редко), но и профессию гражданина. Ищу, перелистываю желтые, хрупкие страницы. Семь Мандельштамов в адресной книге: Исай Бенедиктович – инженер, Мария Абрамовна – учительница, Мария Ивановна – машинистка, и вот он – адрес поэта! «Мандельштам Осип Эмильевич, литератор Гесслеровский пер. 27». Квартира не указана. Появилась ли памятная доска на этом доме в неприметном переулке на Петроградской стороне? Вряд ли.

Впрочем, памятных досок потребовалось бы слишком много. Не был Мандельштам домоседом. Вот отрывок из биографической справки: «Осенью 1923 года Мандельштам жил в Крыму, в Гаспре, зимой в Киеве. Потом снова в Москве и Петрограде». Поэт жил везде и нигде, как и положено настоящему поэту.

И все-таки Мандельштам только родился в Варшаве, но детство и юность свою провел в Петербурге, а потому город этот можно с полным правом назвать родиной поэта, а этим все сказано.

Есть в моей библиотеке «Путеводитель по Ленинграду» за 1934 год: невидное, скупое бедное издание. Время надежд кончилось, наступала эра террора. Рекламы в этом путеводители немного, а список граждан и вовсе отсутствует. Впрочем, в путеводителе его и быть как будто не должно. Есть в этой книге список переименованных улиц, площадей, парков, переулков: Мещанская ул. стала Гражданской, Гороховая – Дзержинского, Калачий пер. – пер. Ильича, и так далее… Тщетно ищу

Гесслеровский. Судя по всему, он остался «нетронутым». Можно отправить письмо с точным адресом. Только неясно, зачем и кому?

Впрочем, сам Мандельштам отметил в «Египетской марке»: «Петербург чем-то напоминает адресный стол, не выдающий справок, – особенно в районе Дворцовой площади… Еще раз повторяю: величие этого места в том, что справки никому и никогда не выдаются».

Любил ли город Петра Мандельштам? Трудно сказать. У настоящего поэта любовь – ненависть неразделимы, неразлучны, неразличимы. «И страшно жить и хорошо!» – признавался Осип Эмильевич в «Египетской марке».

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…
Поедем в Царское Село!

Написано Мандельштамом до того, как этот пригород Питера переименовали в Детское Село и Пушкин. А вот что писал поэт, когда чума переименований захватила город: «Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух».

Впрочем, не только в переименовании дело. Вот стихи Александра Сергеевича Пушкина, написанные задолго до большевистского переворота:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.

«Скука, холод и гранит». Мандельштам бежал из Петербурга – Петрограда – Ленинграда, чтобы убедиться в мерзости Москвы, Киева, Воронежа и лагерной, смертельной бездны Черной речки….

В той же «Египетской марке»: «Есть люди, почему-то неугодные толпе, она отмечает их сразу, язвит и щелкает по носу. Их недолюбливают дети, они не нравятся женщинам».

Мандельштам родился в век толп. Его и казнила толпа – самосудом, как и случайного героя из короткой повести, впервые напечатанной в журнале «Звезда».

Толпа начала 20-х годов обозначена в томе «Весь Петроград» поименно: слесари, наборщики, счетоводы, техники, акушерки… Город после кошмара военного коммунизма был готов работать, любить, рожать детей…

Читаю рекламу: «Склад галантереи и парфюмерии И.Ш. ЛЕВИН… Марсельское, туалетное мыло собственного изготовления», «Клуб «ДОМИНО»… Рулетка, Тридцать и сорок, Баккара, Джокер, Шмен-де-фер, Макао и др. Артистические понедельники и четверги… Только апробированные русские и иностранные вина». «ЕВРОПЕЙСКАЯ ГОСТИНИЦА, ул. Лассаля 1–7. Телефон! 131–15 и 139–08. Функционирует в полном объеме. Вновь отреставрированные комфортабельно обставленные комнаты с ваннами. Имеются РОСКОШНО ОТДЕЛАННЫЕ АППАРТАМЕНТЫ».

В таком мире, с «ваннами», «марсельским мылом», играя в джокер, все еще можно было жить. В те годы толпа не была так страшна, как всего лишь через стремительных десять лет, когда она превратилась по приказу свыше в толпу убийц и жертв.

Толпа двадцатых позволила Мандельштаму напечатать «Египетскую марку». Толпа тридцатых годов убила его.

Но и в таком выводе лишь часть правды. Настоящего поэта нельзя убить. Он убивает себя сам. Это только кажется, что большие поэты покорны власти и толпе.

«Я от жизни смертельно устал,// Ничего от нее не приемлю,// Но люблю мою бедную землю // Оттого, что другой не видал». Стихи написаны Мандельштамом в семнадцатилетнем возрасте. «Бедная земля» – это прежде всего Петербург, задолго до «десяти дней, перевернувших мир».

Вернусь к фолианту «на 1924 год». Делаю это специально, вновь привлеченный «адресным» текстом из «Египетской марки».

«Государственный академический драматический театр (ГАТЕДР) б. Александринский. (Александринская пл. т. 138–131, служ. каб., зав. худ. ч. Юрьева Ю.М. тел 14–64)».

Какое жуткое название – ГАТЕДР. Может быть, из этой жути и появились строчки Мандельштама: «Ведь и я стоял в той страшной терпеливой очереди, которая подползает к желтому окошечку театральной кассы – сначала на морозе, потом под низкими банными потолками вестибюлей Александринки. Ведь и театр мне страшен, как курная изба, как деревенская банька, где совершилось дерзкое убийство ради полушубка и валенных сапог. Ведь и держусь я одним Петербургом – концертным, зловещим, желтым, нахохленным, зимним».

У Карла Маркса в «Нищете философии» есть такие строчки: «Петр Великий варварски низвергнул русское варварство». Все-

таки неглупым человеком был этот внук раввина. Вечное несчастье России – жестокий характер реформ. И как здесь не вспомнить, каким варварским способом была низвергнута совсем недавно Советская империя.

Читаю первые строчки «Путеводителя по Ленинграду»:

> И съезд советов Союза Советских Социалистических Республик считает вполне справедливым удовлетворить просьбу Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, поддержанную резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда о переименовании города Петрограда в Ленинград.
>
> *Председатель Второго съезда советов Союза ССР*
>
> *М.И. Калинин.*
>
> *Секретарь А. Енукидзе.*
>
> *(принято 26 января 1924 г.)*

Справочный фолиант, оплаченный нэпманами Петрограда, вышел всего лишь за пять месяцев до этой даты наступления варварской эры. Следовательно, он был последней адресной книгой этого города, где можно было встретить фамилию Мандельштама. К Ленинграду этот поэт уже не имел никакого отношения.

Мандельштам некогда пробовал жить в своем городе, по особому, несуществующему адресу, и имя этому месту было Петрополь: «Мне холодно. Прозрачная весна // В зеленый пух Петрополь одевает… В Петрополе прозрачном мы умрем». Не вышло. Он не смог остаться в своем городе, в городе детства и юности. В городе «прожилок и детских припухлых желез». Редко кому из нас это удается.

Впрочем, и Ленинградом Мандельштам так и не смог назвать Петрополь. В тридцатом году он написал хрестоматийное:

> Петербург! Я еще не хочу умирать:
> У тебя телефонов моих номера.
> Петербург! У меня еще есть адреса,
> По которым найду мертвецов голоса.

Что еще может раскрыть ушедшее время так, как книги, старые книги, причем любые: наполненные ярким

художественным содержанием или скупым адресно-справочным текстом?

Да, я не назвал еще четырех Мандельштамов, проживающих в Петрограде 1923 года.

Мандельштам Роза Григорьевна – педагог. Пантелеймоновская, 27-а.

Мандельштам Сергей Яковлевич – секретарь Г.У. В.-О, 7-я линия, 30.

Мандельштам Эмиль Вениаминович – кожевенник, К. Либхнехта, 16.

Мандельштам Яков Исаевич – актер, Пантелеймоновская, 7.

Когда был счастлив Бродский?

Наверняка не случится моего путешествия в Норенское, а жаль. Возможно, на этом месте и нет уже никакой деревеньки, и поля совхозные заросли сорняком. Никто не подскажет, как звали тракториста А. Бурова: Андрей, Александр, Анисим?.. Может быть, он был моим тезкой? Нет, это вряд ли.

Почему мне важно, как звали тракториста Бурова? Понятия не имею. Важно – и все. Еще в той деревеньке на четырнадцать дворов жили люди: Анисья, Константин, Афанасья… Эта женщина была – Афанасья – женой Константина Борисовича Пестерова.

Лет прошло с тех пор почти сорок. Вряд ли и те люди живы. Я бы на кладбище местное сходил, постоял у могил. Я бы водку с собой взял в багаже, чтобы помянуть. В тех краях всегда водка была скверная: взболтнешь – белая муть.

С водкой, купленной в Тель-Авиве, или без нее мне не добраться в те края.

Не случится этого. В Питере, Москве, может, и буду еще. В том месте – никогда, а жаль.

В географической точке, где был счастлив Иосиф Бродский.

Он сам сказал об этом в диалогах с Соломоном Волковым.

Волков. А стихи вы там писали?

Бродский. Довольно много. Но ведь там и делать было больше нечего. И вообще, это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и хуже, но лучше – пожалуй, не было.

Это он о коротком ссыльном времени, проведенном в селе Норенское Коношского района Архангельской области, где я так хочу побывать и никогда не буду.

Памятник хотят поставить Бродскому моряки из Кронштадта. Красно-коричневая сволочь сразу же подняла истошный визг. Не дадут этого сделать, а если и удастся морякам безумная идея, взорвут юдофобы памятник поэту или изгадят чем.

Я бы памятник Бродскому поставил в тех северных краях. В чистом поле, где он был счастлив, как никогда в жизни. Пусто там, чисто, бело… Одна скупая природа, и никакой суеты, а что еще нужно поэту, пусть и не сочиняющему больше стихи и прозу.

Интервью у Бродского брали часто. Он любил их давать. Поэт был разным в тех интервью. По-разному относился к поэзии, событиям, людям. Это нормально. Только о той ссылке, когда был упрямый сочинитель стихов признан тунеядцем и послан на трудовое воспитание, он всегда говорил одно и то же.

Из интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса:

– Можно ли сказать, что ссылка привила вам чувство единения с природой?

– Сельскую жизнь я люблю. И дело не только в единении с природой. Когда поутру встаешь в деревне – да, впрочем, и где угодно – и идешь на работу, шагаешь в сапогах через поля… и знаешь, что почти все население страны в этот час занято тем же самым… то возникает бодрящее чувство общности. С птичьего полета, с высоты полета голубя или ястреба картина будет везде одна и та же. В этом смысле опыт ссылки даром для меня не прошел. Мне открылись какие-то основы жизни.

В диалогах с Волковым:

Волков. А деревня была большая?

Бродский. Нет, там четырнадцать дворов всего и было. Но я вот что скажу. Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение! Если с птичьего полета на эту картину взглянуть, то дух захватывает.

«Основы жизни», «свою принадлежность к народу». Надо думать, не только еврейскому, русскому или китайскому. Бродский говорил о принадлежности к людям вообще, о прорыве из одиночества. Выходит, к этому прорыву и приговорили поэта идиоты-судьи в Питере.

Бродский говорил и о странной природе счастья человеческого. Вот философы считают, что мы всю свою жизнь ищем удовольствия. У каждого свой путь в этих поисках: один «ловит кайф», грабя банки; другой, собирая на лугу ромашки, а в лесу грибы и ягоды; третий, копаясь в книгах… Общее удовольствие почти для всех: любовь плотская, богатство, обжорство, пьянство…

Все верно, только ведет ли погоня за удовольствием к счастью? Не думаю. Счастье человеческое – это особенная категория, тайная. Подлинное счастье приходит к нам редко, чаще всего, совершенно неожиданно. И в самых непредсказуемых обстоятельствах.

Еще давно, до подробных знаний о Бродском, задал себе вопрос: а когда ты был счастлив? Думал, думал и, наконец, вспомнил только три эпизода, никакого отношения к удовольствиям разного рода не имеющим.

Зима. Вот я подростком иду трудиться на металлический завод в толпе работяг. Сразу за проходной – колючий, холодный ветер. Такой сильный, что тяну вниз за мерзлые тесемки уши

треуха. Сумрачно. Впереди и позади темные, сгорбленные, торопливые тени рабочих. До моего инструментального цеха метров триста. Там, сразу за тяжелой железной дверью, горячее тепло кузни: такое родное и желанное.

Переступаю высокий порог – и попадаю в этот грохочущий, воняющий окалиной рай… И я счастлив! Счастлив по-настоящему. Как там у Бродского: «…это было колоссальное ощущение!»

Весна, больничный двор. Впервые выпускают меня одного – в парк, к солнцу. Устав от десяти шагов, сажусь на скамейку и вижу воробья, лихо принимающего ванну в луже. Смотрю на птицу эту и счастлив необыкновенно.

Еще раньше, в детстве: просыпаюсь рано, совсем рано. Внизу, за открытыми форточками двойных рам, метет булыжники двора-колодца жесткой метлой дворник Ахмет. И я вдруг чувствую такое счастье, такой покой, такую силу и в душе и теле, что, кажется, сама земля теряет надо мной власть и больше не будет никогда проклятого земного тяготения.

С тех пор как будто ни разу не просыпался позже шести часов. Вполне возможно, все жду того шума метлы и ощущения счастья.

Стихи-шифры, Ахматова, Оден, Фрост, Шестов, Бердяев, индуизм, кальвинизм, иудаизм – все это было в Бродском. Он без устали «умножал знания, умножая скорбь».

Лауреат Нобелевской премии, написал много хороших, мудрых, гениальных стихотворений и эссе, но я знаю только одно стихотворение поэта, написанное счастливым человеком. Счастливое стихотворение. Вот оно:

А. Буров – тракторист – и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые – шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага.

Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.

Мог бы разобрать это стихотворение «по косточкам».

Наговорить «короб» о его космизме, о живописи, музыке… В конце концов, о мастерском кинематографическом монтаже. Только нужно ли это делать: анатомировать счастье?

Вот на том поле, не в Питере и Венеции, а там, где некогда поэт сеял озимые в мерзлую, скупую землю, и надо бы поставить памятник поэту Иосифу Бродскому. Какой? Не знаю. Это дело скульптора. Передо мной фотография поэта того периода. Он в ватнике и наверняка в кирзовых сапогах. Не исключено, впрочем, что и в резиновых. Сам Бродский писал о ссылке: вокруг одна «злая мошка и болота».

Болота, злая мошка и счастливый поэт, «припудренный землицею как Моцарт».

2004 г.

Нос Гоголя

Как-то неловко стало, когда поставил рядом эти две фамилии: свою и великого писателя. Оговорюсь сразу, несмотря на очевидные провалы нравственного чувства классика, считаю Гоголя – талантом огромной величины. Может быть, по масштабам гениальности первейшего в современной истории литературы.

Скажу без фальшивой скромности, что понимаю, как делали свои вещи Бальзак и Пушкин, Достоевский и Толстой, Чехов или Диккенс… Но не могу постигнуть тайну волшебной прозы Гоголя. Ее сатанинскую и Божественную силу. Не могу отличить свет от мрака в душе этого человека. Я бессилен перед Николаем Васильевичем Гоголем. Бессилен, и всегда умираю от тайной и необоримой зависти, когда читаю сочинения этого удивительного писателя, носившего странную, нездешнюю фамилию – кличку Гоголь.

Антисемитом он был, тут спорить не приходится. Однако, и без особых проблем, могу представить себя рядом с этим долгоносым и лохматым юдофобом где-нибудь в Риме, в кафе, у арки проклятого Тита, разрушившего наш Храм в Иерусалиме.

– Послушай, – говорю Гоголю. – Как ты мог?.. Ты, человек веры и традиций. Человек, помнящий, кто дал твоему народу веру, как ты посмел опоганить великий народ, сравнить еврея с мерзким насекомым. Раздавить его еще раз каблуком в ходе погрома убийц из бандитского воинства Тараса Бульбы? Добрейший и несчастнейший из человекообразных, как ты мог?

В ответ он начнет бормотать что-то невнятное в свое оправдание. А потом вдруг скажет отчетливо, досадливо теребя кончик носа.

– Ну не люблю я их… Так я и себя не люблю и род свой, что тут поделаешь?

С Гоголем могу представить такой разговор. С Достоевским, к примеру, или с его жутким близнецом Розановым, или с почившим недавно Солженицыным, – не могу представить. Там все ясно. И говорить как будто не о чем.

Есть еще некая странность: удивительное одиночество Гоголя в русской литературе. Казалось, не любил он евреев, был ярко выраженным национал-патриотом, а не жаловали его российские жидобои и державники. Никогда не могли простить ему мертвые души одного названия великой поэмы.

Либерал и революционер Белинский учил Гоголя, как нужно относиться к «свинцовым мерзостям» самодержавия. Пройдет век

с лишним, и защитники этих «свинцовых мерзостей» начнут порицать Гоголя за его нелюбовь к великому русскому народу.

Казалось бы, не было писателя столь близкого к национальному духу великороссов; писателя, работавшего, в отличие от иных отечественных классиков, вне библейской традиции; гения, предельно близкого к еретической, бунтарской, языческой природе православного человека, а не любили русские словесники-патриоты Николая Васильевича.

Вот и на отечественный экран перенесли Гоголя ненавидимые им евреи: Михаил Швейцер и Ролан Быков. И с каким блеском проникновения и душевной боли сделали они это, простив, надо думать, писателю его бесспорный грех юдофобии.

Да и язык Гоголя настолько народен по своему духу, что писатель этот практически непереводим. Не звучит он на немецком, английском или французском языках. Нет в европейской речи, за исключением, пожалуй, чуда фантазий Гофмана, даже намека на музыку и ритмы прозы Гоголя.

Что еще странно: любил Гоголь Европу. Где только не работал над своими шедеврами: в Швейцарии, Италии, Франции, Германии, а не смог угодить этим странам своим пером.

С жанром его вещей опять же проблема. Не писал Гоголь прозу, но и стихов никогда не писал. Понимая это, назвал Николай Васильевич свой великий роман поэмой. Да что толку. Вне жанра работал этот человек. Красну девицу модной романтики он ломал прекрасным уродством абсурда, динамику повествования безжалостно тормозил статикой картин, слезу сантимента тут же вытирал жесткой тканью насмешки… В общем, Гоголь – это Гоголь, и больше никто.

Сам же я, ясно сознавая, что подражать Гоголю совершенно невозможно, всегда пытался идти в своем скромном писательстве именно за ним. Тогда же, когда чувствовал утрату планки над головой и терял ориентиры, брал томик Гоголя, читал его тексты и успокаивался, определив точное место и время своему сомнительному дару.

Был ли Гоголь безумен? Конечно. И не только безумен, но открыто и страстно безумен, хотя бы потому, что пошлая, мелочная, мещанская норма в его душе отчаянно боролась с величием призвания и помыслов.

И это все, вся мука и безумие, живут в прозе – поэзии – музыке – живописи Николая Васильевича Гоголя. Живут во всех его вещах, но обнаженно, до предела явственно в петербургской повести «Нос».

Начинается вещь эта плавно и затейливо, а кончается косноязычно, неопределенно, чудно: «Но что страннее, что

непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…

А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

«Во всем этом, право, есть что-то». Только вот что? Тут каждый волен предложить свою гипотезу. Сам Гоголь был сочинителем свободы фантастической. Вот он и дозволял свыше, своим же рескриптом, свободу читателю. Мало того, провоцировал его на неизбежность этой свободы.

Критики всегда искали и, надо думать, будут искать родство этой повести Гоголя с произведениями иных авторов, с опытом, историей иных классических героев. Мне же кажется, что «Нос» Гоголя – одна из историй его собственного дискомфорта в том неуютном мире, в котором писателю пришлось жить.

Настоящий художник – он хитро старался спрятать подлинную сущность этой вещи в портрете самого Носа господина Ковалева. Вот он этот портрет: «…читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место».

Надо же, недурной нос и умеренный! К чему тогда было стараться, живописуя его пропажу. Столь желанную пропажу для самого Гоголя, свой нос ненавидящего люто. Свой неумеренный и дурной нос.

И тут, сразу же, встык, вслед за обнаружением пропажи, видит майор, что нос его и не нос вовсе, а статский советник в «мундире, шитом золотом».

Снова хитрость лукавая. От питерских, надо думать, набережных в граните, невской холодной тяжести и туманов, от чиновной прыщавой пакости на лице великого города.

Не таким должен был быть нос, сбежавший от Ковалева и Гоголя. Совсем не таким, а кривым и уродливым, похожим на узкоплечего человечка, обсыпанного перхотью из местечкового детства писателя. Какая уж тут «шляпа с плюмажем» и молитва в православном Казанском соборе.

Но бежит Гоголь от подлинных ассоциаций. Бежит от зеркал, в которых не раз видел свой проклятый нос. Бежит от своей безумной, маниакальной мечты избавиться от этого носа.

Проснуться вдруг, как проснулся однажды майор Ковалев: «Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел у него вместо носа совершенно гладкое место».

И здесь Гоголь лукавит. Он не раз гнал от себя свой нелепый «жидовский» нос, но никогда не видел на его месте пустоту. Какой формы нос предпочитал сам Гоголь, остается тайной. В любом случае нос определенный, как запись вероисповедания в паспорте.

Гоголь – великий художник. От малой формы, небольшого зеркала, от изумления и тихого испуга он идет к большой форме, к большому зеркалу, к ужасу преображения носа в человека, который со временем даже попробует выправить себе заграничный паспорт и сбежать на окраину Российской империи, в Ригу.

Впрочем, нос и зеркало живут неразлучно всю повесть, как жил неразрывно с отражающей, волшебной поверхностью и сам писатель. Зеркала, как магниты, преследуют майора Ковалева, не давая ему забыть о своем неожиданном уродстве: «Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

– Экой пасквильный вид!»

Гоголь, подозрительный малоросс, мучился своей национальной неполноценностью. Пушкин гордился своим «черным» предком. Гоголь страстно хотел быть чистым по крови, а тут еще чужой нос, выдающий «пасквильную» неведомую тайну происхождения.

Тайна эта так мучила Гоголя, что нос его невольно приобрел свой собственный, отдельный от великого писателя, человекообразный образ. И образ этот хоть и жил отдельно, но был мучительно и неразрывно связан с личностью самого Николая Васильевича.

Как тут не вспомнить о вечном несчастье неразрывности с иудейством, от которого в русской литературе ни один Достоевский страдал. Юдофобу Федору Михайловичу мешала Библия своим незримым и властным присутствием в его книгах. Антисемиту Гоголю мешал всего лишь нос. Но в мире сплошных зеркал и автору этот недостаток казался чудовищной насмешкой судьбы.

Есть такой анекдот – быль о коменданте здания Венской оперы. Этому доброму малому дали указание сбросить с крыши

театра бюст еврея Мендельсона-Бартольди.

Комендант понятия не имел, как выглядит знаменитый автор «Свадебного марша». Он сориентировался по носу и сбросил с крыши Рихарда Вагнера – любимого композитора Гитлера.

Дело происходило в 1941 году. Коменданта отправили на Восточный фронт. Там он и сгинул.

Видимо, не меньше, чем Гоголь, страдал от своего неарийского профиля гениальный карлик Вагнер. Как лихорадочно и упрямо стремился доказать всему миру, что он не еврей. Он и тематикой своих опер старался укоротить свой нос, и даже пасквиль антисемитский сочинил. Все зря, не сбежал от него нос. Так и остался с носом.

И как же Николай Васильевич утешал себя тем, что и без этого украшения совсем плохо, даже невозможно такое. Как страстно утешал: «Боже мой! Боже мой! За что такое несчастие? Будь я без руки или без ноги – все бы это лучше; будь я без ушей – скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек – черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин; просто возьми и вышвырни в окошко!»

Тут место для еще одной догадки. Не нянчил ли Гоголь, работая над этой повестью, мысль совершенно для себя крамольную, будто все люди на свете из одного «лукошка»? Вот, впрочем, только нос и дает человеку право называться человеком. И только утрата этой интимной принадлежности сразу выносит личность за скобки потомков Адама и Евы.

За мыслью этой могло последовать и более страшное: чем больше нос, тем больше человека в человеке. Здесь и гордыня, и признание того факта, что еврейские носы, виденные Гоголем в детстве и во множестве, принадлежали все-таки людям, и людям настоящим, а не насекомым, безжалостно раздавленным казацким сапогом.

За «комплексом национальным» шли и проблемы сексуальные, столь насущные в непонятной, мучительной и скрытой личной жизни Гоголя. Майора Ковалева мучила мысль, что без носа он не сможет жениться. Без носа ли?

Вот герой «Носа» видит на улице «легонькую даму», очень похожую на «весенний цветочек». Читаем: «Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его».

Вполне возможно, как раз в этом месте вспомнил Гоголь о своих «невидимых миру» слезах.

В общем, за юмором, за абсурдом, за красками и запахами этой повести Гоголя он сам, как на исповеди. Он кричит немо, он неслышно жалуется небу на свою судьбу. «Безумными» текстами он будто гонит от себя свое неизбежное безумие.

И на вечно русскую муку он жалуется. На муку от неутолимой страсти любви-ненависти к непонятной фигурке еврея, от неспособности отделиться от нее и одновременно понять и принять сущность странного, большеносого существа в лапсердаке.

2001 г.

Евреи Октября и Марина Цветаева

Была она не брезглива, в чем и сама признавалась. Не боялась Цветаева нечистоты тела во всех смыслах, но всегда бежала от грязи в душе. Ее дневниковые заметки о первых годах революции честны, мужественны, наполнены болью, ужасом и любовью. И очень, как и все, к чему прикасалась эта женщина, – талантливы.

Имеем ли мы, современники, право судить людей, приговоривших самих себя к смерти? Нет, убежден, что это безнравственно. Даже в такого грешника, как Александр Фадеев, не могу бросить камень. Вот он ответил на прошение бездомной Цветаевой: «Тов. Цветаева! Достать Вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади». Отвратительный документ, а не могу заставить себя судить Фадеева, как только представлю ужас этого человека перед сознанием невозможности продолжить жизнь. Что уж тут говорить о самой Цветаевой, Маяковском, Есенине…

Жили все они во временах, беспощадно провоцирующих человека на зло. Кто-то попал в сети дьявола, кто-то пробовал вырваться из западни, кто-то восставал против самого страшного и всесильного времени.

При всех обстоятельствах большой поэт оставался в одиночестве. Иосиф Бродский написал об этом исчерпывающе точно: «Чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество».

Одиночество сродни безумию, добавлю я. Безумию самоубийства.

Грязные, кровавые времена всегда были и школой мизантропии для чистых и мужественных душ. Восемнадцатый год, лето. «Боже мой! Как я ненавижу деревню, – пишет Цветаева, – и как я несчастна, среди коров, похожих на крестьян, и крестьян, похожих на коров». Год девятнадцатый: «Язык простонародья как маятник между жрать и с….»

Впрочем, тема народности бездонна. В этих заметках я только хотел бы проследить за «еврейским вопросом» в дневниковых записях Цветаевой, на основе, вышедшей в 2002 году книги: «Марина Цветаева. Записные книжки». Вопрос этот занимает в ее дневнике значительное место.

Мне всегда казалось, что великое прозрение Марины названную тему исчерпывает: «Гетто избранничеств, вал и ров – пощады не жди. В сем христианнейшем из миров поэты – жиды». Однако, читая записные книжки, понял, что все не так просто.

Шестнадцатый год. Мир относительно спокоен, если не считать кровопролитной, Первой мировой войны. Марина Цветаева пишет: «Христос завещал всему еврейству свое великое “жаление” женщины.

Еврей, бьющий женщину, немыслим».

Любопытная запись. Цветаева не пишет, почему Христос не завещал этого христианам. Евангелие читала Марина, одно лишь Евангелие и Ветхий Завет, не Тору. Вот в этом, а часто и только в этом издержки взглядов на еврейство русской художественной элиты. Даже «нежных» взглядов.

Лето 17-го года: «Вы слово “еврей” произносите так, точно переводите его с “жид”».

Слух большого поэта уникален, но близка чума большевизма, и Цветаева пишет 15 ноября 1918 года: «Слева от меня (прости, безумно любимый Израиль!) две грязные, унылые жидовки… Жидовка говорит: “Псков взят!” – У меня мучительная надежда: “Кем?!!”».

«Безумно любимый Израиль» остался там, в мире без голода, лишений, смерти. А здесь, рядом с Цветаевой, «две жидовки», сообщающие в восторге, что красными взят Псков.

Чуждость «любимому Израилю» нарастает по мере развития революции:

«Когда меня – где-нибудь в общественном месте – явно обижают, мое первое слово, прежде, чем я подумала:

– Я пожалуюсь Ленину!

И никогда – хоть бы меня четвертовали – Троцкому!

– Плохой, да свой!»

В те лихие годы и не подозревали, что и Ленин не совсем «свой». В общем, некому было жаловаться русскому человеку. Ну не Калинину же с Буденным или Ворошиловым.

Пуришкевич – один из лидеров «Черной сотни». Ну и что? Ему, если бы могла, пожаловалась Цветаева: «Моя любовь в политике – Пуришкевич. Ибо над его речами, воззваниями, возгласами, воплями я сразу смеюсь и плачу».

И дети Цветаевой, любимая дочь Аля (Ариадна) не хотят быть евреями: «Аля – кому-то, в ответ на вопрос о ее фамилии:

– О нет, нет, у меня только $^1/_2$ дедушки был еврей».

Неудивительно, когда в перестроечном СССР совсем пропало мясо, обыватель стал требовать отстрела собак. Они, мол, все, что предназначено людям, пожирают.

Голод взял за горло Россию девятнадцатого года. На глазах у Цветаевой страдают, мучимые голодом, ее дети. Читаем запись:

«Не могу простить евреям, что они кишат».

Их слишком много, они слишком заметны, как собаки в том

СССР. А собак-то в городе появилось тогда много, потому что обедневшие люди стали гнать их за порог. Дело не только в идее и свободе, дарованной Временным правительством. За «порог» местечка евреев выгнал и голод, устроенный большевиками.

В девятнадцатом году собаки почти исчезли – их попросту сожрали. Остались одни евреи, о которых и пишет Цветаева. Голод способен сотворить и не такое с психикой человека.

И все-таки Цветаева – это Цветаева. Ее «любовь к Израилю» не проходит, потому что в это страшное время именно евреи помогают ей выжить. Евреи, которые «кишат»:

«Г-жа Гольдман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям огромные миски супа – и сегодня одолжила мне 3-ю тысячу. У самой трое детей. Маленького роста, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, правильными обедами и ужинами. Помогает мне – кажется – тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло и ничего в доме, кроме книг, – нет – не могу не раздражать… Еще Р.С. Тумаркин, брат г-жи Цейтлин, у которой я бывала на литературных вечерах. Дает деньги, спички. Добр, участлив. И это все».

С горечью вспоминает Цветаева заветы любимой матери: «— Мама, что такое – социализм? (Яся 11-ти лет, в 1905 г., в Ялте.)

– Когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле – тогда это – социализм… Ах, забыла! Страстная любовь к евреям, гордая, вызывающая, беспрекословная (только в 1919 г. я научилась слову «жид») – тогда в кругу Сергея Александровича, старых монархистов-профессоров, – придворных! – Помню, с особенной гордостью – чуть ли не хвастливо – впрочем, в это немножко играя – утверждала, что в ее жилах непременно есть капелька еврейской крови, иначе бы их так не любила».

Как странно. Социализм и евреи. Тот страшный, босой дворник вдруг заговорил с акцентом. Что делать с каплей еврейской крови, перешедшей к Марине от матери?

Но это всего лишь «капля». Кто же Цветаева в 1919 году: «Мы с Алей у Антокольского (поэт, ученик студии Вахтангова)… Антокольский читает мне стихи – «Пролог к моей жизни», которые я бы назвала «Оправданием всего». Но так мне этого нельзя, так как я в данный час – русская, молчу молчанием резче и весче слов. Прощаемся».

Познакомился с Антокольским через сорок восемь лет. Был он мастит, имел собственную «Волгу» с шофером, дачу, квартиру в писательском доме. Цветаева погибла, не дожив до 50-ти лет. Где ее могила – неизвестно.

В тот год трудно было понять Цветаевой, что пишет именно

так Антокольский не потому, что он не русский поэт, а потому, что советский.

Но вот продолжение той темы материнской любви к евреям: «Как жалко, что люди не знают меня, когда я одна. Если б знали – любили. Но никогда не узнают, потому что такая я – именно оттого, что одна. С ними у меня обезьянья гибкость (только в обратную сторону, повторяю наоборот движение). Пример: с любящими евреев – ненавижу евреев, с ненавидящими – обожаю – и все искренне – до слез! – Любовь по оттолкновению».

Как часто думал, что одни только Достоевский и Розанов (из высоких талантов в русской культуре) достойны имени антисемита, так как были последовательными теоретиками юдофобии. Во всех остальных талантах России гораздо больше мизантропии, презрения к человечеству и своему народу вообще, чем антисемитизма. Этих, в глубине души, стараюсь и понять, и простить.

Строчки из «Дневниковой прозы» Цветаевой: «Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего и на что не выменивает!). Коробочек («а почем сейчас в городе мертвые души?», «а почем сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы», «Дом Счастливой Матери» – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот».

Нет, в те же годы бродил по Москве голодный и злой Булгаков. Похоже, только сегодня упомянутых героев «Мертвых душ» появилось столько, что осмыслить подобную напасть не сможет никакой Гоголь.

Но вернемся к нашей теме. Вот еще удивительная запись Цветаевой. Похоже, от записи этой и пошли классические строчки о «гетто избранничеств»: «Слава Богу, что я не еврейка… При первом же «жидовка» я бы подняла камень с мостовой – и убила… Откуда у меня – с детства – чувство преследования? Не была ли я еврейкой в Средние века?

Во всяком случае – если мне суждено когда-нибудь сойти с ума – это будет не мания Величия».

Большие поэты – «народ избранный». Большие поэты того страшного времени существуют вне наций, вне народа. Понятия эти были слишком страшны. Старались Поэты прилепиться к Богу – это было. Цветаева, Ахматова – вне русскости. Пастернак, Мандельштам – вне еврейства.

Особый народ, отдельный в «гетто избранничеств». «Жизнь – вокзал», – как писала Цветаева. Вне народа – значит, в дороге. Куда – неизвестно. В бесконечность? А странник бездомный уязвим как никто. «Вал и ров» – не защищают. «Вал и ров» – не

дают скрыться от палача.

«Здесь я не нужна. Там – невозможна», – писала Цветаева в эмиграции. В «ненужности и невозможности» провела весь свой короткий век эта удивительная женщина, имя которой ныне звучит по-царски: МАРИНА. Она звезда ослепительной яркости, без которой немыслим небосвод поэзии, культуры человечества.

Еврейская судьба русского поэта.

Что же записи Цветаевой в дневнике? Они не могли быть другими. Я бы советовал прочесть их каждому, кто надеется сегодня на новый, оптимистический виток еврейской истории в России.

Сегодня в названной стране бытовая юдофобия достигла своего пика. Виноваты в этом издержки еврейской свободы, обычные и знакомые после отмены государственного антисемитизма.

Тоже произошло и в первые годы, последовавшие после Октябрьского переворота. В нашей еврейской истории сегодня, как правило, обязательно снимает кальку с того, что было вчера. Тем же она началась, тем же и закончится. Спектакль под названием: «Еврей в России» был сыгран, как трагедия, ныне он исполняется, как фарс. Вот и вся разница.

Любой народ, судя по всему, склонен прощать сам себе любые преступления, но соучастника своих собственных преступлений он прощать не намерен.

Что уж говорить о простых людях, когда такие высокие таланты и чистые души, как Цветаева, не смогли удержаться от перевода слова «еврей» на понятие «жид».

2000 г.

По тропе с Генри Торо

Почему бы и нет? Считаю самым увлекательным путешествием пеший неспешный маршрут по страницам замечательных книг, книг любимых. Эта роскошь, несмотря на поденный труд в газете, была со мной все семь лет в Израиле. А может быть, и благодаря этому труду я время от времени отправлялся в дорогу с Чеховым и Львом Толстым, Дефо и Свифтом, Рабле и Пришвиным… С кем только я не пытался свести близкое знакомство. Иногда это удавалось, как я теперь вижу. Иногда – нет. И все равно, каждый раз, когда прикасался к высоким текстам, я испытывал точно такое же наслаждение, как и в дороге по пути к неведомым мне городам и людям…

Итак, пробую приблизиться к Генри Торо. Осилить с ним небольшой отрезок пути.

Что там дорога?! Тропу свою протоптать удается не каждому! Генри Дэвиду Торо это удалось. Мы идем по этой тропе рядом. Мне легко это сделать. Я еще жив пока.

Мы идем плечо к плечу и говорим о пустяках. Я рассказываю о недавней свадьбе, куда был приглашен. В зале собрались люди, которые давно не видели друг друга, но никакой «роскоши общения» на этой встрече не вышло, потому что оглушительно гремела музыка, а голоногая певица орала так, будто до смерти боялась остаться незамеченной.

Тем, кому все-таки хотелось поговорить, приходилось кричать, но криков на расстоянии в один-два метра не было слышно.

Я сказал Торо, что живу в мире крика, из которого живая человеческая речь просто исчезает. Люди перестают видеть и слышать друг друга.

Знаю, о чем он думал. Он никогда не ценил этой самой «роскоши общения» и считал, что общаться люди должны с природой, в мире тишины, где как раз человек отсутствует.

Спорить я не мог. В этом не было смысла. Мы шли по тропе, принадлежащей Торо, моя же тропа еще не была протоптана. Ему было легко переступить через порог и сразу оказаться в Поле, в Лесу, на берегу своего Озера Уолден, а я не мог сказать Генри Дэвиду, во что превратится живая природа через сто пятьдесят лет после его смерти. Это было бы слишком жестоко.

Но я не хотел оставлять затронутой темы и рассказал Торо о своем друге.

Мы еще встречаемся, но все реже и реже. Когда-то ничто не мешало нам любить, слушать и понимать друг друга. Когда-то мы

были нужны друг другу и испытывали настоящую радость от общения.

Ныне большой ящик в углу холла квартиры моего друга становится всевластным хозяином положения. Мы неотрывно смотрим на светящийся экран, не так, как прежде в глаза собеседнику. Мы слушаем не себя или соседа, а то, о чем говорит это страшное всевластное существо, наделенное удивительным лукавым многоголосьем и магнетической силой.

Когда-то наше общение казалось праздником творчества. Мы были нужны друг другу, как актеры на сцене. Мы собирались, потому что «театр» жизни немыслим без труппы, без оригинальной драматургии, без аплодисментов зрителей. Хорошо или плохо, но мы творили за пиршественным столом.

Сегодня мы перестали быть творцами и актерами. Мы стали лишь зрителями какой-то чужой, суррогатной жизни.

Теперь я перестаю понимать, зачем мы встречаемся. Смотреть и слушать телевизор, жевать шашлыки и пить водку можно и не ходя в гости.

Многие сетуют, что отсутствие в Израиле общественного транспорта по субботам не дает им возможности посещать друзей и родных. Никто почему-то не думает жаловаться на паутину телевизионных каналов, в которой люди застряли давно и, судя по всему, надолго, полностью утрачивая возможность и привычку испытывать радость от человеческого общения.

Телевидение становится родом наркомании. Программа передач – главной книгой для чтения. Люди перестают жить своей жизнью, думать о своих проблемах, стремиться друг к другу.

> *Так же и в нашем теле: смело выступающий лоб указывает на глубину мысли. У входа в каждую нашу бухту, или склонность, также лежит мель, и каждая на время служит нам закрытой гаванью, где мы задерживаемся. Склонности эти обычно не случайны, их форма, размеры и направление определяются очертаниями берегов и прежней осью поднятия. Когда бури, приливы или течения постепенно нарастят мель или спад воды обнажит ее и она выступит над поверхностью, прежняя едва заметная впадина, где приютилась мысль, становится самостоятельным озером, отрезанным от океана, а мысль обретает там особые условия и может под их влиянием превратиться из соленой в пресную, стать годной для питья, или мертвым морем, или болотом.*

Меня спрашивают: «Ты когда придешь?» Я говорю когда. Меня просят передвинуть визит на час, потому что как раз в это время мой друг будет занят общением с телевизором. У меня после таких просьб пропадает желание встречаться с ним. А вдруг я буду мешать своей скучной персоной наслаждаться мельканием на экране? Иной раз с ужасом думаю, что люди перестают быть нужны друг другу, что телевидение рано или поздно перенесет нас в какой-то иллюзорный, бесчеловечный мир больного одиночества.

Понимаю, что недопустимо критиковать голубой экран с жестоким фанатизмом талибов. Глупо требовать запрета «пропаганды порока». Ерунда это. Человеческая натура настолько грешна, что никакое зрелище не сделает нас более грешными. Само по себе любое изобретение человеческого гения ни в чем не виновато. Виновата наша трагическая неспособность соблюдать меру во всем.

– Что такое телевизор? – спросил Генри Дэвид Торо.

И я не знал, что ему ответить, и стал торопливо, глотая слова, рассказывать о других приметах нашего времени.

Нет ничего сложнее, недостижимей, чем искусство меры. Унизителен и страшен голод. Тупая резь в желудке способна толкнуть человека на любое преступление – от воровства до людоедства.

Обжорство может нанести огромный вред здоровью отдельного толстяка. Из множества способов самоубийства бедняга выбирает чревоугодие. По давней традиции люди склонны относиться к этому несчастью терпимо и даже с юмором.

И это правильно. Высокая душа человеческая спокойно обитает в теле толстяка и редко наносит урон доброте и творческим способностям.

«В здоровом теле здоровый дух» – это придумали греки, слишком озабоченные физическими данными своего подрастающего поколения.

«На самом деле – одно из двух» – точно дополнило древних наше время.

Но перейдем от личности к обществу. Вот здесь обжорство нации представляет смертельную опасность. Евреи никогда не были народом меры. За этой аксиомой все: и мятежность духа, и неудержимость, как в грехе, так и в праведности. Нет народа, который бы так себя боготворил и одновременно ненавидел. Нет народа, так преданно любящего свой дом и семью, но в то же время всегда готового к бродяжничеству.

Подумав об этом, я обнаружил, что Генри Торо нет рядом со мной, но осталась его тропа. Я шел по ней, а потому мог думать и

говорить так, будто он продолжал шагать рядом…

В презрении к мере, к золотой середине – смертельная опасность для устоев еврейского государства. На мой взгляд – бóльшая, чем арабская угроза.

Всевышний не дозволил евреям жить в безмерном грехе. «Избранный народ» все время на виду у Б-га. Кому-то он, возможно, и позволит молиться на золотого тельца. Евреи рано или поздно поплатятся за это. Только наивные люди видят в «избранности» детей Иакова повод для гордыни.

Общество потребления втянуло Израиль в свою орбиту. Смогут ли евреи соблюсти меру на этой орбите? Вот главный вопрос существования жестоковыйного племени. Не утратит ли народ Израиля душу в погоне за полнотой тела?

Б-гу наплевать на внешний вид еврея. Ему безразлично, как дети Иакова одеты, что едят и на какой четырехколесной модели передвигаются. Он озабочен тем, что невозможно обнаружить ни на одном рентгеновском снимке, тем, что способен увидеть только Он.

Не зависть, не «классовый» гнев бедняка заставляют меня страшиться безмерного богатства некоторых граждан Израиля. Я боюсь, что банковские счета этих людей – прямой путь к новой беде, нависшей над еврейским народом.

У Израиля есть сильный и богатый друг. Понятно, почему маленькая, окруженная врагами страна стремится походить во всем на этого друга. Израильтяне и здесь не знают меры и подвергают себя смертельной опасности…

Я брел по тропе Торо и бормотал о суетном, а по сути дела, опять думал об этой проклятой «роскоши человеческого общения», и Генри Дэвида не было рядом со мной, но тропа его не исчезала, хотя я продолжал говорить о том, что понятно только тем, кто знает, что такое телевизор…

Генри Торо смело критиковал свою страну. Он так сильно любил ее, что имел право на любой, самый беспощадный анализ той действительности, в которой жил.

В те годы не знал Торо, что следом за сытостью и богатством его страны последует претензия на абсолютную власть и мессианство, что все пойдет по накатанному сценарию и приведет в итоге к убийственной скуке подобия. Не знал, но предвидел, предсказывал.

Отсутствие меры часто сказывается в страсти к типизации. Человеческое сообщество в США страдает рядом характерных болезней, но симптомы этих хворей были замечены давно, и они не являются специфической особенностью одной лишь заокеанской демократии.

Деньги возбуждают стремление к власти, а власть, построенная на богатстве, гибельна для бедных и безвластных.

Об этом писал Генри Торо полтора века назад, когда землю еще не сковали повсеместно обручи железных дорог, телеграф казался чудом, а города не задыхались от бензинового яда, а вдыхали сладкий дух навоза.

Торо все еще нет на тропе рядом со мной, но я слышу его голос:

«Главное не то, что большинства предметов роскоши и большей части так называемых жизненных удобств человек может запросто лишиться, но то, что они являются явными препятствиями на пути развития человека в существо высшего порядка… Человек богат ровно настолько, насколько он способен отказаться от того, чем владеет».

И вот мы снова рядом. И думаем о том мире, в котором люди владели немногим, но даже эти «владения» показались Генри Дэвиду опасными, просто потому, что существа человеческие работали не ради самих себя, а ради суетных мнимых удобств и удовольствий жизни.

«Недостаточно быть прилежным тружеником, – писал Торо. – Так ведут себя и муравьи; вопрос в том, зачем столь прилежно трудиться?»

Люди не спрашивали себя об этом и тысячу, и триста, и сто лет назад. Не спрашивают они себя об этом и сегодня, а потому и не задумываются о серьезности проблемы меры.

Я всегда верил Торо, потому что он, несмотря на свою резкую критику современного общества, не принимал пути иллюзий-революций и утопических коммун.

Он знал, что изменение среды не способно воспитать нового человека. Он верил только в способность человеческой личности двигаться к совершенству.

«Реформа общественных структур без трансформации отдельных членов общества обречена на неудачу; без более совершенного индивидуума не может быть никакого реформированного общества» – так считал Торо задолго до Льва Толстого.

Идеализм? Конечно. Но насколько он честнее и благороднее кровавого бреда социальных реформаторов! Позиция Генри Дэвида удивительно похожа на еврейскую мечту о Мошиахе, о чуде явления светлой и великой личности, способной направить к добру весь мир.

Торо прекрасно знал, почему история человечества полна жестокости, войн и несправедливости. Только-только поднимали голову «преобразователи» мира, будущие фашисты и

коммунисты, а Генри Дэвид уже предвидел трагедию в противоречиях двух фундаментальных предпосылок: «Одна утверждает, что нужно переделывать себя, и тогда природа и условия жизни вновь придут в порядок; другая говорит, что нужно сначала преобразовать природу и условия жизни – и тогда человек достигнет совершенства».

В первой посылке – постижение сущности вещей, терпение и чувство меры. Во второй – гордыня, нетерпимость и безмерность человеческих амбиций.

Я невольно слишком далеко ушел от «телевизионной» тематики, от тезиса о радости человеческого общения. Но опять иду по тропе Генри Торо, а потому начинаю понимать, что беда не только в утрате этой радости.

Трагедия в том, что люди фатально утрачивают способность общаться с природой. Случилось то, о чем не раз предупреждал Торо.

Мы теряем землю под ногами, заковывая ее в асфальт. Мы утрачиваем счастье движения по этой земле. Мы перестаем понимать голоса животных и пение птиц. Уход от природы неизбежно ведет к утрате уважения к ней. Мы перестаем ценить дары природы. Мы равнодушно выбрасываем на помойку хлеб, даже не подозревая, что вместе с хлебом швыряем в тлен и грязь частицу своей души.

Мир технократии предлагает нам суррогат жизни, а не саму жизнь. Полотно гениального мастера не может тиражироваться и продаваться до бесконечности. Копии – вот неизбежный и вынужденный товар на рынке общества потребления.

Привычка к суррогату крайне опасна. Со временем копия начинает претендовать на первозданность подлинника и человек утрачивает способность отличать одно от другого.

Недавно смотрел голливудский фильм, получивший множество «Оскаров». Природа в этом фильме была роскошна и помпезна, исполнена в духе базарной живописи и не звала в своей пошлой сущности к подлинным радостям общения с миром живого, а уводила человека от этого мира в страну фальшивого подобия, в страну рабства, а не спасения.

– Что такое фильм? – мог бы спросить Торо. Ведь он родился задолго до изобретения кинематографа и телевидения. Он видел окружающий мир не тенью на стене, не в железной раме экрана…

В дневнике 1853 года Генри Дэвид писал: «Я люблю природу отчасти потому, что она – противоположность человеку, убежище, где можно от него укрыться… Среди природы я могу дышать полной грудью. Если бы мир был только царством человека, я не мог бы распрямиться во весь рост и потерял бы всякую надежду.

Мир человека для меня – оковы; мир природы – свобода».

> *Всякий раз, когда в мир является новый человек, не выступает ли где-нибудь на поверхность такая мель? Правда, мы так неискусны в навигации, что мысли наши большей частью плывут вдоль берега, не имеющего гавани; они знакомы лишь с бухтами поэзии или стремятся в открытые порты и становятся в сухие доки науки, где их просто ремонтируют, и ни одно естественное течение не придает им индивидуального своеобразия.*

Торо был гуманистом, но он будто предчувствовал, что вскоре человек начнет настоящую войну с окружающей средой, потеряет чувство меры, а вместе с ним и настоящую свободу жить в родстве с небом и солнцем, с травой и деревьями, с животными и птицами, потеряет великую силу Антея.

Не для того Израилю нужен лишний клочок пустынной земли, чтобы построить на нем очередные башни из бетона и пластика, а затем, чтобы ощутить великую свободу ухода от толп, крика, насилия, человеческой пошлости. Пространства, заполненные живой природой, нужны любому народу, как воздух. Здесь дело не в эгоизме – национальном или личностном. Думаю, что Торо забывал в общении с первозданным миром о самом себе. Свобода в природе дает нам возможность высшего альтруизма. Только в пустыне, в абсолютной тишине, в ином течении времени можно услышать Бога.

Именно у Торо я прочел о тайне особой восприимчивости праотца иудеев и мусульман Авраама. Генри Дэвид писал: «Я уверен, что природа обладает особого рода искуснейшим магнетизмом, который направляет нас на верный путь, если мы, отключив мысли, предаемся ее власти».

Убежден, Авраам смог услышать Бога только тогда, когда «отключил свои мысли» и подчинил себя власти природы.

Ничего не поделаешь, Торо не уважал законов человеческих и даже великой Конституции своего молодого и мужественного государства. Он и к демократии относился с недоверием, как и ко всему, что шло от человека. Задолго до конституционного прихода к власти Адольфа Гитлера Торо писал: «…Если большинство проголосует за то, чтобы Богом был дьявол, меньшинство станет жить и вести себя соответственно, будет повиноваться победившему кандидату, надеясь, что когда-нибудь, с перевесом в один голос, председательский Бог будет восстановлен в правах».

Друг Торо, замечательный поэт Эмерсон, сказал о Генри

Дэвиде: «Он был человеком редкой, тонкой и абсолютной религиозности».

Скажу так: Торо владел уникальной способностью постигать меру вещей мира природы и человеческого сообщества. Отсюда и его «редкая религиозность», свободная от начетничества и фанатизма.

Тропа Генри Дэвида Торо. Он рядом со мной. Или это лишь кажется мне? Нет, конечно, рядом, даже в наших суетных делах. Сколько было и сколько предстоит еще споров о Конституции в Израиле. Читаю письмо Торо другу: «Вопрос не в том, сэр, заключили ли ваши предки договор с дьяволом семьдесят лет тому назад и требуется ли поэтому сейчас его выполнять; вопрос в том, намерены ли вы – несмотря на прошлое отступничество ваше или ваших предков – наконец-то послужить Б-гу и жить в соответствии с вечной и единственно правильной Конституцией, которую составил для вас Он, а не Джеферсон или Адамс».

Нынешний конституционный либерализм Запада утрачивает чувство меры. И превращается в свою собственную противоположность: в диктат моды на основе пошлого подражательства. Так называемые «либеральные свободы» неизбежно становятся новой формой атеизма и духовного рабства.

Вновь читаем у Торо: «Если человек не шагает в ногу со своими товарищами, это может означать то, что он слышит другие барабаны. И пусть он следует за музыкой, которая ему слышится – как бы она ни звучала и из какой бы дали ни доносилась».

«Барабаны судьбы» – все это придумано уже потом, спустя десятилетия.

Сила пророческого гнева – одно из немногих лекарств против заблуждений юдоли печалей наших. Гневен и Торо. Но в гневе этого человека были мужество и честность, а не страсть обличать и подчинять своей воле. В гневе его была великая мера искренности: «Самым позитивным видом жизни, который известен истории, издавна является постоянный уход от жизни, очищение собственных рук от ее всеобщей низости и желание не иметь с ней ничего общего».

И как тут не вспомнить о человечестве, застывшем у телевизионного экрана, когда невозможен уход даже от суррогата жизни, от квинтэссенции ее низости.

Генри Дэвид Торо всегда обожествлял странника, человека идущего. Он был уверен, что каждый, совершающий свободную прогулку, «направляется в Святую землю».

Разве только телевизор приковывает нас к креслу в камере

нашего жилища? Ту же роль играют автомобили. Человек перестает познавать мир. Он не смотрит на дорогу, а только на дорожные знаки.

В своем эссе «Прогулки» Торо писал о великом «таланте к бродяжничеству». Он не видел в дороге бродяги возможность праздности. Генри Дэвид считал, что только странник способен познать мир, оценить подлинную его красоту, воспринять мудрость.

Евреи – народ дороги. Страсть к бродяжничеству детей Иакова – это, пожалуй, единственное, что наталкивает меня на мысль о зыбкости оседлого, государственного бытия евреев.

В «Прогулках» Торо писал: «Я думаю, что не смогу сохранить здоровье и бодрость духа, если не буду каждый день часа по четыре, а то и больше бродить по лесу, по холмам и полям, совершенно забыв о земных делах».

Вот я и боюсь, что вдруг устанет душа еврейского народа от грязи и крови государственного существования, и снова отправятся дети Иакова в опасный путь, «совершенно забыв о земных делах».

Впрочем, и этого не нужно бояться. Грех страха ведет к параличу. Главное – двигаться и верить. Снова я слышу Торо, его тихий, но убедительный голос: «Одолевайте зло силой добра. Не принимайте ограниченную философию тех, чье мужество дает не больше света, чем грошовая свечка, от которой большинство предметов отбрасывают тень большую, чем они сами».

Тогда, сто пятьдесят лет назад, Торо думал, что люди больше боятся не самого зла, а его тени. Он даже не подозревал, что тень будет способна жить сама по себе, даже в темноте, без свечи и солнечного света.

Но не будем об этом… Передо мной тропа Торо. «Куда она ведет?» – спрашиваю у Генри Дэвида. На этот раз он и не думает отмалчиваться:

«Мы идем в Святую землю, и, возможно, однажды солнце засияет ярче, чем раньше, прольет свой свет в наши умы и сердца и осветит всю нашу жизнь великим светом пробуждения, таким ровным и золотистым, каким осенью оно освещает речной берег».

2001 г.

Любовь Франца Кафки

Ты принадлежишь мне, Фелиция. Я сделал тебя своей, и ни в одной сказке нет женщины, за которую сражались бы дольше и отчаяннее, чем я сражался за тебя с самим собой.

Франц Кафка. «Дневник»

Гений незавершенности – только в небольших новеллах он ставил точку. На последней странице больших вещей, своих романов, Кафка ни разу не осмелился вывести «свинцовое» слово «конец».

Видимо, так он и воспринимал это слово: с ужасом или панической неприязнью. Франц Кафка имел право на недосказанность, на внезапный обрыв речи, на долгое молчание по причине убедительности сказанного прежде. Его незавершенные вещи заслуженно считаются самостоятельными величинами в мировой литературе.

Кафка, по утверждению Макса Брода, был совсем равнодушен к славе. Творчество свое он считал «формой молитвы», то есть делом сугубо личным, совершенно интимным, да и какая может быть завершенность в молитве? Молитва бесконечна, пока жив человек, умеющий ее произносить.

Кафка обладал уникальным правом не завершать начатое. Похоже, в незавершенности он и видел единственный путь в бессмертие. И Кафка обессмертил свое творчество «молитвой».

Сам облик писателя странен и невозможен. Еврей, живущий среди славян, писал свои произведения на немецком языке. Странное, причудливое смещение, ставшее возможным только в преддверии чудовищных катаклизмов, потрясших мир в двадцатом веке.

«Молитвы» Кафки кажутся миражом, случайным видением, способным раствориться, исчезнуть в любую минуту.

Интересно, что и сам Кафка считал себя явлением ирреальным. В одном из прощальных писем Фелиции Бауэр читаю: «Поскорее забудьте тот призрак, коим я являюсь, и живите радостно и спокойно, как прежде».

Обычной женщине нельзя жить «радостно и спокойно» рядом с человеком, который знает, во что превратится мир через четверть века. Такие сведения не нужны живущим, как и сведения

о точной дате своей смерти.

Кафка уверял близких, что стремится к отцовству, мечтает о семье, но был беззащитен в страхе перед обыкновенным бытом, перед тем, что Антон Чехов называл «пошлостью жизни». Франц Кафка считал своими детьми слова, написанные на бумаге.

Зарабатывать литературным трудом он не хотел и не умел. В отместку Кафка всю жизнь был вынужден насиловать свою душу пустой нелюбимой работой. Вполне возможно, он думал о семье, как еще об одной цепи, способной приковать его накрепко и до последнего часа к постылому труду страхового агента.

Друг Кафки Макс Брод писал Фелиции Бауэр, пытаясь объяснить девушке, с кем ее свела судьба: «Франц очень страдает от того, что ежедневно должен находиться в конторе до 2. Вечером он еще слишком утомлен, и таким образом ему для “полноты видения” остается только ночь. Это несчастье!»

Невесте, здоровой девице, Брод счел нужным сообщить, что ночи тратит Кафка на «полноту видения». Друг Кафки был убежден: девушка должна принести себя в жертву гению: «И при этом он пишет роман, затмевающий все известное мне в литературе. Как мог бы он писать, если бы был свободен и оберегаем надежными руками».

Судя по всему, Макс Брод ошибался. Его другу не нужна была жертва, готовая посвятить всю свою жизнь охране его таланта. Не могу представить себе Кафку хозяином «замка», а не бездомным «землемером». Господин К. – всем довольный отец семейства? Нет – это невозможно.

Да и сам Кафка писал об этом с предельной откровенностью: «Живи я один, я, быть может, когда-нибудь мог бы отказаться от службы. Женатым я никогда не смогу этого сделать».

В другом письме Брода Фелиции читаем: «Если родители так его любят, почему не дадут ему 30 000 гульденов, как дочери, чтобы он мог уйти из конторы и где-нибудь на Ривьере, в дешевом местечке, создавать произведения, которые Бог намерен через его мозг передать миру».

Кто знает, смог ли Франц Кафка на этой самой Ривьере в тишине, сытости и покое услышать Бога? Не знаю. Совсем не исключено, что жил великий писатель жизнью, единственно необходимой ему для создания того, что он смог создать. Иная жизнь и дала бы миру другого Кафку. Только неизвестно, сумел бы тот, другой, остаться в анналах литературной истории.

Тем не менее Францу Кафке, как и каждому смертному, нужна была любовь, но особого свойства: стремился он к какому-то донкихотскому служению одному лишь имени своей избранницы, к рыцарству чувств, без которого писатель не

мыслил своей жизни. Жизни в литературе, другой он не признавал. Именно такая любовь казалась Кафке наиболее реальной в иллюзорном, зыбком мире. Конечно, и такая любовь по-своему несовершенна, но как здесь не вспомнить, что Франц Кафка добился невозможного: совершенства через незавершенность, пожертвовав во имя этого идеала практически всем, чем может пожертвовать смертный.

И сама жизнь Кафки оборвалась слишком рано (он умер в сорок один год) и в единственной, вполне возможно, любви он так и не смог поставить точку, не стал отцом и мужем. Выходит, и роман его страсти тоже остался недописанным.

Оборванный жест, полшага, прерванная на полуслове речь… Читаем «Письмо к отцу»: «Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед – это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку».

Что помешало Францу Кафке получить, по его же признанию, высшую награду в этой жизни. Может быть, он различал уникальным зрением провидца вполне вероятную судьбу своих еврейских детей, рожденных в Праге или Берлине за двадцать лет до прихода нацистов к власти. Кафка, автор потрясающей новеллы «В исправительной колонии», мог предвидеть все то, что случится с его возможными детьми. Но дело, конечно, не только в пророческом гении писателя.

Смотрю на портрет Фелиции Бауэр. Очень умное и столь же некрасивое лицо. Рядом Кафка: огромные глаза и уши инопланетянина. Фото сделано после второй помолвки, дальше все оборвалось… У Кафки началось горловое кровотечение. Приговоренный к смерти не имеет права думать о браке, о бессмертии в детях – так считал Франц Кафка.

Он не сломал жизнь мудрой, крепко стоящей на ногах Фелиции Бауэр. Невеста Кафки благополучно вышла замуж, родила детей, бежала от коричневой чумы и умерла старухой, на много лет пережив своего первого жениха.

Была ли любовь с первого взгляда между Францем и Фелицией? Похоже, что да. Тем не менее Кафка записывает в дневнике 13 августа 1912 года: «Фройляйн Фелиция Бауэр… Она сидела за столом и показалась мне похожей на служанку. Меня не заинтересовало, кто она, я просто примирился с ее присутствием. Костлявое пустое лицо, открыто показывающее свою пустоту. Непокрытая шея. Накинутая кофта. Выглядела одетой совсем по-домашнему, хотя, как позже выяснилось, это было совсем не так».

Но вдруг, следом иное и по духу и по букве, и как это похоже на Кафку: «Я немного отчуждаюсь от нее, так близко подступаясь

к ней. В каком же я сейчас состоянии, если отчуждаю себя от всего хорошего в целом, да к тому же еще и верю этому».

Кафка еще не успел приблизиться к девушке, которая ему очень понравилась, а уже бежит от нее, пугает сам себя «служанкой с костлявым лицом».

Беспощадная характеристика случайно встреченной девушки оказалась слабым противоядием. Через тридцать семь дней после первой встречи Кафка пишет Фелиции в Берлин: «На тот – легко допустимый – случай, если Вы обо мне совсем ничего не вспомните, я представляюсь еще раз: меня зовут Франц Кафка… рукопожатием было скреплено Ваше намерение, и даже обещание на следующий год совершить… путешествие в Палестину».

«Путешествие в Палестину» Кафка так и не совершил его, но интересно, что через одиннадцать лет, за месяц до смерти, он говорил Доре, своей последней, верной подруге, что сразу после выздоровления они переселятся в Палестину.

Верно, мода была такая среди еврейской молодежи Европы: высокая и романтическая. В фильме Герца Франка «Оглянись» есть удивительный кадр – фотография, сделанная отцом режиссера в середине тридцатых годов прошлого века: вереница мальчишек изображает вагоны, а передние малыши оседлали фанерный паровоз, на котором написано по-немецки: «В Иерусалим!»

Единицы в те годы пошли на риск переезда. Остальные довольствовались романтикой паровоза из фанеры.

Но это тема для другого расследования. Для нас же упомянутая в первом письме Кафки «Палестина» всего лишь прелюдия серьезного чувства. За упоминанием родины предков, за возможным спасением на Святой земле – надежда на спасение вдвоем. Обычная, и такая знакомая почти каждому мужчине, вера сильного пола в спасительную миссию слабого.

«Нет ничего печальнее, чем письмо, посланное по неточному адресу, – отмечает Кафка во втором своем послании Фелиции. – Это уже и не письмо вовсе, а скорее вздох».

Ну как тут не вспомнить о «вздохе» чеховского Ваньки Жукова, над которым обливается слезами не одно поколение читателей. Но Кафка все-таки раздобыл точный адрес, его «вздохи» нашли ту, которой они были предназначены. Впрочем, печальные ноты в письмах Кафки появятся нескоро.

В начале переписки надежд все-таки было больше, чем разочарований.

«Кстати, что насчет путешествия в Палестину? Если не в ближайшее время, то в скором будущем, следующей весной или осенью непременно».

В последующем письме Кафка волнуется, не получив ответа: «Да и теряются ли вообще письма – даже те, которых ждут уже почти без надежды, из одного только необыкновенного упрямства? Или, может быть, Вам не передали мое письмо из-за упоминания о палестинской затее, которую не одобряют Ваши домашние? Но возможно ли такое в семье, а тем паче по отношению к Вам?»

В нашем распоряжении нет писем Фелиции Францу. Кафка сжег их. Но, вполне возможно, были эти письма и умны, и тактичны, и полны утешений. Не мог же такой человек, как Кафка, годами переписываться с пустым местом.

Макс Брод характеризует Фелицию так: «Рассудительность, деловая хватка, размах были лучшими свойствами ее натуры». Фелиция в двадцать восемь лет стала управляющей крупной, берлинской фирмой… Если бы только Кафка захотел. Если бы только…

Сначала, как водится, все шло замечательно. Через три месяца Кафка уже называл в письмах Фелицию «Любимая».

«Любимая, сегодня я пишу Тебе прежде, чем займусь своей писаниной, чтобы не было чувства, что я заставляю Тебя ждать, чтобы Ты сидела не против меня, а рядом, подле, помогая мне писать спокойнее».

Вот так: сначала послание Любимой, потом литература. Вот оно, настоящее признание в любви для такого человека, как Франц Кафка. Мало того, он вводит любовь в свою работу, в рассказ «Приговор».

Писатель не вел дневник в конце 1912 года, но в записи от 11 февраля 1913 года читаем: «“Фрида” имеет столько же букв, что и Фелица. И ту же начальную букву. Бранденфильд начинается с той же буквы, что и Бауэр, и «фельд» тоже значимое слово. Может быть, даже мысль о Берлине появилась не без влияния, и воздействовало, может быть, воспоминание о Бранденбургской марке».

Перевод немецкого слова feld – поле. Что там было в поле между Фелицией и Францем. Это он потом напишет слово «взаимопроникновение», но оно случилось именно тогда, иначе Кафка не счел бы себя вправе назвать Фелицию Любимой.

Начало 1913 года, последнего тихого года двадцатого века. Отношения Франца и Фелиции достигают высшей точки. Из письма, написанного в ночь с пятого на шестое января: «…не в состоянии ни читать, ни писать, ни думать, ни чувствовать ничего, кроме Тебя. Я тогда с Тобой всецело… Более сильной близости, пожалуй, и не бывает, выше и сильнее этого только взаимопроникновение… “Ты моя любима!”, а потом еще раз “Ты

моя любимая”, а потом опять “Ты моя любимая” – ничего, кроме этого».

«Взаимопроникновение» – в тот момент Кафка был убежден в возможности выхода из тупика одиночества. В спасение от самого себя, от своего предназначения бесконечно рожать в муках боли слова и записывать их на бумаге.

Но проходит несколько дней, и Кафка вновь и с жаром объясняется в любви к литературе в письме к женщине, с которой познал спасительное счастье «взаимопроникновения»: «Писать – это ведь раскрываться до самого дна; даже крайней откровенности и самоотдачи, допустимой в общении между людьми, такой, когда кажется, вот-вот потеряешь себя, чего люди, покуда они в здравом уме, обычно стараются избегать, ибо жить, покуда жив, хочет каждый».

Все письмо о любви к литературе, а в конце: «Что скажешь, любимая?»

Кафка сознавал: за любовью к Фелиции Бауэр – норма, покой, возможный достаток. За литературным трудом с той фанатичной отдачей, на которую только он был способен, – безумие и смерть. Кафка ясно понимал, что стоит перед выбором между жизнью без литературы и смертью в ней.

21 июня 1913 года он пишет в дневнике: «Какой чудовищный мир теснится в моей голове! Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав. И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для этого я живу на свете, это мне совершенно ясно».

Через два дня Кафка направляет Любимой длинное послание, в котором, в самых уродливых, мрачных красках рисует свое семейство. Причем невинным поводом к этому стал внешний облик постаревших и раздобревших родителей и веселая «игра с младенцем» – племянником Кафки.

Письмо это заканчивается так: «Любимая, как я мыслями бежал от них к Тебе».

К кому, не совсем понятно. К живой женщине, будущей жене и матери, способной раздобреть и устать от трудной жизни точно так же, как сестры и родители Кафки. Да нет же, такая Фелиция не нужна была Францу. Какая? Знал ли он сам это?

13 августа 1913 года Кафка записывает в дневнике: «Может быть, теперь все кончено, и мое вчерашнее письмо было последним. Это было бы, безусловно, правильно. Какие страдания ни предстоят мне, какие страдания ни предстоят ей, их нельзя сравнить с теми страданиями, которые были уготованы нам вместе. Я постепенно приду в себя, она выйдет замуж – это единственный выход у живых людей. Мы вдвоем не можем

прорубить для нас двоих дорогу в скале, достаточно, что мы целый год проплакали и промучились из-за этого».

В тот же день, вечером, очередное письмо от Любимой и новые иллюзии, новые мечты.

14 августа 1913 года Кафка отвечает Фелиции Бауэр: «Любимая Фелиция, только в последнем письме я снова Тебя узнал… я поверил, что со мной прежняя Фелиция. Наконец-то она снова оттаяла… “Литераришес эхо” опубликовало недавно рецензию на “Созерцание”. Рецензия очень благожелательная, но в остальном ничем не примечательная. Только одно место бросилось мне в глаза, там, в ходе разбора, вдруг говорится: “холостяцкое искусство Кафки…” Что ты на это скажешь, Фелиция?»

Вновь Кафка верит в возможность житейской нормы, спасения от «чудовищного мира», живущего в его голове.

Неизвестно, чем ответила Фелиция Кафке. Он же сам будто забывает о намеке насчет «холостяцкого искусства», записывая в дневнике вечером того же дня: «И все же, несмотря ни на что, будь мы, я и Фелиция, полностью равноправны, имей мы одинаковые перспективы и возможности, я бы не женился. Но тупик, в который я постепенно загнал ее судьбу, вменяет мне это в неизбежную, хотя и вовсе не непереносимую обязанность. Здесь действует какой-то тайный закон человеческих отношений».

Кафка ошибался: он не загнал в тупик свою Любимую. С Фелицией все было в полном порядке. Это Франц записывает на следующий день в дневнике: «Мучительное утро в постели. Единственным выходом мне казался прыжок из окна… Я запрусь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать».

«Прыжок из окна», как форма бегства от брака. Все знакомо. Можно вспомнить хотя бы «Женитьбу» Гоголя. «Прыжок из окна», как спасение от безумия, – это Осип Мандельштам во время ссылки в Воронеж.

Все решено, но Кафка пишет отцу Фелиции, а не самой Бауэр. Письмо это он считал настолько важным, что занес его в дневник: «…сравните меня с Вашей дочерью, этой здоровой, жизнерадостной, естественной, сильной девушкой… Она, насколько я могу судить, будет со мной несчастна. Не только из-за внешних обстоятельств – по характеру своему я гораздо больше человек замкнутый, молчаливый, нелюдимый, мрачный, но для себя я не считаю это несчастьем, ибо это лишь отражение моей цели… Так я живу в своей семье, среди прекрасных и любящих людей, более чужой, чем чужак… Причина только та, что мне просто совершенно не о чем с ними говорить. Все, что не

относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть… Я лишен всякой склонности к семейной жизни… У меня совсем нет родственных чувств… Брак не смог бы меня изменить, как не может меня изменить моя служба».

Все это, похоже, точка, столь нелюбимая Кафкой. «Отношения с Фелицией еще долго не могли исчерпать себя», – пишет Макс Брод. И это верно, но отношения эти были всего лишь попыткой неестественного многоточия после точки. Писем Кафки Фелиции после 1913 года не сохранилось. Только записи в дневнике о двух встречах.

17 января 1915 года: «С Ф. В Боденбахе. Мне кажется, невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились, но я не отваживаюсь сказать ей об этом. И я снова обнадежил ее безрассудно – ведь с каждым днем я старею и коснею».

6 июня 1916 года, Мариенбад: «Несчастная ночь. Невозможность жить с Ф. Невыносимость совместной жизни с кем бы то ни было. Отсутствие сожаления об этом. Сожаление о невозможности быть одному».

Все – дальше тяжкая, смертельная болезнь (1917 год) и гибель через шесть лет: гибель призрака в призрачном окружении духов, созданных фантазией великого писателя.

Как же все сложно устроено в мире гениев. «Не она, не она», – без конца твердил Лев Толстой, поминая Софью Андреевну. И это в окружении детей, в сытой и покойной атмосфере родового имения. Толстой рвался из этой сытости всеми возможными средствами. Вырвался наконец и умер, как бродяга на чужой койке, вдали от дома.

С возрастом Лев Николаевич отказался от мяса, перешел на траву, фрукты и овощи. Франц Кафка сделал это совсем молодым. Он всегда ненавидел мясную пищу и со временем пристрастился к вегетарианской кухне. Мясная, жирная пища в те годы была хоть какой-то защитой от смертельной косы туберкулеза. Родители настойчиво уговаривали сына не отказываться от мяса. Нормальные родители живут инстинктом продолжения рода. Кафка видел свое продолжение в ином… Он, кстати, не понимал еврейского чадолюбия и боялся детей.

Конфликты на почве питания между Кафкой и родителями достигали какой-то противоестественной нездоровой остроты. Кафка выстоял… и умер от туберкулеза. Если бы подчинился воле матери и врачей, вполне возможно, прожил бы гораздо дольше, женился и осознал себя отцом, но вряд ли стал бы тем, кем мы его знаем сегодня, – Францем Кафкой.

«Травки», возможно, спасли Льва Толстого от преждевременной смерти, но погубили Кафку. Впрочем, какая

разница, чем питались классики, кого любили и каким образом реализовали свой Божий дар.

Одно лишь очевидно: жизнь их никогда не была пустой и скучной. Они сражались без устали, на пределе душевных сил, с Богом, с окружающей средой и сами с собой, что не менее важно. Они шли на добровольное безумие и были безумны с точки зрения обывательской морали и приносили себя в жертву во имя известной только им цели.

Безумие гения порождает норму, мудрость, гармонию, красоту. Так уж устроена природа подлинного таланта. Мучительная жизнь и трагическая любовь Франца Кафки еще одно доказательство этому.

2002 г.

Камера пыток

Опыт литературного монтажа

Демографический взрыв неизбежно ведет к перестройке человеческой цивилизации, становится причиной глубоких и мелких кризисов, придает особый характер противоречиям между народами, государствами и культурами.

Думаю об этом, когда вижу на экране телевизора толпы беснующихся фанатиков под зеленым флагом. Именно их можно считать ударным отрядом грядущей перестройки мира.

Конфликт этот, как мне кажется, не так уж сложен. Толпа, некое коллективное сознание, атакует личность, Богодуховную сущность потомков Адама и Евы, их сложившиеся в тысячелетиях представления о свободе, гуманизме и правах человека.

Атака эта не сегодня началась и не завтра конечно же закончится.

Фанатики ислама – всего лишь преемники большевизма и нацизма. При внешнем различии идеологий в главном они едины: человек – ничто, толпа – всё.

В этих заметках я сделал попытку исследовать страницу истории, близкую русскоязычному читателю. Страницу, когда коллективному сознанию толп удалось уничтожить в СССР то, что волей или неволей противилось массовому психозу так называемых строителей коммунистического будущего.

Нормальное человеческое сообщество состоит из людей добрых и злых, грешников и святых. На тех, в ком всего понемногу, и тех, в ком нет ничего, кроме пустоты. Общество ненормальное делится на палачей и жертв. Причем роль палача всегда размыта до неуловимого хаоса коллектива, массы. У жертвы всегда есть имя и посмертная если не слава, то память о тяжкой, мучительной роли в трагикомедии, именуемой жизнью.

…Как медленна, спокойна природа. Как чужда она всяким революционным преобразованиям, как терпелива эволюция. И как угрожающе быстро меняются человек и среда, которую он создает вокруг себя. Столетия на наших глазах превращаются в годы, годы в дни, дни в минуты, минуты в секунды… Род человеческий похож на безумного бегуна, который из последних сил увеличивает скорость, не догадываясь, какую дистанцию ему предстоит преодолеть.

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу

Его стремительное тело.

Николай Заболоцкий. «Футбол»

Николай Алексеевич Заболоцкий был футбольным болельщиком. В те далекие времена многие замечательные люди страстно любили эту новую игру, а зрители на стадионе все еще не были толпой, как, впрочем, и в более позднее время, в середине пятидесятых годов прошлого века, когда и я начал ходить на стадион.

В те годы роль толпы и палача исполняло «государство рабочих и крестьян», а публике запрещалась всякая самодеятельность по созданию массовых объединений. Футбольные болельщики были футбольными болельщиками – и только.

К началу матча ручейки болельщиков сливались в один широченный пояс вокруг зеленого поля, но круг этот состоял из людей совершенно разных: каждый «болел» по-своему и кричал своим голосом свои слова и размахивал руками так, как мог это делать только он.

Собранные на радость победы или на печаль поражения люди не были толпой, не были фанатами, ряженными в одну форму, не орали хором, не раскачивались в такт, не устраивали из собственных тел «волны».

Бузил народ спонтанно, не было в те годы войны кланов, не было сведения счетов после игры, подчас кровавых. Футбол был футболом, а не поводом к ненависти и агрессии. Футбол принадлежал, как правило, сам себе и болельщикам, а не дельцам от рынка и толпам фанатов.

> Глядя на то, что делается во всех собраниях, на то, что делается на свете с условными приличиями и увеселениями, мне поразительно ясна стала, кажется, никогда еще не приходившая мне мысль, что кучей, толпой, собранием делается только зло. Добро делается каждым отдельным человеком порознь.
>
> *Лев Толстой. «Дневник», 15 февраля 1895 года*

Какой, к чертям, Нострадамус с его прогнозами! Написал все это «зеркало русской революции» как раз накануне безумного «века толп», века победы зла, а не победы над злом, как думают и сегодня любители революционных преобразований.

Индивид умер, да здравствует масса! Вот тот суровый факт, который открывает для себя наблюдатель современного общества. В результате упорной и ожесточенной борьбы массы, кажется, повсюду одержали поразительную и бесповоротную победу. Именно они ставят новые вопросы и вынуждают изобретать новые ответы, поскольку их сила является реальностью, с которой отныне нужно считаться.

Серж Московичи. «Век толп»

История землян, как нам рассказывают об этом умные книги и бесстрастные летописи, соткана из непримиримых противоречий, череды конфликтов народов и государств. Если верить Московичи и доброй дюжине блистательных умов в философии, разного рода войны: локальные, гражданские, мировые – всего лишь видимость реального конфликта: сражения между толпой и личностью, подлинной культурой и ее суррогатом.

В рассказе Рея Брэдбери «Улыбка» остатки несчастного человечества, обвинив во всех своих бедах культуру прошлых веков, уничтожают ее следы и возвращаются в пещеры. Такой поворот событий еще как-то понять можно, а тут и без ядерной зимы, если верить французскому философу Сержу Московичи, удалось толпе победить личность, упразднить за ненадобностью гений человеческий.

Я пробую босой ногой прибой поэзии холодной,
А где-то кто-нибудь другой – худой, замызганный, голодный,
С разбегу прыгнет в пенный вал, достигнет сразу же предела,
Где я и в мыслях не бывал.
Вот в этом, видимо, все дело.

Борис Слуцкий

И вдруг пустота, зияющая пустота. Никто не собирается прыгать в «пенный вал». Некому прыгать.

«С волками площадей отказываюсь выть», – писала Марина Цветаева. Воя не было, был голос. Нынче и голосов не слышно – один вой.

Вот и все. Смежили очи гении,

И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении,
Стали слышны наши голоса.

Давид Самойлов

Но что-то повелело гениям «смежить очи»? Как удалось толпе одержать «бесповоротную победу»? Почему понятная зависть подмастерья к мастеру, бездарности к таланту породила такую яркую, всепобеждающую ненависть и разрушительную силу?

Тема необъятная. Автору этого монтажа она не по силам. Хотел бы остановиться всего лишь на одной стороне упомянутой победы масс, связанной с насилием над личностью, насилием физическим и моральным, когда схватка между индивидуальностью и толпой перешла в стадию жестокого поединка не на жизнь, а на смерть.

Поначалу решил собрать свои доморощенные размышления на эту тему, но по мере чтения сопутствующих материалов все больше убеждался, что пустое это занятие, и силу документа можно лишь слегка дополнить, да и то в исключительных случаях.

> Несомненно, что для рядового читателя XX века история телесных наказаний интересна и поучительна не столько в смысле познания самого института телесных наказаний – института ныне отжившего или, вернее, отживающего, сколько в отношении всестороннего изучения быта и нравов народа, практиковавшего в продолжении веков членовредительство, боль и срам, как законные и обычные средства воздействия на нарушителей закона.
>
> *Николай Еврейнов. «История телесных наказаний в России»*

Исследование это написано в 1909 году. Всего лишь век назад. Автор – либерал и демократ – был убежден, что пишет последнюю главу в истории пыток. Ему и в голову не приходило, что наступление толп только начинается, а пытка – необходимая составляющая грядущей победы масс.

> Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые

пролепетала: «Папа!». Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

В России в тридцатые и сороковые годы государство производило писательских вдов в таких количествах, что к середине шестидесятых из них можно было создать профсоюз.

Соломон Волков. «Диалоги с Иосифом Бродским»

«Воспоминания» Надежды Мандельштам – настольная книга Иосифа Бродского. Он не раз рекомендовал ее интеллектуалам Запада – больным злокачественной левизной. Увы, на день сегодняшний – больным неизлечимо. В мемуарах Надежды Яковлевны читаю:

Гражданская смерть – ссылка или, еще точнее, арест – потому что сам факт ареста означал ссылку и заключение, приравнивался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант; вдовство и сиротство начиналось с момента ареста.

В «Дневнике» Евгения Шварца много пронзительных и горьких страниц посвящено жене Николая Заболоцкого Екатерине Васильевне. Внезапное вдовство – не вдовство, но нечто к этому близкое. Так в те дни ощущалась разлука.

«Вождь и учитель», разрушая Россию, осиротил весь подвластный народ. Сиротство стало не исключением, а нормой. Пытка, мука сиротством все годы Гражданской войны, раскулачивания, террора…

Вдовство, сиротство, но и детоубийство. У Юлия Марголина в «Путешествии в страну Зэ-ка», в книге о ГУЛАГе:

Лагеря, где 10–15 миллионов человек в лучшей поре их физического расцвета проводят долгие годы, – осуждают их на бесплодность, на суррогаты чувства, мужчин на разврат, женщин на проституцию. В нормальных условиях эти люди давали бы жизнь ежегодно сотням тысяч детей. В лагерях совершается величайшее детоубийство мира.

«Вождь народов» сократил население подвластного государства не меньше чем на треть, тем же были заняты и Адольф Гитлер, и председатель Мао, и Пол Пот в Камбодже… Толпы побеждают, уничтожая себя же. За личностью – Эрос – любовь, за толпой – Танатос – смерть.

В атмосфере покоя и тишины массы бессильны. Только в динамике, причем шумной, – они обретают чувство своей правоты и значимости.

> В советских фильмах, я заметил, очень много лишнего шума… Что-то подобное я ощущал в ресторанах на Брайтоне. Где больше шума, там и собирается народ. Может, в шуме легче быть никем.
>
> *Сергей Довлатов. «Соло на ундервуде»*

«Быть никем» – это и значит быть в толпе, быть с толпой. Шум без толпы существовать может: ну там грохот водопада, шелест листвы, пение птичек, а вот толпа без шума невозможна. Без шума, переходящего в вой и грохот, и постоянного желания действия.

> Даже сама телесная сущность Гитлера, посредственная и банальная, не ограничивала его страсть к движению, позволяя раствориться в человеческой массе. Лишь действие гарантировало ему стабильность. «Быть» значило для него «делать». Вот почему Гитлер и его режим не могли обходиться без врагов.
>
> *Альбер Камю. «Бунтующий человек»*

И сегодня посредственным и банальным политикам приходится «растворяться в человеческой массе», идти навстречу толпе и вместе с толпой. Искать без устали врага. И действовать, действовать, действовать…

> И вечный бой! Покой нам только снится.
> Сквозь кровь и пыль
> Летит, летит степная кобылица
> И мнет ковыль…
> И нет конца! Мелькают версты, кручи…
> Останови!
> Идут, идут испуганные тучи,
> Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Александр Блок – еще одна жертва действия: смятый, раздавленный в шаге талант. Движение затягивает, завораживает, берет в плен. Толпы, несущиеся в неведомом направлении и неизвестно зачем, уводят человека от тишины, природной лени и привычки к созерцанию. Толпа никогда бы не смогла одержать победу без жестокости как формы и сути действия, без динамики насилия.

Почему страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, —
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Так же, как и я.

Николай Олейников, 1937

Арестован как враг народа 3 июля 1937 года, 24 ноября этого же года расстрелян. «Погибнешь – не умрешь», – писал Олейников. Велик русский язык! Всего лишь одно слово, а возможность тихо и мирно скончаться в положенный срок на своей постели исключена полностью. Не обычная смерть следует за прожитой жизнью, а гибель: нечто насильственное, преждевременное.

Живой Олейников в дневнике великого сказочника Евгения Шварца:

> Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное – страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил.

Толпе не нужны ангелы и демоны. Толпа приемлет людей без лиц, существ расчеловеченных.

> Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им

убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей.

Мишель Монтень. «Опыты»

Шестнадцатый век – век Монтеня. Был у меня соблазн добраться до источников более древних, но передумал. Зачем ломиться в открытую дверь, когда и так все ясно.

Автор современный, Ю. Антонян, в книге «Жестокость в нашей жизни» пишет: «Вообще, насилие в руках агрессивного и жестокого человека приобретает самостоятельное, самодовлеющее значение как орудие установления его власти. В момент применения насилия, терзая, пытая, уничтожая другого, причиняя ему страшные страдания, преступник ощущает всю полноту своей власти. Быть может, именно в этот момент, без остатка порабощая свою жертву, он живет наиболее полной жизнью».

Массы, значит, побеждают, используя «пещерные навыки», природную склонность человека к садизму и его стремление к любой форме власти. Жестокость и толпа синонимы? Но не все так просто. Достоевского Федора Михайловича никак к толпе не отнесешь. Личность, да еще какая, но вот что писала о классике жена Николая Евреинова Анна в брошюре «Подполье гения»: «Сам Достоевский выдумывал муки и мучительства только потому, что они волновали его самого. Повышая свое сладострастие через экзекуцию над героями, он повышал свое творческое напряжение. Таков был его путь, но не пройди он его, не было бы у нас Достоевского». Вывод любопытнейший. Достоевский и Франц Кафка, казалось, антиподы, но вспомним новеллу Кафки «В исправительной колонии». Неужели и этот классик «через экзекуцию над героем повышал свое творческое напряжение»?

А как быть с предчувствием беды, с той догадкой, что вскоре действительность затмит самые чудовищные фантазии мастеров слова?

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом – сутки за сутками.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

На маленьком стуле сидит старичок,
На нем деревянный надет колпачок.
Сидит он, качаясь, и ночью и днем,
И туфли трясутся на нем.

Николай Заболоцкий.

«Сказка о кривом человечке», 1926

За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, т. к. я не мог больше переносить боли в ступнях. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допускать какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался, и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Мандельштама Осипа Эмильевича допрашивали с тем же пристрастием, что и Николая Алексеевича Заболоцкого.

Его изнуряли бессонным режимом, многочасовыми допросами, мучили ярким светом, от которого болели глаза и воспалялись веки, кормили соленым, а пить не давали, сажали в карцер, надевали смирительную рубаху, он слышал за стеной камеры плачущий голос жены… И уже не мог понять – явь это или галлюцинации.

Виталий Шенталинский. «Рабы свободы»

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты – вечности заложник —
У времени в плену.

Сомнительны поэтические советы, пусть и облагороженные метафорой гения. Не знаю, смог бы Борис Леонидович Пастернак

написать эти строчки, испытай он невыносимую боль в ступнях, мучительную жажду и пытку невозможностью сна.

Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела…
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана.
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

Это финальные строчки стихотворения Николая Заболоцкого «Где-то в поле, возле Магадана», написанного в 1956 году, – в первый год хрущевской оттепели. Сибирский мороз убил стариков, и не думавших сопротивляться смертному сну. В пыточной камере «серого дома» паровое отопление действовало исправно. Заболоцкий не мог вырваться на «свободу», как это удалось сделать несчастным, старикам из его же реквиема по погибшим: замерзнуть во сне. Ни холода, ни сна, ни жизни…

Читаю вольный пересказ Николая Заболоцкого великой фантазии Франсуа Рабле «Повесть об удивительных подвигах великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля»:

> По дороге меня ограбили разбойники. Это случилось в большом лесу, около ушей. Спасаясь от разбойников, я забрел в какую-то деревеньку и там заработал себе немного деньжонок. И знаете как? Тем, что спал. В этих местах людей нанимают поденно для того, чтобы спать. Бездельники зарабатывают от пяти до шести су в день. Те же, кто умеет громко храпеть, могут зарабатывать до семи с половиной су.

Свидетельствует об этом удивительном приключении сам Франсуа Рабле, а вместе с ним и его переводчик на русский язык – Николай Алексеевич Заболоцкий. Оба мастера слова были проглочены добрым великаном Гаргантюа. Соавторы смогли выспаться вволю, да еще и заработали изрядно на своем собственном сне. И не было им страшно в желудке Гаргантюа. Было весело и прибыльно…

> По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации, и они падали на наши руки; других же

почти вносили, и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая холодные компрессы и отпаивая их водой…

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Ладейников прислушался. Над садом
Шел смертный шорох тысячи смертей,
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела творила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединила смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

Николай Заболоцкий. «Ладейников»;

начато стихотворение в 1932 году, завершено в лагерном 1947-м.

«И страхом перекошенные лица». Даже лицо травы перекошено страхом. Лицо любого растения. Страх – закон живой природы. Историки, филологи, психиатры давно исследуют феномен страха, диссертации защищают, книги пишут толстые, но нет ничего ценней опыта, своего собственного опыта.

Однажды в море у Ашкелона попал в сильное течение. Гребу к берегу из последних сил, но будто не трогаюсь с места. И тут мне стало страшно, так страшно, что тело мгновенно набрало лишний центнер веса. Понимаю, что вот-вот пойду на дно. Все, думаю, «прощай, свободная стихия». И тут вспомнил о детях, о старике отце, как они без меня, если не вернусь? Только подумал, и страх словно волной унесло. Лег на спину, поплыл вдоль берега, не сопротивляясь течению и сил набираясь. С полкилометра так плыл. Чувствую, ослабело течение, можно и обратно, так и догреб, отлежался на песочке – и домой.

Тоже мне великое открытие! Всем давно известно – страх парализует, убивает человека раньше смерти. Толпа победы одерживает страхом. Так умеет ногами топотать и рожи корчить, что целые страны и народы готовы пасть на колени, но в то же

время и сама она, толпа, в вечном испуге перед вождем-пастухом, его злой волей.

«Я был вынужден создать вокруг себя ореол страха, – признавался Наполеон своему биографу Лас Казу, – иначе, выйдя из толпы, я имел бы много желающих есть у меня из рук или хлопать меня по плечу».

У зловещего старца из Дублина
Брови были ужасно насуплены.
Коль по делу какому
Выходил он из дому —
Разбегались все жители Дублина.

Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»

Правы Эдвард Лир, Бонапарт и поэт Николай Заболоцкий: все в этом мире пропитано страхом. Расскажу еще историю из личного опыта.

Давным-давно косил траву на лесной полянке. Не один, а в компании со стариком Чеканом. С непривычки устал, стал невольно притормаживать. Чекан заметил и говорит:

– Ты траву-то не жалей, вон как клонится от страха, косить тяжельче будет.

Не понял, спрашиваю:

– Как это от страха?

– А так, кому охота, чтобы его под корень.

Смотрю – и в самом деле к рассвету стояла трава прямо, только и тяжести что роса на ней, а тут испуганно никнет прямо на глазах. Это я потом догадался, что солнце припекать стало и я тут со своей косой ни при чем, а тогда поверил Чекану… Ладно, чего там, я и сейчас верю.

Трава боится жука и косы, а человек боится всего на свете. Ну не каждый, конечно. Есть герои, никак без героев, но героизм – это не правило, а исключение, просто потому, что человек, способный на подвиг, – личность, а значит, смертный враг толпы.

Чем спастись от паралича страха? В истории с морским течением все банально и очевидно: забудь о себе, несчастном, – глядишь, и выберешься. В пыточной камере все не так просто. Там «течение» страшнее: в смерть тянет или в безумие.

Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума. Строчки эти цитируют часто, но Пушкин Александр Сергеевич не безумия страшился как такового. В стихотворении этом он не боялся тронуться умом на «необитаемом острове», только бы не в среде себе подобных, не в палате № 6. Не безумия боялся А.С. Пушкин,

а потомков Адама. Он будто знал, что падет жертвой человека толпы, безликого убийцы, способного выстрелить первым. Дуэлей в жизни Александра Сергеевича было много, но ни разу он не нажал на курок раньше противника.

> …первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею как пикой, оборонялся насколько мог и скоро отогнал от дверей всех тюремщиков.
>
> *Николай Заболоцкий. «История моего заключения»*

> Как только монах увидел, что враги ускакали, он выхватил меч и уложил на месте своих сторожей. После этого он вскочил на лошадь и кинулся по пятам за врагами. А Гаргантюа в это время уже отразил нападение, и враги, попробовав его дубины, снова обратились в бегство.
>
> *Франсуа Рабле. «Повесть об удивительных подвигах великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля»*

Норма? Безумие? Какой мир реальней: созданный Рабле, Свифтом, Маркесом, Гоголем, Гофманом, Булгаковым, или тот, в котором мы все тоскливо тянем лямку?

> Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие, струя воды под сильным напором ударила меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности – настолько велики были следы истязаний.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

А все ли люди – это люди? – писал Новалис. Ведь и совершенно иные существа, нежели люди, могут выступать в человеческом обличье.

Гений Чарльза Спенсера Чаплина тоже был краток: «Толпа людей похожа на чудовище без головы». Говорит это жаждущий аплодисментов старый клоун Кальверо в «Огнях рампы».

«Без головы», без мозга, без разума. «Чудовище», живущее одними инстинктами: завистью, ненавистью, страхом…

Фон Папен, проложивший нацистам дорогу к власти, писал впоследствии: «Что касается меня – то я допустил одну важную ошибку, недооценив наглую напористость национал-социалистов, с которой они стали воплощать в жизнь свою “Новую идею”, адресуясь при этом не к буржуазии, все еще мыслящей категориями XIX века, а к широким массам, и в первую очередь к их инстинктам, а не их рассудку».

В XX веке власть отбросила «старую этику» за ненадобностью, поместив в камеру пыток тех, кто все еще пытался жить и творить по ее канонам. Пройдет почти четверть века со дня ареста Заболоцкого, и другой великий поэт попадет в эту камеру. Впрочем, не пытки это были, а всего лишь побои. Другое время – другие правила игры, но все те же нелюди властны над судьбами людей.

Из «Диалогов с Бродским» Соломона Волкова:

> Волков. Как у вас сложились отношения со следователем?
>
> Бродский. Ну, я просто ни на какое общение не шел, ни на какие разговоры. Просто держал язык за зубами. Это их выводило из себя. Тут они на тебя и кулаками стучать, и по морде бить.
>
> Волков. Что, действительно били?
>
> Бродский. Били. Довольно сильно, между прочим. Несколько раз.

В общем, сначала пуля в затылок или смерть от голода и холода, а затем стали «пороть на конюшне», чтобы не забывал раб, холоп и смерд, кто в доме хозяин.

Бродский о тюремном и ссыльном своем опыте ничего не написал. Поединок этот с властью был ему неинтересен. Зачем тратить слова на стоны и жалобы? Рассказ Заболоцкого «История моего заключения» – своего рода исповедь, заклинание, но и вера в слово, способное что-то изменить в окружающем мире. Иосиф

Бродский и не думал сводить счеты с обидчиками. Да и к жалобному слову относился без иллюзий. Люди, искалеченные сталинской машиной пыток, искали в жалобе не просто возмездие, но возможность утраченной гармонии. Иосиф Бродский не желал вступать в диалог, спор, конфронтацию с любой властью. Он был сам по себе, и враждебный ему мир зла – сам по себе.

Худощавая мисс из Афин
Была дверью расплющена в блин.
Но вскричала спокойно:
«Это вовсе не больно!»
Та отважная мисс из Афин.

Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»

«Это вовсе не больно», – готов был утверждать всем своим существом Иосиф Бродский. «Солидарность с горем» – это не жалоба. Это всего лишь – солидарность. Талант Заболоцкого невольно восставал против авторитарного режима самим размером дарования. Иосиф Бродский был прямым и явным врагом репрессивной системы в СССР. Будущего лауреата Нобелевской премии избивали, судили и сослали как врага. И Бродский, прекрасно сознавая это, даже любовался собой, отбывая принудительные сельхозработы:

…Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
я сеялку собою украшал,
припудренный землицею, как Моцарт.

Поэт не дал возможности толпе запугать себя, оставить навечно в камере пыток и страха. «Моцарт» неприкасаем, пусть и в колодках, неподсуден и свободен.

Стихи раннего Иосифа Бродского очень похожи на восторги позднего Николая Заболоцкого:

Хлестало, будто из баклаги,
И над собранием берез
Пир электричества и влаги
Сливался в бешеный хаос.

А мы шагали по дороге,
Среди кустарников и трав,
Как древнегреческие боги,
Трезубцы в облако подняв.

«Мы шагали». В шаге подобном еще и попытка с толпой-победительницей слиться. Может, и простит тогда, не казнит самосудом, примет за своего. Вождю-людоеду кланяться было стыдно. Толпа все-таки не вождь. А может, и не толпа она вовсе, а пресловутый народ?

> Сельскую жизнь я люблю. И дело не только в единении с природой. Когда поутру встаешь в деревне, – да, впрочем, и где угодно, – и идешь на работу, шагаешь в сапогах через поле… И знаешь, что почти все население страны в этот час занято тем же самым… То возникает бодрящее чувство общности.
>
> *Из интервью Иосифа Бродского Свену Биркертсу*

А с какой любовью писал о «всем населении» замечательный поэт Николай Клюев!

Нет прекраснее народа,
У которого в глазницах,
Бороздя раздумий воды,
Лебедей плывет станица!
Нет премудрее народа,
У которого межбровье —
Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый, кедровый,
Где подменным нет прихода…
И славянских глаз затоны
Лось волшебный не замутит…

Где тот народ, созданный фантазией поэта? Растерзала Клюева толпа. Его, больного пороком сердца, парализованного, в 1937 году приговорили к расстрелу. Так, наверно, и убили – лежачего – на земле или на бетонном полу подвала. Не «подменные» убили, а свои. Эти самые, с «затонами» вместо глаз. Отметаю русофобию, как и всякий расизм. Толпа – понятие интернациональное. Просто у каждой толпы, собранной по национальному признаку, есть свои особенности – вот и все.

Фюрер является признаком некоторой системы ценностей и носителем динамики этой системы. Он появляется, прежде всего, как символ системы. Качество его ума и его действия имеют лишь второстепенное значение.

Х. Брох. «Масса и герой»

О сущности народа, причем любого, Иосиф Бродский задумывался редко, может быть, только в своих эссе. Ну не получилось слиться – и ладно. Он вообще старался ни о чем не жалеть, себя же не жалеть в первую очередь.

Из интервью Дерека Уолкотта Валентине Полухиной:

Он… никогда не изображал из себя жертву. Он терпеть не мог людей, изображающих из себя жертву, – будь то в жизни или творчестве. Мне кажется, он считал этот путь слишком простым. Ясное представление о Бродском сводится к тому, что он был по-средневековому предан своему мастерству и всему, что с ним так или иначе связано, ремеслу в смысле созидания, в смысле божественного провидения.

И все же страх перед толпой… Нет, наверно, не страх, а горькое предчувствие ее победы – это тоже Бродский: «Количество народонаселения переходит не в качество, а в триумф черни».

Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.
Будущее черно,
но от людей, а не
оттого, что оно
черным кажется мне.

«Сидя в тени»

«Предан мастерству». Толпа враждебна любому мастерству созидания. Оставим гордыню обитателей Парнаса. «Победа масс» – это победа над любым мастером: кройки и шитья, сапожных и слесарных дел, плотницких и столярных… Незнаменитые, неизвестные личности такие же враги толпы, как

и те, кто знаменит. Тоталитарная система движется рука об руку с обществом технократов. Вожди любят людей на марше, деньги боготворят конвейер.

Жадный джентльмен из города Броды
Беспрестанно жевал бутерброды,
Но приводит к беде
Непрерывность в еде —
Лопнул джентльмен из города Броды.

Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»

Смех гонит страх. Иосиф Бродский умел смеяться, когда впору было плакать:

Под мостом течет река,
Быстрая такая.
За мостом стоит ЧеКа,
Страшная такая.

Дом на Литейном 4, «Большой дом», и на самом деле был страшен. Говорили, что в облицовке его фасада использованы гранитные плиты с уничтоженных кладбищ. Спроектирован он был со вкусом, вкусом толпы.

Бродский шуткой гнал эти самые кладбищенские страсти. Он не хотел быть жертвой. Он понимал, что испуганный поэт – это и не поэт вовсе. Это «полная потеря квалификации», как со знанием дела утверждал Михаил Зощенко.

К году суда над Иосифом Бродским утратилась вера в так называемый прикладной характер творчества. Поэт смело отрекся от звания гражданина, поняв, что от гражданства этого до соучастника в грязных, а то и кровавых делах рукой подать.

Николай Заболоцкий лишь с годами отказался от попыток понять власть и примириться с властью. Иосиф Бродский всегда был убежден, что долг личности – власть эту, причем любую, презирать.

> Примечательно, что в школе мы учимся относиться к людям, совершавшим все эти дикости, с уважением; даже почитать их как великих мужей. Мы приучены покоряться так называемой политической мудрости государственных руководителей – и настолько привыкли ко всем таким явлениям, что большинство из нас не

может понять, насколько глупо, насколько вредно для человечества историческое поведение народов.

Конрад Лоренц. «Ненависть»

Народов, превращенных вождями в толпы. С легкостью, между прочим, потому что и самим народам лестно быть толпой, но только толпой победителей. Поражение мгновенно превращает «общественных животных» в одиночек, страдальцев, наполненных тоской по великому прошлому, но эта тоска вновь заставляет обиженных сбиваться в массы, готовые к реваншу.

Если у поэта есть какое-то обязательство перед обществом – это писать хорошо. Он всегда в меньшинстве и не имеет другого выбора. Не исполняя этот долг, поэт погружается в забвение. У общества, с другой стороны, тоже нет никаких обязательств перед поэтом. У большинства есть иные занятия, нежели чтение стихов, как бы хорошо они ни были написаны. Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при котором оно становится легкой добычей демагога и тирана. И это собственный общества эквивалент забвения, от которого, конечно, тиран может попытаться спасти своих подданных какой-нибудь захватывающей кровавой баней.

Иосиф Бродский. «Поклонение тени»

Стихи нынче читают все реже и реже. Отсюда и «уровень речи», и «сокрушительная победа масс», обеспеченная соответствующим уровнем речи.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растления людей только лишь начинался. Здесь можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного, истерического веселья и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест. Я был самым обыкновенным доходягой и жил по законам психики доходяг.

Варлам Шаламов. «Две встречи»

Заболоцкому хватило силы воли, чтобы донос на себя самого не подмахнуть. Здесь и приступ безумия помог и, надо думать, обыкновенный случай. Оставили его следователи в покое, дали срок и отправили в ссылку. Только там он стал «доходягой» – человеком опустошенным физически и духовно. Друзья Николая Алексеевича по поэтическому цеху подписали все, что было приказано, – и погибли. Значит, был выбор в империи Сталина: стать трупом или доходягой.

Когда живешь в среде себе подобных, не думаешь об одиночестве. Равнодушная толпа где-то там, за стеной твоей крепости. Она – сама по себе, ты – сам по себе. И вдруг нет стен, нет тебе подобных. Одиночество. Но одиночество это, как и безумие, не беда на том же «необитаемом острове». Одиночество перед толпой – вот что страшно.

Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьезно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир – это только маленький остров в океане равнодушных к искусству людей.

Николай Заболоцкий. Письмо жене от 23 января 1944 г.

…всякая лирика жива только доверием и возможностью хоровой поддержки, она существует только в теплой атмосфере, в атмосфере принципиального звукового неодиночества.

М.М. Бахтин. «Автор и герой в эстетической деятельности»

Ну какая может быть «хоровая поддержка», если:

Понемногу жизнь превратилась в чисто

физиологическое существование, лишенное духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Толпе никакая поддержка хором не нужна, потому что она сама – хор со своими словами и своей музыкой.

Левой, левой, левой! Кто там шагает правой? – так, кажется, у Владим Владимыча? Можно и наоборот. Не важно, с какой ноги, – главное «хором». Но и это не помогло поэту, потому что победа масс не связана с логикой, здравым смыслом и высоким уровнем речи. В этом и сила толп. Преступление без наказания, наказание без преступления – вот желанный хаос, в котором любая революция, как рыба в воде. Маяковский тоже жертва толпы. Растоптала она его не потому, что поэт стоял на дороге, а за то, что хотел бежать впереди всех, но вдруг понял, что торопится к пропасти и в совершенном одиночестве. А как бедняга мечтал быть в гуще, быть с массами: «Зорче и в оба, чекист, смотри! Мы стоим с врагом о скулу скула, и смерть стоит, ожидая жатвы. ГПУ – это наш диктатуры кулак сжатый». Идиотом Полифемовичем звали враги «лучшего поэта советской эпохи». Впрочем, идиотизм – это всего лишь одна из форм безумия. Владимир Маяковский вылечил себя сам – пулей.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесконечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газеты, а он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою невиновность.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

За что? Будь я в руках у нацистов, я знал бы – за то, что я еврей. Какое же право имела московская власть вырвать из моей жизни лучшие творческие годы, лишить

меня лица, растоптать, замучить, обратить в рабство, довести до нужды и отчаяния мою семью?

Юлий Марголин. «Путешествие в страну Зэ-ка»

Какое право имела?! В том-то и дело, что никакого. Власть толпы, основанная на праве, уже и не власть вовсе, а так – чистое недоразумение. Насилие должно существовать ради самого насилия. Все остальное, включая поиски причин, – «оборочки».

И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями… Я виноват. Двух мнений здесь быть не может… Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией… И все им мало, все мало… С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?

Осип Мандельштам. «Четвертая проза»

Осипа Мандельштама не «пощадили» расстрелом. Поэта приговорили к медленной и мучительной смерти на каторге.

Читаю еще один «младенческий сон», посвященный самосуду толпы:

Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.

Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.

Франц Кафка. «Процесс»

Здесь и вовсе приговоренный к смерти без имени и фамилии. Даже такого оправдания приговору и казни не дал несчастному писатель… Номер из вечного ГУЛАГа – и только.

Человеческие жертвоприношения. Без этого и толпа не толпа, суть ее языческая сразу становится сомнительной и размытой.

Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству над людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совершенно не нужны, – одно из кошмарных прозрений Ханы Арендт.

Издевательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, т. е., попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником, пишет Николай Заболоцкий.

Не хотел примкнуть к большинству. Антон Павлович Чехов признавался, что он сочинял в жизни все, кроме «доносов и либретто опер». Но это когда было? Да и в камере пыток никто не истязал автора «Чайки».

Власть толпы сантиментов не терпит. Толпе надобен свой порядок, а какой может быть порядок без доноса на ближнего? Клевета в подметном письме или правда – какая разница? Жанр доноса сам по себе исключает поэзию, а вместе с ней и поэта.

> Если плохие люди на земле объединяются ради того, чтобы творить зло, то, значит, задача хороших людей – также объединиться, но ради сопротивления и противостояния им.
>
> *Лев Толстой. «Война и мир»*

Слова эти, такие заманчивые для мутной людской совести, тиражировались неоднократно. И в самом деле, все так просто: вот наладим «интернационал добрых людей» и заживем по-божески. Но не получается.

> Люди отдельно друг от друга ведут себя нравственным и разумным образом, но они же становятся безнравственными и неразумными, когда собираются вместе.
>
> *Серж Московичи. «Век толп»*

Да и сам Лев Николаевич от своего же прискорбного заблуждения с годами отошел, всякую партийность, стадность не жаловал, даже к попыткам создать общество толстовцев относился с нескрываемым раздражением и протестом, но проповедовал, пророчествовал… Кому? Единицам и так все было ясно. Толпа глуха, слепа и бездарна.

Она же лишена юмора и музыкальных способностей. С годами классик попытался уйти и от юмора, и от музыки. Зачем? Чтобы приблизиться, стать понятным толпе? Но толпе прежде всего не нужны идеи и разум. Лев Толстой не мог знать это. Он умер накануне века толп.

> Не всякую мысль можно записать, а только если она

музыкальна.

В.В. Розанов. «Опавшие листья»

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей,
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.

Музыка – это искусство ради искусства? Нельзя, недопустимо. Чушь это все! Сочинил поэт Заболоцкий такое собрание слов – и спасся. От чего убережется? Да от той же самой толпы.

Разве этого мало? Впрочем, спасая себя, можно походя, случайно спасти еще и кого-то.

Томас Манн не был отягощен верой в чернь и предрассудками российской гуманности, да и тело великого немецкого писателя никогда не подвергалось пыткам, не страдал он от голода и не искал «черную» работу в жалком пункте питания, бездомный – не вымаливал у власти квадратные метры для койки и стола.

Тем самым классик знал о жизни все, ничего о ней не зная.

Одно из писем Виктору Польцеру Томас Манн завершил удивительным по искренности признанием:

> На ваш последний вопрос об «истинной цели» моей работы ответить труднее всего. Скажем просто: радость.

У личности и радость личная, у толпы – общая. Личность способна извлекать эту радость из ничего. Толпе нужна система, лозунг, вроде тысячелетнего рейха, счастливого коммунистического будущего или «исламского возрождения». Но система дает всего лишь суррогат радости и мираж победы.

> Мне тяжелее, чем многим другим, потому что судьба одарила меня умом и талантом. Если бы я мог теперь писать, я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, чем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется небольшими и робкими попытками подойти к этой теме.
>
> *Из письма Николая Заболоцкого жене от 19 апреля 1941 г.*

Как-то вдруг забыта «природы вековечная давильня», забыт хорек, пивший «мозг из птичьей головы». На каторге все ужасы природы показались Николаю Заболоцкому сущим пустяком по сравнению с тем кровавым хаосом, который способен сотворить человек.

> С миром державным я был лишь ребячески связан,
> Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья —
> И ни крупицей души я ему не обязан,
> Как я ни мучил себя по чужому подобью.
>
> *Осип Мандельштам*

Человеку так хочется провести короткий срок жизни в «детской комнате», а вместо этого его ждет «камера пыток» как необходимое условие взросления.

Сталинская камера пыток, основанная на самосуде толпы, не могла возникнуть сама по себе. Нужны были репетиции. Не такие кровавые, но не менее яростные. Большевикам никогда бы не удалось превратить огромный народ в толпу, если бы не многократный опыт разгула самосуда прежних лет.

> Точно полз какой-то отвратительный, тысячеголовый гад, скрывая там где-то сзади свое туловище. И так противно всему естеству было это чудовище, так нагло было оно с налитыми глазами, открытой пастью, из которой несся вой, страшный вой апокрифического зверя, порвавшего свою цепь и почуявшего уже кровь.
>
> А с многоэтажных домов с обеих сторон улицы летели вниз стекла, посуда, вещи, мебель, рояли… Они падали, и последний дикий аккорд издавали разом лопавшиеся струны.
>
> *Н. Г. Гарин-Михайловский. «Погром»*

«Если бы я мог теперь писать». Если бы мог… пятьдесят шесть лет прожил Заболоцкий, пятьдесят шесть лет – Иосиф Бродский. Оба погибли от болезни сердца, но время пощадило будущего лауреата Нобелевской премии. Он писал в ссылке, и писал много. Тоже своего рода подвиг: не испугаться толпы. Точнее, не замечать ее.

Иосиф Александрович, как и Осип Эмильевич, не хотел

покидать «детскую комнату» и остался в ней до смертного часа. Личность не всегда беспомощна, а одиночество гибельно… Это так, но нужно еще угадать, когда родиться.

> Я не верю в литературу, не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами. Я не верю в возможность что-нибудь предупредить, избавить от повторения. История повторится. И любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен.
>
> *Варлам Шаламов. «Из неопубликованного»*

> Наши индивидуальные способности восприятия и наблюдения внешнего мира продуцируют верное знание, тогда как социальные факторы провоцируют искажения и отклонения в наших убеждениях и знаниях о мире.
>
> *Серж Московичи. «Век толп»*

Отчего так вышло? Почему умнейшие и талантливые не смогли образумить человеческие толпы. Писал об этом, причем писал в аду ГУЛАГа, Юлий Марголин:

> …ненависть ученых, философов и гуманистов, <… > вегетарианская, литературная ненависть велит нам ненавидеть абстрактные понятия – не злого человека, а злое в человеке, не грешника, а грех. Без устали экспонирует она пороки и заблуждения, ошибки и извращения, против которых велит нам бороться. Эта теоретическая ненависть всячески отгораживается от практической. На беду, улица не понимает этих тонкостей: массовая ненависть признает только такого врага, которому можно разбить голову.

Стефан Цвейг – один из тех, кто был атакован и смят толпой. Он считал себя «гражданином мира» – человеком выше национальности, выше патриотизма, выше всех людских предрассудков, как он их понимал. Он был «человеком без кожи», ясно сознающим свою уязвимость и неизбежный крах всего, что он считал спасением мира, в котором можно выжить.

У толпы всегда готовы заявить о своих мрачных правах откровенное самодурство, писал Цвейг в «Триумфе и трагедии Эразма Роттердамского», своекорыстие, стремление от любой

идеи поскорее получить личную выгоду. Масса предпочтет конкретное, осязаемое любым абстракциям, поэтому лозунги, провозглашающие вместо идеала вражду, удобное, наглядное противопоставление другой расе, другому сословию, другой религии, легче находят сторонников, ибо ненависть – лучшее топливо, на котором разгорается преступное пламя фанатизма.

У Ивана Бунина в «Окаянных днях» лапидарней и четче:

> Быть таким же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

> Давида Исааковича Выготского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилии его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли.

> *Николай Заболоцкий. «История моего заключения»*

Стихи, формулы, теоремы, самые гениальные открытия – ничто? Сухой хворост под ногами Джордано Бруно пылает сегодня точно так же, как четыре века назад. Тогда зачем весь этот роскошный ковер, сотканный из любви, таланта, знаний человека?

«История народа принадлежит Поэту, а не Царю», – отвечал монархисту Карамзину Александр Сергеевич Пушкин. Он и писал труды по истории, причем замечательные, слагал о ней стихи. Тем не менее с незапамятных времен учат биографию народа русского, да и любого другого, не по Пушкину, а по царям. Сначала в угоду одному царю, затем другому. В одном только было право «солнце русской поэзии»: можно учить историю народа по жизни и смерти поэтов. Трагическая история получается.

Трудно делать то, в чем нуждаешься только ты. Нет веры в свое предназначение – нет дела? Но творилось и без веры, без надежды. Во спасение себя самого. Ради одной радости творчества. А это, повторим, не так уж мало. В спасении себя самого есть попытка хоть как-то выпрямить, облагородить саму историю народа.

Озабоченный старец из Клее
Жил годами в совином дупле,
И среди голосов
Тех задумчивых сов
Слышен был голос старца из Клее.

Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»

После увещевания, чтобы он сказал правду, в шестой раз вывернули ему руки. Он многократно произнес: «Добрый Иисусе, не оставь мою душу! Я уже ее сказал». И, проделав вышеупомянутые шесть оборотов, приказали разложить его, привязать к кобыле и надеть ему гарроты на мускулы, голени и икры. Разложив, связав и придерживая его, много увещевали его сказать правду и предупредили, что пытка будет продолжаться. Жалобным голосом, многократно взывая к Богу, он сказал, что уже сказал правду.

Валентин Парнах. «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции»

Август 1941 года. Основоположник российского джаза, поэт, переводчик, историк Валентин Яковлевич Парнах и поэт Марина Ивановна Цветаева стоят на пороге столовой в Чистополе, просят любую работу, чтобы не умереть с голоду. Стоят на коленях перед толпой. Цветаевой отказано в должности посудомойки. Парнаху разрешают «стоять в дверях», пропуская в храм общепита только тех, кто имеет на это право. 31 августа Марина Цветаева застывает в петле, Валентин Парнах, продлив агонию, умирает своей смертью в 1951 году.

Николай Заболоцкий и не думал сводить счеты с жизнью. Он, вопреки всему, верил в эту жизнь:

Но и тогда, во тьме кромешной,
С самим собой наедине,
Я пел бы песню жизни грешной
И призывал ее во сне.

«Выпустите меня в свет!» – умолял вождя толпы и пастуха стада Михаил Афанасьевич Булгаков. Не выпустили, так и умер автор «Мастера и Маргариты» «во тьме кромешной». Нынче говорят, что и роман-то был задуман Булгаковым как просьба

выпустить его на волю из «пыточной камеры». Воланд, мол, князь Тьмы, – чистый Сосо Джугашвили: творит зло, а получается благо. Не думаю, что это так. Просто время толп сбило знаки, вехи, указатели. В этой бессмыслице было мнимое обретение гармонии, без которой и жить-то было невозможно. Пусть в потусторонней жизни, во сне, но в гармонии.

> Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.
>
> *М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»*

Николай Алексеевич Заболоцкий писал жене 24 мая 1944 года:

> Волны моего душевного отчаяния давно ушли, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю.

Любовь любовью, но Заболоцкий за годы каторги не написал ни одного стихотворения. Его душу лишили полета, лишили музыки, но не памяти. Тем он и жил долгие годы – памятью одной. А память неизбежно уводила поэта в печаль, впрочем, избыточно наполнено печалью и все искусство травмированной, мучимой неоднократно пыткой России.

Итак, я вступаю в новый период моей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства уже притупились и продолжение несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случилось пять лет назад.

Николай Заболоцкий, из письма жене от 9 ноября 1943 года.

> Пять лет назад было так: «Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и

издеваясь над моей беззащитностью.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Спрос на рынке труда решает все. Нужны поэты, художники, композиторы – они появляются. Власти толпы нужны садисты, лжецы, убийцы – и здесь очередь к окошку. Была бы плата за труд. Года через три те же «неизвестные парни» пойдут в услужение нацистам, расстреливая и пытая «врагов рейха». У толпы нет идей, нет принципов. Есть только половой инстинкт, голод и жажда.

> В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожить советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы… И действительно, чем иным могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Пройдут годы, и для историков, публицистов такой вывод станет привычной банальностью:

> Никто не мог предположить, что партия большевиков будет практически полностью истреблена в «государстве победившего социализма», что на трупах сотен тысяч коммунистов, на трупах десятков миллионов советских граждан поднимется мрачное и зловещее здание самого чудовищного фашизма, который только знала история.

Эдуард Самойлов. «Общая теория фашизма»

В конце 1938 года Заболоцкий пишет жене:

> Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать.

Поэт соблюдает дисциплину и спустя два года:

> За мной нет ни одного замечания, ни одного отказа от работы, ни одного случая непослушания… моя душа так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков.

Неужели во всем этом есть какой-то смысл, который нам непонятен?

Смысл в пытке?! И снова это пресловутое «За что???». Это мы теперь, сегодня стали «грамотными» и знаем, что толпа управляет страхом. «Бей своих, чтобы чужие боялись». Бей всех, чтобы, скорчившись, пряталось народонаселение по щелям, а виляло хвостом лишь при виде барской руки без плетки. И не сметь быть героем, писать запретное. Простую формулу вывел Осип Мандельштам в «Четвертой прозе»: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда».

Кто разрешил Николаю Заболоцкому писать такое:

…Но перед сомкнутым народом
Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

«Толпа лунатиком идет». Да за это не шесть лет лагерей можно было получить, а десять лет без права переписки с миром живых.

Последствие пытки – часто смерть или безумие. Пытаемы были так или иначе, за редким исключением, все граждане Страны Советов: сами «враги народа» и члены их семей. Травмы психики не проходят бесследно. Возможно, и сегодня население распавшейся империи страдает по той же причине: не желая рожать детей, мучается от зависти и ненависти и не верит в будущее. Вновь страх завоевывает утраченные было позиции. Страху нужен враг – найти его нетрудно. Страх уничтожает с большим трудом завоеванные свободы – и это несложная задача. Существовать в страхе и сладко и весело, но жить в страхе – это жить на пороге безумия, а потом и за его порогом. Но толпе

плевать на день завтрашний, живет она одним днем, а свобода одного дня – это свобода космонавта, выброшенного в космос без скафандра.

> – Мы, батюшка, не можем себе волю дать. Взять хотя бы меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь…
>
> *Иван Бунин. «Окаянные дни»*

Тут и главный летописец русской истории – Александр Сергеевич Пушкин:

> К чему стадам дары свободы!
> Наследство их из рода в роды
> Ярмо с гремушками да бич.

«Гремушки» – это зрелище, попса нынешняя. Гремящая попса.

> Невоспитанный джентльмен из Билля
> Громко плакал, когда его били.
> Съев немного черешен,
> Он вполне был утешен,
> И тогда его снова побили.
>
> *Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»*

Битый джентльмен утешился черешнями, но это там, далеко, в городе Билле.

> Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая новый 1939 год, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.
>
> *Николай Заболоцкий. «История моего заключения»*

Уже после каторги, в стихотворении «Дождь», Николай Заболоцкий писал о чистой влаге так, как только мог писать поэт, совсем недавно лизавший черные сосульки людских испарений:

Он падал издали, с наклоном
В седые скопища дубрав,
И вся земля могучим лоном
Его пила, затрепетав.

Стихотворение это написано поэтом, выпущенным из камеры пыток, человеком в состоянии тишины и покоя… Возможного, конечно, покоя. Репрессивная система, несмотря на жесткий институт прописки, ею же изобретенной, стремилась постоянно передвигать, перемешивать людские пласты и потоки Ленинграда, сводила партийные счеты, затем началось чудовищное переселение народов. В движении, в дороге, вне стен своего дома человек покорен страху, слаб и беспомощен. Массы людей легко превращались в стада под бичом погонщика.

> Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. И те, и другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все человеческие инстинкты.
>
> *Надежда Мандельштам. «Воспоминания»*

Пытка и безумие, безумие и пытка…

> Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней, и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими криками избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже совершенно неописуемое, и наше нервное напряжение доходило до крайней степени.
>
> *Николай Заболоцкий. «История моего заключения»*

От рождения до институтских лет в Москве автор этой попытки литературного монтажа жил в Ленинграде, рядом с «серым», или «Большим», домом, в трех минутах ходьбы от него, на углу Кирочной и Литейного. Чтобы попасть к Неве, нужно было пройти мимо гэбэшного гнезда, страшного даже в вегетарианское сравнительно, конечно, время. Пройти мимо мрачного здания, украшенного, как упоминалось, по фасаду кладбищенскими плитами.

Все мы, мои друзья и я, как правило, никогда не приближались к месту, невольно внушавшему ужас, а переходили улицу и пробирались к набережной вдоль Артиллерийского училища им. Фрунзе. Даже нам, ничего тогда не знавшим о пытках, не хотелось приближаться к бетонному, бесцветному кубу, так непохожему на веселое барокко или классику домов рядом. Мы тоже были безумны, потому что страхи родителей попали в нашу кровь и мозг неведомыми, тайными путями. Не только страхи отца и матери, но и прадедов наших.

> Поистине красной нитью проходит через всю историю России это прямо-таки необычайное пристрастие агентов правительства к телесным наказаниям. Одни мучили для утоления своей алчности, другие идейно, с сознанием пользы жестоких мер, третьи сладострастья ради, в безумном экстазе, пьянея от крови и стонов, или, наоборот, с верным расчетом опытных математиков «с тихостью», наслаждаясь медленным терзанием своих жертв.
>
> *Е. Молчанова. «Современное положение», 1910 г.*

Некий Пантелей ударил пяткой Ивана.
И началась драка.
Елена била Татьяну забором.
Татьяна била Романа матрацем.
Роман бил Никиту чемоданом.
Никита бил Селифана подносом.
Селифан бил Семена руками.
Семен плевал Наталье в уши.
Наталья кусала Ивана за палец.
Иван лягал Пантелея пяткой.
Эх, думали мы, дерутся хорошие люди.

Даниил Хармс. В августе 1941-го был арестован за «пораженческие настроения». Прошел через камеру пыток. Умер

голодной смертью в тюрьме. На первом допросе Хармс (Даниил Иванович Ювачев) показал:

> Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской литературы… Наша заумь, противопоставляемая материалистическим установкам советской художественной литературы, целиком базирующаяся на мистико-религиозной философии, является контрреволюционной в современных условиях.

Из протокола допроса А. Введенского от 13 декабря 1941 года:

> Я входил совместно с писателями Хармсом, Бехтеревым, ранее Заболоцким и др. в антисоветскую литературную группу, которая сочиняла и распространяла объективно контрреволюционные стихи.

Из протокола допроса А. Введенского от 15 декабря 1941 года:

> Одновременно происходило сращивание нашей антисоветской группы с аппаратом детского сектора на бытовой основе. Устраивались вечеринки, на которых помимо меня, Хармса и др. присутствовали Олейников, Дитрих, а также беспартийные специалисты детской печати Е. Шварц, Маршак и др. Устраивались также совместные попойки. В этих попойках в последнее время стал принимать участие новый секретарь детского сектора И. Л. Андроников, о котором в нашей группе говорилось, что он князь по происхождению.

Нацисты взяли Киев, окружили Питер, рвались к Москве, а тупая машина террора продолжала тратить драгоценное «горючее» на «врагов народа», таких, как Самуил Маршак, Евгений Шварц, Ираклий Андроников… Главный враг толпы – личность. Об этом массы не забывают никогда.

Звезды смерти стояли над нами
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Анна Ахматова. «Реквием»

В гениальных этих строчках есть одна неточность: слово «безвинная». Может быть, в вечной готовности к страху и есть «вина» любого народа, всегда готового превратиться в толпу.

> История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она так, как у нас, и не Бог весть сколько оснований давала ее азбука для розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно запамятовали.

Иван Бунин. «Окаянные дни»

Александр Володин в «Записках нетрезвого человека» с горечью отмечает: «Народ привык к страху больше, чем к другим чувствам».

«Народ» без знака плюс. Народ, превращенный в толпу в пыточной камере XX века.

> Точное время и место гибели Введенского неизвестны. Видимо, это произошло на железной дороге между Воронежем и Казанью, где он, мертвый или полуживой от дизентерии, был выброшен из вагона, а может быть, ослабевший, застрелен конвоем. Официальная дата смерти Александра Введенского – 20 декабря 1941 года.

А. Герасимова. «Об Александре Введенском»

Знакомые имена. Но сколько будущих поэтов порешила толпа. Поэтов, так и не успевших сочинить ни строчки.

«Памятник неизвестному солдату» в России есть. Памятника неизвестному поэту нет. Вот в чем проблема.

Где могила Мандельштама, Цветаевой, Олейникова, Корнилова, Введенского, Хармса?.. «Жертвы произвола могил не имеют».

На смерть Хармса и Введенского в 1952 году Заболоцкий пишет элегию «Прощание с друзьями». Пишет, разумеется, «в стол».

> Спокойно ль вам, товарищи мои?
> Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
> Теперь вам братья – корни, муравьи,
> Травинки, вздохи, столбики из пыли.
> Теперь вам сестры – цветики гвоздик,
> Соски сирени, щепочки, цыплята…

И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там, наверху, оставленного брата.
Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

«Это было половодье страха, – писал Стендаль в “Воспитании чувств”, – …триумфальное равенство тупых животных, тот же уровень кровавой мерзости, поскольку фанатизм корысти уравновешивался лихорадкой желаний».

На телевизионных экранах толпы – обычное зрелище. Люди то и дело сбиваются в однородное месиво. Бегут куда-то плечом к плечу, орут, сжигают ненавистные чучела и флаги, потрясают оружием. Ведет эти толпы больных агрессивным психозом зависть, инстинкт ненависти и мести, но, может быть, патологическая привычка сбиваться в целенаправленные, орущие одно и об одном массы людей продиктована тайным страхом. Чернь панически боится призраков, ею же и придуманных.

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Николай Заболоцкий. «История моего заключения»

Пожилой господин из Мескито
Повредился умом от москитов:
Севши на колесо,
Мясо ел он без соли, надеясь спастись от москитов.

Эдвард Лир. «Книга бессмыслиц»

Сходство судеб. 12 февраля 1964 года был арестован Иосиф Бродский. Допрос, возможно, с побоями – и через два дня

сильнейший сердечный приступ. 18 февраля поэта отправляют на Пряжку, в сумасшедший дом, где его колют и пичкают психотропными средствами, стараясь превратить будущего лауреата Нобелевки в идиота. Было Иосифу Бродскому 24 года.

Заболоцкого отправили в психушку, подозревая, и не без оснований, поэта во временном помешательстве. Бродского, напротив, хотели превратить в сумасшедшего. Безумная и жестокая власть стремилась всех вокруг лишить проблесков разума.

Отчий дом Бродского тоже был в пяти минутах ходьбы до «Большого дома». В 1992 году, если не ошибаюсь, на фасаде этого здания появилась самодельная памятная доска, а на ней от руки надпись: «Здесь жил лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский». А ниже, по фундаменту, розовая громада дома была разрисована черными свастиками.

Часто задаются вопросом, почему поэт не вернулся в Россию в годы «свободы», не посетил свой любимый город? Догадок множество. Рискну добавить свою: Иосиф Александрович не хотел возвращаться в безумие, будто знал все о памятной доске и свастиках.

> Все мы несвободны в рамках предназначенного нам природой сценария – родиться, любить, ненавидеть, страдать и умереть, но как ничтожно и бессмысленно следовать бездарным сценариям, навязанным нам человеческими существами, называемыми вождями.
>
> *Отар Иоселиани. «Прощание с невинным ремеслом комедианта»*

Толпе нужен вождь, как стаду пастух. «Человек – животное общественное». Животное толпы. Идти за вождем – есть добровольное согласие быть в стаде. Личности нужны авторитеты, а не вожди, нужны знания, а не догмы, нужен покой, а не жизнь под ударами плети.

Бертольт Брехт писал о фашизме: «Идут бараны, бьют в барабаны. Шкуру для них дают сами бараны». Только ли о фашизме писал Брехт?

> Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество «Память» или отдел пропаганды ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота.
>
> *Иосиф Бродский. Из беседы с Валентиной*

Полухиной

В этом, казалось бы, легкомысленном замечании все точно. Может быть, последний великий поэт в истории человеческой цивилизации не желал быть испуганным и тем самым потерять квалификацию. А что может испугать человека до паралича воли? Только смерть от Бога и власть от человека.

> В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, запуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попал, – чаще всего терял особенности, присущие ему на свободе. Как попавший в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невиновность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза.
>
> *Николай Заболоцкий. «История моего заключения»*

«Если зайца бить, его можно научить спички зажигать», – писал Антон Чехов. Вот и целые народы, если их бить, парализуя страхом, превращаются в толпы зайцев-поджигателей с горящими спичками. Парализованный страхом неизбежно становится врагом слова, и теперь уже не зайцем, а козлищем:

> Социальные различия и классовые противоречия бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и козлища. Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова.
>
> *Осип Мандельштам. «Слово и культура»*

«На ваш безумный мир ответ один – отказ», – писала Марина Цветаева о мире козлищ. И все же и она, и Пастернак, и Мандельштам, и Заболоцкий пробовали слиться с толпой безумцев и хоть один раз в жизни походили на того напуганного до безумия несчастного, который у изголовья Николая Алексеевича величал вождя народов.

Все это так, но всего лишь пробовали они, пытались, так и не

сумев искренне и в меру таланта стать челядью при вожде. Им казалось, что достаточно одного-двух стихотворений, прославляющих репрессивный режим и его героев, и все – индульгенция получена. Они ошиблись. Нужен особый, уникальный талант, чтобы, оставаясь личностью, слиться с толпой, да и цена этого слияния слишком высока, чаще всего это отказ от себя самого.

> Искусство реально. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла существует, потому что не может не существовать.
>
> *Виктор Шкловский. «Почему мы Серапионовы братья»*

> К стихам относятся слишком серьезно. Двойная ошибка. Стихи читатель принимает за исповедание веры. На самом же деле в стихах нет ничего, кроме стихов. Стихи не учат, не обманывают, они вне мира добра и зла. Пейзажная лирика имеет такие же права, как инструментальная музыка. Не надо искать того, чего в стихах нет.
>
> *Варлам Шаламов*

Найти прибежище в «безыдейной» музыке слов не удалось. У ищеек толпы был превосходный собачий нюх.

Загадка российского гения, как он все-таки состоялся, как умудрился выжить, остаться в звуках, в изображении, на бумаге, создать свой мир гармонии, доброты и разума. «Гармонии»? Может быть, просто нормы? Своего рода строгий порядок жизни, а не забавы элиты. Мир без чуда искусства, без поэзии, как корабль без балласта. В любой момент он готов перевернуться и пойти на дно.

> Арест, ложь и провокации стражей порядка, пытки, переполненные камеры, ужасы этапа и лагеря стали для упрямца новым подтверждением его правоты. Мир, каков он есть, мертв – злобен, лжив, жесток. Одолеть мертвую мнимость может лишь сбереженный разум: ценой страшного напряжения Заболоцкий выдержал следствие, он сорвался в физическое безумие, но не признал обвинений. Признать их значило бы усилить фантомное зло.

Андрей Немзер. «Мученик сокровенного»

> Знал ли мир такой застенок, в котором играли бы Чайковского и Бетховена, декламировали Пушкина, проповедовали свободу и гуманность?.. Что может сравниться со страной, где воры и взяточники пропагандируют честность, насильники – свободу, палачи – человеколюбие? Растлена не только душа человека. На много лет убито человеческое слово, содержание слов. Красота, честь, свобода – самые пошлые понятия.
>
> *Ольга Фрейденберг. «Переписка с Б. Пастернаком»*

«На много лет». Звучит оптимистично. Но законы физики неумолимы. Толпа покорила личность. Множество истребило единицу. Исчезла и сама возможность появления таланта. Ныне мы вновь живем в тоскливом и опасном времени попсы и бунтующей, голодной, злой черни.

Это было, как взрыв на солнце, как чудовищный, фантастический выброс поэтической энергии: Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий…

Фруктовые деревья перед гибелью дают обильный урожай в надежде оставить после себя наследство. Деревья подчиняются инстинкту жизни, им не дано знать, что давно уже нет земли, способной принять и взрастить саженцы. Одинокая фигура Иосифа Бродского – финальный аккорд на поле русской словесности. Вокруг пустота, да и самого Бродского давно уже нет на свете.

Нет хора, нет и солистов. Тишина… Грохочущая тишина.

2007 г.

Сын Марины

Жаба ухнула – Летим!
Грань меж добром и злом сотрись.
Сквозь пар гнилой помчимся ввысь.

Шекспир. «Макбет»

Роды для романа в стиле Диккенса.

Из воспоминаний доктора Альтшуллера: «…ребенок родился с пуповиной, обмотанной вокруг шеи так плотно, что едва мог дышать. Он был весь синий… Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и наконец он начал дышать и из синего превратился в розового… В это время Марина курила и не сводила глаз с ребенка…»

Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку: «В самую секунду его рождения – на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала метель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная метель за зиму и именно в его час».

В несчастной своей гордыне Марина была уверена в уникальности, в гениальности всего того, что исходило из ее плоти и духа. Матери вторит дочь. Из письма Ариадны Эфрон, старшей сестры Мура: «Брат мой толстый (тьфу, тьфу, не сглазить), совсем не красный, с большими темными глазами. Я удивляюсь, как из такого маленького может вырасти большой! Он счастливый, так как родился в воскресенье, в полдень, и всю жизнь будет понимать язык зверей и птиц, и находить клады».

Странностью Марины Цветаевой была любовь к Бонапарту. Она и сыну приписывали родовые черты несчастного императора.

Борис Пастернак получит фотографию младенца – Мура и ответит Цветаевой так: «Нелегко далось мне это молчание. Особенно больно открыть его вслед за получением Муровой карточки и не успеть сказать тебе, как он великолепен в своей младенческой надменности и насквозь, действительно, наполеонид».

Трудно увязать характер романтика вселенских драк с волшебной способностью понимать язык «зверей и птиц», но таким было время Марины. Время высоких надежд и преклонения перед грубой силой.

Она не умела жить. Не была купцом своего таланта. Не умела

ладить с людьми и со временем, в котором ей довелось родиться. Не умела зарабатывать деньги и устраивать свой быт. Поэтический гений – посох для путешествий в бесконечность, но он не способен спасти от ухабов и пропастей обычной земной мороки. Сын Марины все видел, все понимал, но он был человеком порядка, нормы и рассчитывал протянуть свои дни до глубокой старости.

Мур (Георгий Эфрон) писал в дневнике: «Мать абсолютно не умеет организовывать подобные устройства и, хотя у ней много доброй воли, все делает – в этом смысле – шиворот-навыворот, каждоминутно что-нибудь теряет, и потом приходится это искать… При ее хозяйничанье у нас никогда не будет порядка… Впрочем, я ее не виню, – она из тех людей, которые пытаются, при полном отсутствии данных, успешно что-нибудь осуществить, пытается чистосердечно, но у них ничего не выходит и не может выйти».

«Все только устраиваются, когда же начнут жить?» – писал Лев Николаевич Толстой. Марина Цветаева жила, но не умела устраиваться, потому и погибла раньше срока, может быть, и потому оказалась в петле, что не хотела пережить своего сына, умевшего ладить с проклятой жизнью.

Ладить – не значит успешно устраиваться в ней. Отравленный идеологическими клише, он был далек от подлинных радостей жизни, презирал их: «Эти рассуждения вполне совпадают с моими воззрениями: иметь наслаждение с женщиной, но не иметь детей. Есть, конечно, презерватив, но с презервативом вряд ли интересно… Он и она любят друг друга, и кончается тем, что выходят замуж. А потом – конец. Ну и подразумевается, что у них будут “детки”. Или они об этом не думают, а неосторожно предаются страсти, а потом ходи, как дурак, с женой с огромным животом. Нет, избавьте! Действительно, какая дилемма: не утоляй жажды женщины, или спи с проститутками, или – женись, познай любовь, а потом – живот, роды, пеленки, крики ребенка и отупение матери и т. п.; такая дилемма неприемлема для современного человека».

Георгий Эфрон – герой своего страшного века. Века смертей, а не рождений. Его мысли, его чувства в эгоизме своем искренни, безумны и страшны, как была страшна мораль, навязанная населению страны советов: «Но мне бы хотелось знать следующее: с точки зрения коммунистической морали имеем ли мы право вкушать свое удовольствие от женщин, “которые тоже этого хотят” (конечно, принимая все необходимые меры предосторожности, чтобы не было детей). Законно ли это с точки зрения коммунистической морали?»

Время от времени Всевышний занят иными планетами, нам неведомыми, а на земле воцаряется сатана. Нечистый только и ждет этого момента, нетерпеливо потирая сухие и горячие ладони. Господь отворачивает Свой невидимый лик, и одно лишь солнце начинает согревать моря, озера, реки и пустыни земли, но жар светила не в силах разогнать леденящий холод жестокости и ненависти.

Приняв хозяйство, Князь Тьмы все закручивает по-своему, искушая род людской злом. Он все путает, ставит с ног на голову. Он так шутит, издеваясь над слабым родом потомков Адама и Евы. Он заставляет поверить, что белое это черное, а дважды два – пять. Он, мастер гипноза, сбивает человечество в обезумевшие толпы и бросает толпы эти на штурм мифических крепостей. Он… Будь он проклят! Но – ни в чем не виноват Сатана. Его прихода ждет худшее в человеке Дьявола зовут и ждут сами люди, утопая в тоске пошлости… Некому остановить их, они и бегут в восторге навстречу вестнику смерти, вопят радостно, подбрасывая в небо головные уборы и швыряют цветы к ногам Дьявола…

Копыта, утопающие в цветах. Вот как встречают люди свою погибель.

Гению Марины не верили. То был поэтический гений, неспособный создать вокруг себя крепкий мир вещей и достатка. Дети не верили Марине, верили отцу, потому что он был отцом, мужчиной… Кому-то нужно верить, согласно законам родства.

Отец служил агентом ОГПУ. Ему в эмиграции за честный труд никто не платил денег, так, гроши. А эти платили, ценили его работу, обещали спокойную жизнь на родине, в юной и энергичной стране будущего, в стране строителей коммунизма.

Марина знала, как выглядит Страна Советов. Она жила там в самое лихое, голодное, страшное время. Марина не желает вновь попадать в капкан, но сторонников возвращения трое, она, как всегда, одна. Одиночество беспомощно, одиночество гибельно, одиночество нерасторжимо со смертью. Семья спасала от одиночества и смерти, она же затянула петлю на шее Марины.

Они вернулись в Россию, в голод, лишения, в смерть. В петле окажутся все четверо: Марина, Сергей Эфрон, Аля, Георгий – Мур.

Сын Марины любил котлеты. Он мог истребить их дюжину… Он любил конфеты и выпечку разного рода, молочные продукты любил, овощи и фрукты… В общем, любил все, что можно съесть. Растягивая желудок, Георгий Победоносец, будто готовил себя к предстоящим мукам голода. Мур был толст, даровит, умен не по

летам и наивен, как и положено быть подростку в эпоху всевластия Дьявола.

Дневник Мура – документ удивительный и страшный:

«Вчера, 13-го марта 40 года заключен мир с Финляндией. Мне кажется, что это должно быть большим ударом для Англии и Франции. Будем ждать, что будет дальше в сложной международной политике. Мне все больше кажется, что наши дела (мои, мамины, отца и сестры) шагают по хорошей дороге. Увидим».

«Хороша дорога». Отец в тюрьме, сестра сослана, мать мечется в поисках куска хлеба и крыши над головой… Петля затягивается. Он не чувствует этого: «…есть вещь, в которой я определенно уверен: это что настанут для меня когда-нибудь хорошие денечки и что у меня будут женщины… больше, чем у других. Это – здорово, и я в этом абсолютно убежден».

О «котлетах» он пока не пишет. Женщины в пятнадцать лет более желанны. Женщины приходят по ночам, нагие, готовые на все, но ты просыпаешься – и нет их! Другие, не ты, сжимают податливые тела в объятьях…

Политика. «Мне все больше кажется». Муру кажется то, о чем с утра до вечера талдычат радио и газеты: Англия, Франция – враги СССР, Германия Гитлера – друг.

Коктейль из политики и секса в дневнике Мура постоянен: «Меня интересует, в каком возрасте я буду обладать первой женщиной? Один французский товарищ сказал мне в Париже, что он перестал быть девственником в пятнадцать с половиной лет; мне все-таки не думается, что я смогу достичь этого рекорда. Другой мой товарищ, уже в Союзе потерял «флер д. оранжа» в 17 с половиной лет; интересно – побью ли я этот рекорд или нет?»

«Рекорд»? Какой странный мальчик. Кем обладать – не важно. Важен сам факт. Мур не пишет о любви, он не зовет любовь, он не говорит о телесной любви с любимой. Это как будто не имеет значения… Главное не кого, а как: «Интересно, где лучше женщины умеют любить: здесь или в Париже. Конечно, смотря какая женщина – есть с темпераментом, а есть тряпки в этом смысле». Мур мечтает не о любимой женщине, а о женщине «с темпераментом». Бедный, бедный Георгий Победоносец…

Он не думает о любви к женщине, но считает, что любит СССР, и этого достаточно. Ему так кажется. Он хочет, чтобы ему казалось это: «Вчера навестил меня критик Зелинский… Он меня одобрил своим оптимистическим взглядом на будущее – что ж, может, он и прав, что через 10–15 лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от трудных бытовых условий, не нужно смотреть обывательски – это он прав».

Корнелий Люцианович Зелинский, он же Латунский в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», не зря совал свою белокурую головку в конуру Цветаевой. Этот негодяй всегда стоял на защите жизнеутверждающей мертвечины соцреализма. Это он решительно зарубил книгу Цветаевой. Книгу, которая могла бы спасти Марину от нищеты и безвременной смерти. Приговор Зелинского-Латунского стихам Цветаевой выглядел так: «Совершенно о*торванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью»*.

«Мы перегоним»… Через четыре года фашисты убьют Мура. Через двадцать лет Никита Хрущев обещает народу, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Гражданам советовали не обращать внимания на бытовые условия, не быть обывателями, а штурмовать небо… Как чудовищна закольцованность зла, как банальна извечная пошлость лжи, как постоянны «бытовые условия».

Его зовут мечтать о будущем: сегодня плохо, сегодня страшно, завтра будет хорошо. Завтра в этой жизни или на том свете, в объятиях девственниц, как обещают своему народу нынешние служители зла, подручные дьявола. Прогресс: сто лет назад людям обещали светлое будущее, основанное на свободе, равенстве и братстве, сегодня слугам Аллаха обещают семь десятков самок, не познавших удаль самцов…

Мур верит, что все будет хорошо. Точнее, какая-то часть его существа верит: та, что под гипнозом. В норме, в сознании он другой: «Чему я научился во время моего пребывания в СССР? – Я научился жить каждым днем и не думать о будущем». Он старается не думать о своем будущем. Будущее страны – это совсем другое дело. «Двойное» будущее: что-то сказочное, мифическое. Ты в одном измерении, страна – в другом. Республика будущего далеко, в заоблачной выси, до той страны обетованной как минимум 10–15 лет. Держава настоящая рядом, дышит в лицо смрадом и харкает кровью: «Вчера, 28-го, мать была в Болшево, с Митькой и двумя представителями НКВД. Очередная – очень приятная – новость (sic): повесился поселившийся на «нашу» дачу начальник милиции. И не повесился, а удавился. Привязал ремень к кровати, в петлю просунул голову и шею, уперся ногами в кровать – и удавился. Хорошенькая дача, нечего сказать! И до нас там был арестован какой-то вредитель, потом вселились семья Эфрон и Львовы, и всех, кроме двух лиц, арестовали, потом поселились судья и начальник милиции, который скоро удавился».

Мур не читал и не мог прочесть роман Булгакова. Он описывает свою квартиру № 50, из которой поочередно исчезают

все жильцы. Описывает, не подозревая, что вся Россия превратилась в огромную, заколдованную Сатаной «дачу»… И Мур исчезнет, когда придет его час, следом за отцом и матерью.

Безумен мир, окружающий сына Цветаевой. Мир этот только притворяется нормальным, загоняя каждого в плен одиночества и страха. Связи между людьми ненадежны, смертельно опасны; вся страна опутана паутиной доносов, а в паутине этой корчатся жертвы, доносчики и палачи.

Мур все еще живет в мире иллюзий, в плену завораживающих, гипнотических слов и снов: «Мне бы хотелось друга культурного, просвещенного и в то же время вполне советского, который страстно интересуется, как и СССР, так и мировой политикой, человека умного и веселого. Митька очень односторонен – политикой он интересуется только как предметом шуточек. У него “полторы ноги” остались во Франции, а здесь только половина».

Любитель политики Георгий Эфрон был убит в девятнадцать лет. Дмитрий Сеземан (Митька) жив и сегодня. Родителей шутника расстреляли, он сам прошел фронт и концлагерь, в 1976 году Сеземану удалось покинуть СССР и соединить обе свои половины в Париже. «Односторонний» Митя переводит на французский Андрея Битова. Он пишет воспоминания о Марине Цветаевой и о друге своем – Муре, убитом неизвестно как в первом бою и похороненном в братской могиле.

Почему дьявол жалеет одних и не щадит других, на каких весах он взвешивает наши судьбы? Нет ответа. И быть не может. Не знаю, может быть, любовь к Франции и спасла Дмитрия Сеземана. Нельзя любить будущее, любить можно только то, что «почувствовал на вкус». Влюбленный в мираж обречен на смерть от жажды в пустыне. Тот, кто помнит вкус родниковой воды на губах, способен выжить. Впрочем, отказ юного Георгия Эфрона от прошлого был не похож на полное забвение. Он хотел забыть Париж, но не мог, потому что невозможно отказаться от пережитой радости на пороге бездны. Невозможно отказаться от самого себя, а сын Марины Цветаевой, как не пытался стать настоящим советским человеком, был парижанином до мозга костей.

Он пишет: «Я считаю, что Францию от меня должно отрезать и оставить от нее только юмор, любовь к хорошему вкусу, чувство иронии, веселость… Митька от Франции никак не может отлипнуть – все вспоминает Париж. А я считаю, что просто как-то не современно “прилипать” и питаться прошлым».

Мур с какой-то странной, утомительной настойчивостью уговаривает сам себя: «Я считаю так: как бы ни были плохи или

хороши события прошедшие, все же они за спиной, и жизнь течет уже по-другому, и поэтому сетовать, сожалеть, вздыхать и вспоминать не приходится. Помнить нужно – это для того, чтобы извлекать какие-то аксиомы из прошедших событий. Но кормиться прошлым – это нельзя. Нужно прежде всего жить, а жизнь – это ощущение жизни, т. е. настоящего».

Судьба Дмитрия Сеземана доказала благотворность ностальгии, как верности, преданности сердца. Судьба Георгия Эфрона, во многом, – трагедия отказа. Он мечтал принять «правила игры», продиктованные Сатаной, и игра эта отказала Муру в будущем, оставив от него только прошлое, сотни страниц дневников, наполненных исповедью сына своего беспощадного века.

Мур слушает радио и читает газеты. Он по-прежнему верит словам: «Спикер горячо призывал всех французов вести борьбу против этой абсолютно ненужной, идиотской и кровопролитной войны. Он говорил, что сдача Парижа немцам является первой победой “Фронта мира”, что под давлением французских масс военные власти были вынуждены объявить Париж открытым городом, чтобы избежать участи Дюнкерка… “Фронт мира” призывает к немедленному заключению мира с Германией, чтобы спасти то, что остается от Франции… В голосе спикера я услышал весь французский народ, абсолютно осуждающий эту идиотскую, преступную войну, я услышал голос народных масс, враждебных правительству преступников Рейно и К*, враждебных английскому империализму, который вовлек Францию в эту войну… Теперь немцы начали новое наступление против линии Мажино и против отступающих из Парижа войск, которые, конечно, будут разгромлены».

Через четыре года юноша, написавший эти строки, станет очередной жертвой нацистской агрессии. Он погибнет еще и потому, что Франция 40-го года, капитулировав перед Гитлером, спасет себя, но тем самым приблизит смерть десятков миллионов убитых в ходе Второй мировой войны.

«Фронт мира»! Как ловко умеет скрываться малодушие, трусость, предательство за красивыми словами.

Дьявол владеет СМИ гораздо чаще, чем нам это кажется. Из дневника Мура: «Занятие Литвы, Латвии и Эстонии советскими войсками и образование советофильских, прокоммунистических правительств в этих странах, бесспорно, означает укрепление СССР и распространение коммунизма. Так и надо».

Бедный, бедный мальчик, на следующий день (20 июня 1940 года) он оставит еще одну запись: «В Сочи я никогда не был, но

думаю, что там хорошо. Хорошо также в Крыму, в Феодосии и Коктебеле, но, увы, пока отец и сестра в тюрьме и нужно носить им передачу, ни о каком море и думать не приходится».

Мур мечтает о море и носит передачи в узилище отцу и сестре, но при этом безмерно рад «распространению коммунизма». Радуется он и победам нацистов: «Теперь английская империя будет сражаться одна, и я надеюсь, что немцы ее раздолбают».

Мур думает так, как обязано было думать в тот год все население СССР. И Францию он «хоронит», согласно клише советских газет: «Это поражение действительно показательно для глубокого упадка Франции, из которого она сможет выйти только при условии коммунизма». Бред, но бред вменяемого, образованного юноши, воспитанного в лицеях Парижа. Какой же всесокрушающей силой обладают ложь и глупость. И как страшна расплата доверчивых и наивных.

Он слушает радио, он читает газеты. Он не желает слушать мать. Ему не нужны ее глубокие знания, ее душа, ее любящее сердце, ее гений, наконец: «Последнее время у меня участились конфликты с моей матерью, которая не перестает меня упрекать, почему я не хожу с ней гулять; что ни одного раза с тех пор, когда мы приехали сюда, я не пошел с ней гулять и т. п. Дело в том, что я люблю гулять один или с друзьями, а с ней мне просто-напросто скучно гулять, и она никак не может этого понять и оттого закатывает мне по этому поводу сцены. Такие инциденты скучны и неприятны».

15 июля 1927 года Цветаева писала Борису Пастернаку о сыне: «…Мур – загляденье. Чудная голова, львиная. Огромный лоб, лбище, вздымающийся белой бурей кудрей. Разговоры такие… Мама, поцелуй Мурке пузо».

Мур любит рассуждать о политике. Марина терпеть этого не может. Ему скучно с матерью. Георгия Эфрона спасает дневник: «Здорово быстро идут события! Германия готовится к нападению на Англию». Муру и в голову не приходит, что Германия готовится к нападению лично на него, его убить хочет, так как не бывает сторонних наблюдателей в кровавой игре, затеянной Сатаной по настоятельной просьбе обезумевшего человечества.

Тяжко было Георгию Победоносцу в то жаркое лето 40-го года: «Мать валяется и читает “Дневник” Ж. Ренара. Ей абсолютно начхать, что я так хреново скучаю. Все же это совершенное г..! Пойти погулять? А куда идти? А вечер такой хороший и свежий… Перед моим окном стоит зеленое дерево, через его листья просвечивает кусок голубого неба – вечернего. И ветер входит в окно, и вместе с ним городское дыхание и вздохи».

Да он тоже поэт – этот Мур! А рядом «валяется» с книгой его мать – Марина Цветаева, но Муру скучно. Поэту сыну не о чем говорить с поэтом матерью… Неисповедимы пути одиночества.

«Что буду делать летом? Мать говорит, что мы с ней будем ездить за город – но боже упаси от этой скуки! Ведь нам совершенно не о чем говорить, а когда говорим, то начинаем спорить и взаимно говорит неприятности».

Вот еще более откровенное признание на тему «отцов и детей»: «…Я хочу, чтобы люди знакомились со мной непосредственно, а не как с “сыном Марины Цветаевой”. Кроме того, мне надоели поэты, старики, переводчики и Крученыхи. Я буду общаться только в кругу мне равноправном – т. е. в кругу молодежи. Слишком велика пропасть между старшим и младшим поколениями. Кроме того, я чувствую себя чужеродным телом среди всех этих маминых знакомых».

Но не прошлое, не старость за «маминими знакомыми», а иная культура, подлинные ценности, аристократизм духа. И только лишь эти качества сопротивляются революционному больному жару, охватившему податливую и легковерную юность. Так было, так есть и так будет. Пропасть начинает углубляться только сейчас, в XXI веке, когда убитое поколение уже не способно передать своим детям тот свет и радость, ради которых и стоит жить на этой земле.

Он оптимист – Георгий. Он старается поладить с этим миром и своим временем. Он свято верит в лучшее: «Все-таки я надеюсь от всего сердца на праведность НКВД; они не осудят такого человека, как отец… Я уверен, что его оправдают и выпустят, прекратят дело… Я в этом убежден. Слишком он много пользы сделал для СССР во Франции».

Зловещее заклинание все тем же роковым словом «коммунизм». Какую пользу принес Сергей Эфрон? Посылал на смерть волонтеров в Испанию, сам принимал участие в слежке и убийстве инакомыслящих? Во имя чего? Зачем? Ну да, во имя того же кровожадного идола, под красивым именем Коммунизм.

«Латвия и Эстония объявили себя советскими, союзными республиками и присоединились к СССР. Вот это здорово! Наша страна, очевидно, колоссально усилится… Коммунизм проникнет “быстро и верно” на Запад! […] Да, коммунизм явно усиливает свои позиции!» Сплошные восклицательные знаки и шепот, страшный, невнятный шепот скороговоркой, шепот, срывающийся на крик, когда дело касается реалий коммунистического воспитания: «Дело в том, что Аля признала, что в ее присутствии и присутствии отца велись антисоветские разговоры… Но,

спрашивается, почему отец, который, в сущности, сотрудник этого ведомства, и Аля, которая более или менее с этим ведомством связана, почему же они не донесли об этих разговорах, кому следует. А это очень плохо: люди, связанные с НКВД и не доносят туда об антисоветских разговорах! Это не доносительство. А от недоносительства до укрывательства один шаг».

Стихи его матери не печатают, обрекая семью Цветаевой на лишения и голод, забирая у самого Мура «удовольствия жизни», но и здесь он готов оправдать цензурного монстра и вторит Корнелию Зелинскому: «…я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери – совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью».

Жертвы, неизбежно превращаясь в рабов, стремятся оправдать палачей, признавая их правоту, целуя им руки, умоляют о снисхождении. Все это во имя гармони мира, погрязшего в хаосе, во имя мифа, подсказанного Сатаной. Похоже, сам Мур готов донести на свою мать или отца, чтобы не быть обвиненным в укрывательстве. В дневнике он перечисляет вины Сергея Эфрона: «Приехали из Франции… Отец отказывался от работы, которая ему неоднократно предлагалась, потому что был болен. А может, болезнь – симуляция? Потом – бывший белогвардеец».

Юноша Мур не хочет иметь детей, но и семья ему не нужна, своя собственная семья, как и Париж, как и все, что было до ужаса возвращения в СССР. Разрыв всех связей необходим, чтобы лишить род человеческий тыла, швырнуть людские, озверевшие толпы навстречу друг другу, заставить убивать, жечь, насиловать…

Впрочем, Муру нужна семья, нужен совет, поддержка в том, что волнует его по-настоящему: «Конечно, главный вопрос в 15–16 лет – это половой вопрос… Это все-таки чрезвычайно комично, что моя мать – культурная женщина, поэт и т. п. – думает, что не стоит мальчику говорить о “таких вещах”, и ведет себя в этом отношении как настоящая, рядовая мещанка, как любая безответственная домохозяйка… Неприятно то, что я лишен элементарных советов, исходящих от матери».

Какие могут быть советы? Мать живет прошлым, сын пытается жить верой в идолов, жить по какой-то новой, коммунистической морали. Арестованной сестре приходят письма из Франции, передать их нет никакой возможности. Марина не смеет прочесть послания не ей адресованные. Мур пишет: «Мать из-за глупых нравственно-интеллигентно-морально-возвышенных соображений не открывает письма».

Проклятая, нечистая маета, этот половой вопрос в пятнадцать – шестнадцать лет. Отца нет рядом. Мать больше доверяет дневнику, чем сыну, а в дневнике Марины: «Тело женщины – постоялый двор». Тело, но не душа. Как она, рожавшая трижды, могла сказать об этом Муру?

Он беспощаден к матери – Георгий Эфрон, но и Марина Цветаева безжалостна к сыну: «Мать живет в атмосфере самоубийства, и все время говорит об этом самоубийстве. Все время плачет и говорит об унижениях, которые ей приходится испытывать, прося у знакомых места для вещей, ища комнату. Она говорит: “Пусть все пропадает, и твои костюмы, и башмаки, и все. Пусть все вещи выкидывают во двор”. Я ненавижу драму всем сердцем, но приходится жить в этой драме».

Он жил в «драме» – юный Мур. В трагедии жила его мать, стараясь ради него, Мура, хоть как-то держаться на поверхности проклятой, ненавидимой ей жизни. Положение с крышей над головой настолько отчаянное, что Цветаева шлет телеграмму в секретариат Сталина. Вера в коммунизм неразрывна с верой в вождя, ведущего к светлому будущему. Мур пишет в дневнике: «Говорят, что Сталин уже предоставлял комнаты и помогал много раз людям, которые к нему обращались. Увидим. Я на него очень надеюсь… Наверное, когда Сталин получит телеграмму, то он вызовет Фадеева или Павленко и расспросит их о матери… Страшно хочу есть». Это первый раз о еде после приезда в СССР. Первый, но далеко не последний. Петля на горле этого мальчика, как и на горле его матери, затягивалась под лейтмотив муки голода.

Но он верил, он мечтал о своем личном «коммунистическом» будущем: «Пока еще ничего не потеряно. Много еще предстоит. Предстоит спорт, пляжи, любовь, море, голубое небо, интересная работа, интересные знакомства, увлечения, радости и развлечения».

Удивительно, что здоровому, сильному парню почти в шестнадцать лет не приходит в голову самому подработать, помочь матери. Нет об этом ни одной строчки в дневнике Мура. Сам он лично не собирается строить коммунизм собственными руками, даже летом, во время каникул… Он тоскует по женскому телу, по «пляжам, любви и морю» и верит вождю, но «отец родной» не читает телеграмму Цветаевой. В ЦК партии ей сказали, «что ничего не могут сделать насчет комнаты. Мур пишет: «Если бы телеграмма дошла бы до Сталина, то, конечно, с комнатой было улажено». Вера, как можно жить без веры и надежды. Он и не подозревал, что не дом стремятся построить для него с матерью, а домовину. Для всей необъятной СССР

строил домовину усатый вождь и рыл могилу, вонзая острую лопату в землю, пропитанную кровью.

В какой атмосфере жил высокий талант Марины Цветаевой? Мур пишет об этом с предельной откровенностью: «Вчера вечером мать повесила в кухне сушить от стирки мои штаны. Сегодня Воронцов учинил подлинный скандал, требовал снять эти штаны, говорил, что они грязные. Говорил, что мы навели тараканов в дом. Грозил, что напишет в домоуправление. Все это говорилось на кухне, в исключительно злобном тоне, угрожающем».

К чести Мура он защищает Марину от наката пошлости, не догадываясь, что от мрази этой нет защиты: «Моя мать представляет собой объективную ценность, и ужасно то, что ее третируют, как домохозяйку».

Коммунистическая мораль привела к всевластию хамства и пошлости. Не лагеря, пытки, психушки, произвол истребляли «небожителей» Страны Советов, а именно этот роковой симбиоз хамства и пошлости… А защитой, спасением – всего лишь трогательная молитва Марины Цветаевой:

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад,
На старость лет.

Весна 41-го года. Война приближается к границам СССР, но тон прессы Кремля по-прежнему лоялен к рейху. Мур тон этот улавливает превосходно и вторит ему: «Конечно, Балканы будут завоеваны немцами. Молодцы немцы! Здорово сражаются». Через три месяца, 22 июня, 41-го года Мур оставит в дневнике совсем другие слова: «Я же торжествую: я всегда был антинацистом, и всегда говорил, что Рейх – враг. События показывают, что я был прав».

Тем не менее германские войска «сражались здорово» даже в 1944 году, когда солдатам Гитлера удалось убить Георгия Эфрона, лишить его столь желанного будущего. Он не знает, не верит в это, не верит во «внезапность смерти», как не верит в высшую силу и нынешнее всевластие Дьявола: «Возможно в старости я буду смеяться над моей юной поспешностью к “совершенству”, т. е. к старению… В конце концов, мне только шестнадцать лет, и времени для счастья еще много».

Судьба отпустит ему еще три года. Три года лишений, голода, страха уготовит ему парочка людоедов: послушников Сатаны… Но пока что безумный бред преследует Мура, он больше всего боится перестать быть «советским человеком»: «Я от всего

сердца верю в будущее возрождение Франции. Только всенародная революция под руководством КПРФ сумеет вернуть Парижу и Франции ее огромную роль в восстановлении Европы. Чтобы не говорили голисты, они не смогут обеспечить воскрешение Франции, потому что они не едины с народом».

Слова, слова, на деле бедный Мур даже гордится своим «буржуазным» видом: «В моем пальто (бежевом) и в шикарных ботинках я настолько похож на иностранца, что все таращат глаза. Вообще, если даже меня одеть во все советское – и то будут глазеть, потому что лицо у меня нерусское».

Преодоление чуждости невозможно. Сам по себе дневник Мура, несмотря на заклинания к подобию, полон этой чуждостью. Георгий Эфрон был сыном поэта Марины Цветаевой и «белогвардейца» с еврейскими корнями. Мог ли он побороть неизбежность родства. Нет, конечно. Мур все чаще пишет свой дневник по-французски, невольно цепляясь за столь презираемое прошлое. «Бежевое пальто» стало второй кожей Георгия Эфрона, пролетарские лохмотья никак не хотят «облагородить» его «нерусский» облик.

«Когда я возвращался к себе, какая-то шайка дураков мне плюнула в лицо, через дверь лифта. В глубине, фактически, мне наплевать, но для меня это символично, это доказывает мою малозначительность в настоящей жизни, мое практическое не-существование».

Первые месяцы войны. Муру приходится испачкать руки, труд «черный», грубый: «Я устал. Работа была грязная, но я понял, что грязно было не от пыли и сырости, настоящая грязь идет от людей… То, что я твердо знаю, это что мой дух останется навечно отмеченным ненавистью к мещанам, жестокой и трезвой ненавистью».

Ненавистник мещан и мещанства расчетлив, предусмотрителен, осторожен. Предстоит эвакуация. На восток Марина и Мур могут отправиться вместе с семьей Барских. Это обстоятельство не по сердцу Георгию Эфрону: «Неприятно то, что Барские – евреи, и если немцы притащатся, тогда будет совсем скверно, а мы будем с ними связаны».

Отцы и дети, матери и дети. Как там насчет пропасти между ними? Могла ли Марина, полагающая, что «в сем христианнейшем из миров все поэты жиды», написать подобное? Нет, конечно, а вот ее сын пишет, в тайне гордясь своей отдаленностью от племени изгоев.

Барские отправляются в эвакуацию сами. Марина и Мур уезжают на случайную дачу в Подмосковье, подальше от бомбежек и прочих тревог военного времени. Июль сорок первого

года. Грядущий голод шлет своих тощих гонцов: «Скука и сплошной бред. Что я здесь, собственно говоря, делаю? Общество матери и двух старух, интересующихся кошками, – красота! Из рук вон плохое питание: гречневая каша, похлебка, черный хлеб».

В скуке Мур общается со своим дневником с особой откровенностью. Он умен и даровит, этот подросток, и с жестокой точностью анализирует то, что происходит с ним самим и с безумным миром, в котором он вынужден взрослеть: «С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. Распад моральных ценностей, тесно связанный с распадом ценностей материального порядка. Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе, в ругани, без объединения. Семьи не было, был ничем не связанный коллектив… Распад семьи был не только в антагонизме – очень остром – матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца».

Мур пишет о том, что ходил он в православную церковь, а учился в католическом лицее, пишет о том, что окружали его люди разных взглядов: евразийцы, монархисты, большевики. С удивительной точностью Мур описывает причины своей тяги к Стране Советов: «…мечта о СССР как о чем-то особенном, интересном и новом, поддерживаемая отцом… По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня очень большой характер, большое значение. Я сильно надеялся, наконец, отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием». Дальше следует рассказ о крушении всех надежд и новые жалобы на распад всего сущего. И вывод: «Я имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика. Я ничего не прошу. Придет время, когда я смогу говорить в лоб, что я думаю, людям, которые мне не нравятся. Деньги – вот в чем дело. Это очень сложно: загребать деньги с моей прямотой и ясным взглядом очень трудно, а я сам без денег – неполноценный человек». Где она, эта «коммунистическая мораль»? Деньги – вот в чем дело.

В юности непереносима пытка одиночеством, но каждый по-разному выходит из стресса, вызванного ею. У одного появляются добрые чувства, решимость на мужество, преодоление личного кризиса, у другого кризис этот ведет к еще большей изоляции, на грани, а чаще и за гранью мизантропии.

«У меня все впереди, – пишет Мур. – ВСЕ будущее. Несмотря на все, я – оптимист. И ключ моего героизма и моей силы – в силе моей веры в мое собственное будущее и отсутствие веры в будущее остальных… Одним словом: я не люблю людей, 99 %

людей мне представляются чудовищными существами, это какие-то наросты, раны. Они мне противны. Я всегда в них, в их мнениях, в их манере выражаться распознаю какой-нибудь недостаток или тик, которые представляются мне уродливыми и доминирующими в личности их обладателей. Я жажду гармонии. Отсюда моя сильная тенденция к безжалостной критике, критике творческой, так как для нее нужно хорошее познание людей».

Одиночество человека среди «ран и наростов» особенно мучительно. Георгий Эфрон не из тех, кто останавливается перед зеркалом и спрашивает себя же: кто ты? Он доволен собой, он считает себя вправе судить и осуждать. Здесь не юношеский максимализм, вернее всего, перед нами мальчик-старик, страдающий искаженным, патологическим зрением, обрекающим человека на особый, трагический вид одиночества.

Первой жертвой «холодного» ума Мура становится его мать. Положение отчаянное. Они плывут на пароходе неизвестно куда, без денег, без возможности работы. Марина в панике, ей нужна поддержка. Нет рядом никого, ближе сына, а он: «Я умываю руки, моя совесть спокойна. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Я отлично знал, что через некоторое время мать начнет беспокоиться о будущем и т. д. Она мне говорит: “Лежачего не бьют”, просит помочь. Но я решительно на эту тему умываю руки».

Лежачего бьют, понимает Марина. Лежачих добивают. До момента, когда она повиснет в петле, остается совсем немного времени. Как странно все это… Какая недобрая сила перемещала в пространстве, навстречу смерти, эту удивительную женщину? Что выгнало ее из Москвы? Страх перед нашествием нацистов? Кого и чего может бояться самоубийца? Страх за сына – «иностранца» с еврейской кровью? Не знаю. Может быть, злая сила подводила Марину к площадке, к тусклым, чудовищным декорациям, где и висел крюк, который она давно искала.

Марина в отчаянии. Мур полон оптимизма: «Все очень просто: материальная основа, которую я хочу иметь, чтобы быть материально независимым от других, может быть создана только при условии, что я не подорву ее теперь своим неосторожным поведением. Что мне очень трудно, это делать вид, что я согласен со всеми этими кретинами беженцами, окружающими меня, со всеми этими мещанскими буржуями… Я обязан прятать когти перед идиотами. Ничего не поделаешь, но когда-нибудь я отомщу, я прибью их к позорному столбу».

Мур мечтал, и не без оснований, что когда-нибудь напишет книгу о своем времени и о людях его времени. Возможно, с годами, вместо ненависти и презрения, он пожалеет ближних,

станет относиться терпимей к их недостаткам, так как и себя самого подвергнет критическому анализу… «Со временем», но времени этого судьба не даст Георгию Эфрону. Перед нами он таков, каким оставил себя в дневнике. Перед нами и перед страдалицей – настоящим поэтом – Мариной Цветаевой. Марина теряет себя, с каждым днем утрачивает способность к сопротивлению. Мур держится, причем форма сопротивления для него крайне важна. Здесь он способен на подвиг во имя своей внешности: «Мне чудом удалось защитить от грязи мои шикарные брюки, парижские башмаки я чищу каждый день, я хорошо причесан и поддерживаю свою репутацию элегантного мужчины».

На этот раз он ищет работу, но снова не «пыльную». Работу такую, чтобы не смять брюки и не сносить ботинки: «Я бы не прочь работать в клубе карикатуристом, но мать боится, что придут немцы и расстреляют всех, кто занимается антинацистской пропагандой. Я же лично думаю, что это не произойдет».

Собственное крушение Марина проецирует на Апокалипсис всего, что ее окружает. Мир должен погибнуть в огне нашествия вместе с поэтом. Катастрофа неизбежна, потому и самоубийство – единственный выход из ситуации.

Мура не волнуют судьбы мира. Своя судьба, как обычно, тревожит его больше всего остального: «Подумать только, в какой я сейчас глуши, как отдалился от Европы и культуры! В Елабуге грязно, люди – рожи. Вонь, скука, пьяные. Как я выберусь на поверхность?.. Самые ужасные, самые худшие дни моей жизни я переживаю именно здесь, в этой глуши, куда меня затянула мамина глупость и несообразительность и безволие».

Марина, как всегда, во всем виновата: не фашисты, не возвращение в СССР, а она, не сумевшая противостоять сыну, дочери, мужу… «Глупая, несообразительная, безвольная» Марина. Но Мур ошибается: самые страшные дни его жизни впереди, когда не станет рядом матери, когда он превратится в «лежачего», а судьба и не подумает пожалеть Георгия Эфрона.

Сухая запись в дневнике: «31 августа мать покончила с собой – повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее “освободить”. И кончила с собой».

Рассказ Веры Трайл: «Я сказала: “Мур, отойди, ты мне заслоняешь солнце. И раздался голос Марины, глубоко возмущенный, никак не в шутку: – Как можно сказать это такому солнечному созданию”».

Из письма Марины Цветаевой: «Не могу разбивать художественного и живого единства… Пусть лучше лежит до

другого, более счастливого случая, либо идет – в посмертное, т. е в наследство тому же Муру (он будет богат ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ)».

Из воспоминаний Анастасии Цветаевой: «Мы прошли городком и вышли в горячий и влажный лес. Пахло, как в России, грибами, лесной сыростью. Мур рвал маленькие синеватые цветы, похожие на фиалки. Похожие на его глаза. Когда он подымал их на мать – взглядом доверия медвежонка к медведице, казалось, что на земле – счастье.

Марина «освободила» «фиалковые глаза» сына. Мур возвращается в столицу: «Дожидаясь окончательного решения насчет моего отъезда в Москву, я занялся продажей вещей матери… Продал вещей носильных, белья и пр. на 650 р. Денег – итого – у меня примерно рублей 1060. Это неплохо. И еще продам вещей, не знаю на какую сумму – рублей на 500, наверное».

Время тяжелое. Георгий Эфрон остается один, но никакой растерянности. Он не похож на Марину: аккуратен, организован, предусмотрителен: «Вообще-то я пока трачу деньги беззаботно, потому что они есть, но трогать “основной фонд” в 2500 р., который лежит в вещах Асеева, пока не буду… Пристрастился к портвейну… Много ем мороженого, помидоров… Вера, сестра жены Асеева, должна мне еще 80 р. Кроме того, кожаное пальто М.И. лежит в комиссионке. Боюсь, что оно не скоро продастся – а то бы я выручил за него 600 р.». М.И. – это мать Георгия Эфрона – Марина Ивановна Цветаева.

Мур по-прежнему избегает «грубой» работы. Ему везет: «Сегодня окончательно выяснилось, что в колхоз я не поеду – по медицинскому освидетельствованию оказалось, что у меня слишком маленькое сердце – по отношению к общим пропорциям: примерно в два раза меньше и на работы меня не отправят».

Перелистывал страницы дневника этого юноши с маленьким сердцем и большим желудком в поиске хоть каких-то эмоций по поводу смерти матери. Нашел наконец: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой? По существу, она совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование. Конечно, авторучки стащили».

В дневнике Мур постоянно совмещает несовместимое. В этом есть какая-то странность, но и нечто зловещее: «Немцы прорвались к окраинам Киева, форсируя линию обороны. Конечно, Киев будет взят. Единственно хорошее – что есть кой-какие деньги. Это всегда пригодится».

Октябрь 41-го года. Георгию Эфрону удается попасть в осажденную, катастрофически пустеющую столицу. Он надеялся

на финансовое благополучие, на деньги от продажи вещей матери и оказался прав: «Основное для меня дожить до продолжительного мирного периода без лишних физических и материальных потерь… Нужно сходить в баню. Деньги текут – по моей вине; я слишком много трачу на хорошую еду, пирожные, рестораны, но удержаться трудно – это реакция после Елабуги и Чистополя».

Нацисты любуются Москвой в бинокль. Паника, бегство. Эвакуируются банки, государственные учреждения. У Мура, ненавистника мещанства, свои обычные проблемы: «Сегодня получил паспорт с долгожданной пропиской. Я начинаю себя спрашивать, не будет ли эта прописка причиной какой-нибудь моей мобилизации. Если Москва должна быть взята, было бы глупо оказаться посланным под обстрел, в грязи, с перспективой возвращения пешком (если можно будет вернуться). Холод, ненужный труд. С другой стороны, я боюсь, что будут мобилизовать мужчин от 16 до 60 лет, когда немцы будут ближе к Москве, чтобы защищать город, который все равно будет взят. Как всего этого избежать?.. Посмотрим, как развернутся события, и постараться держаться от них подальше… Пока я считаю себя счастливым, что могу писать, что я хорошо одет, что я живу… Будущее мне готовит неисчислимые удовольствия и радости. Не стоит беспокоиться».

Он и не беспокоится, оставив в дневнике за 16 октября такую запись: «Коммунисты и евреи покидают город. И все время неустанно повторяется тот же главный вопрос: будут защищать Москву или нет. Хотя все утверждают, что Москву отдадут без боя, что не будет оборонительной осады, я же думаю, что, к сожалению, будет осада Москвы, и Москва будет защищаться… Я очень боюсь, что Москву будут защищать… Во всяком случае, в Москве все говорят об очень близкой оккупации Москвы немцами. Недаром бегут коммунисты и евреи».

Мур не бежит. Он не коммунист и не еврей. Он еще не знает, что в ходе «окончательного решения» рискует тоже попасть в жертвы геноцида: «по деду». Мур готов к приходу фашистов, и он не желает разрушения Москвы, как когда-то не желал разрушения Парижа: «Было бы сущим идиотизмом бороться за город, который все равно будет взят. Сегодня постараюсь найти хороший ресторан, чтобы поесть. Если какая-нибудь жратва осталась. Очень боюсь за Москву. Ведь “наши” готовы наделать глупостей, престижа ради». «Наши» в кавычках. Он готов к отказу от своей «советскости», к отказу от всего, что терпит поражение и грозит опасностью. Он готов к предательству себя самого: «Самое досадное – быть погубленным последней вспышкой умирающего

режима». Что творится с памятью молодого человека? Всего лишь год назад он считал этот режим самым замечательным и перспективным, радовался новым советским республикам, мечтал о победе коммунистов во Франции. Старые дневники не уничтожал Мур. Они были перед ним, эти страницы, наполненные комплиментами в адрес большевистского режима. И вдруг эти кавычки! Впрочем, Мур закавычивает весь Божий мир, кроме: «Сегодня утром купил килограмм муки, коробку консервов (крабов) и 3 коробки вафель, из коих съел одну и собираюсь начать вторую – к чему хранить? Я хочу радоваться, и единственный способ это делать – хорошо питаться».

Впрочем, Георгий Эфрон радуется не только вафлям: «Немцы наступают через Таганрог на Ростов-на-Дону. В сущности, они замечательные. Что-что, а драться, вести войну и наступать они умеют. Этого нельзя отрицать». На этот раз Мур не верит пропаганде Кремля, он верит силе. Он «преобразует» свою лексику. Солдат Советской армии называет «красными», а фашистов «немцами». Георгий Эфрон решительно дистанцируется от всего такого, что привело его в СССР: «Держу пари, что красные не сумеют одержать решающих успехов даже на подступах к Москве… Опасно заявление, что оборонять будут “каждую улицу”, “каждый москвич должен стать солдатом” и т. д. На х… вас всех. Ни хрена не дам… Купил 1 кг. изюму, 1 кг. яблок».

26 октября Мур решает бежать из Москвы. Причины две: «вышло постановление, обязывающее все трудоспособное население выйти на строительство кольца оборонительных укреплений» и «учитывая то, что решили ожесточенно биться за город (строятся баррикады)».

Мур снова отправляется на восток, на этот раз в Ташкент. На «противоходе» неожиданное признание в дневнике: «И все время эта грызущая тоска по Парижу; во что он превратился, будет ли он когда-нибудь тем, чем был?»

Опять же, совсем недавно, он критиковал Дмитрия Сеземана за неспособность уйти от прежней жизни на берегу Сены, и вдруг тоска по Парижу «грызет» самого Мура. Впрочем: «Я абсолютно ни о чем не жалею, я знаю по собственному опыту абсолютную тщетность напоминаний о прошлом – напоминания эти раздирают сердце и ничего не дают. Я пустился в авантюру; пока я жив и “свеж”, я рассматриваю события, в которые замешан с объективным – скажу даже – “историческим” интересом почти равнодушного свидетеля».

Как быстро испарились «заблуждения» юности, патриотизм и эта самая «коммунистическая мораль». «Равнодушный свидетель»

ставит точку: «Россия, в конце концов, абсурдная страна, а главное, очень грязная». Он сопротивляется по мере сил этой грязи: «Я потрясающе вычистил свои ботинки: всем грязнулям в зубы!!!» В чистых ботинках Мур движется дальше.

Его отношение к «буржуазному миру» тоже меняется: «Некоторые питают смутную надежду на английскую оккупацию, если Советы будут разбиты. В сущности, надо было бы, чтобы англичане заняли Баку. Многие вспоминают старую русскую аксиому, которой более тысячи лет: “Земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет”, и все время повторяют, что русских заселили варяги и только таким образом русские стали народом единым, этнически и политически, в том смысле, что англичане должны были занять Россию, что Советская власть показала свою цену 16 октября… По правде говоря, я бы хотел, чтобы Англия заняла Советскую Азию. Это было бы здорово».

Тяжело в дороге. Медленно ползет поезд. Холодно, продукты на исходе. Бытие, как обычно, окончательно формирует сознание Мура: «Вот уж говенная эта страна Советская! Хотя мне кажется, что не только от Советов все эти непорядки, вся эта грязь, весь этот страшный ужас. Все эти несчастья идут от глубокой русской сущности. Виновата Россия, виноват русский народ, со всеми его привычками… Мне же на это решительно наплевать, лишь бы самому хорошо устроиться».

Сына родила Марина в год особой любви к Пастернаку. Не плотской, духовной, поэтической любви. Она считала, что и Мура родила от Пастернака, в результате этого возвышенного и целомудренного чувства. Борисом хотела назвать новорожденного. Только понятное недовольство мужа заставило Цветаеву выбрать другое имя.

Из письма Пастернаку: «Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете, но желание Сережи (не требованье!) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение». Такая насмешка судьбы: плод высокой любви только и мечтает «хорошо устроиться» в год кровавой схватки с фашизмом. Все перевернулось в «маленьком сердце» этого юноши.

Совсем недавно бедный Мур был убежден, что только коммунисты смогут навести порядок в послевоенном Париже, в чем и сознается: «Когда я жил в Париже, я был откровенно коммунистом… Конечно, это было очень симпатично и впечатляло, когда верили в победу народа…. В конце концов во Франции их смирили, коммунистов-то. Конечно, если они вновь поднимут голову и начнут такой беспорядок, что все пойдет вверх дном, тогда… Но я не думаю. В России они сумели сделать

революции, к чему же это их привело? Они чуть не проиграли войну, в этой несчастной русской стране допустили беспорядок и невообразимую грязь».

Прав Мур, но это не так важно. «Доброму человеку и перед собакой стыдно», – писал Антон Чехов. Перед самим собой и подавно должно быть стыдно человеку… Если он добр, конечно. Мур не стыдится себя прежнего.

Он пишет дневник. Делает подробные записи в любых обстоятельствах: голодный, завшивевший, при тусклом свете. Слова, запечатленные на бумаге, спасали и спасают беднягу. Литературная одаренность Георгия Эфрона очевидна. Все-таки он сын своей матери и собирается двинуться по ее стопам: «Я, например, хочу быть, скажем, знаменитым писателем. Основное – сохранить себя. Заниматься я могу чем угодно, лишь бы уметь самому себе создать максимум благоприятных условий для творческой жизни. Всему свое время. Придет и комфорт, и деньги, и женщины, и слава, и заграница. Нужно уметь ЖДАТЬ».

Георгию Эфрону не удалось «сохранить себя», но можно предположить, что, останься он в живых, мечта о писательстве и славе могла бы быть осуществлена. Он умел приспосабливаться к обстоятельствам, умел устраиваться, умел лицемерить, а эти качества были одним из главнейших для писателей советских. Связи Мур имел обширные. Память о гении его матери и вине перед ней могли только способствовать карьере Георгия Эфрона. К тому же он точно знал, как следует построить свою личную жизнь: «Державин – очень веселый, остроумный человек. Но сглупил: обременен семьей в 4 человека: жена и 3-ое детей. Вот такие штуки все портят, всю жизнь». В общем, Мур целеустремленно шел к жизни, полной удовольствий: «денег, женщин, славы»…

И вот будущая знаменитость в Ташкенте среди писателей, драматургов, поэтов уже знаменитых. Его взгляд зорок, язык беспощаден: «Все писатели пьют. В разных дозах, но скорее мало, чем совсем нет, скорее много, чем мало… Пьют Толстой и Погодин, Луговской и Антокольский, Ахматова и Городецкий, пьют все… Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью… Все вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги – без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас… Все боятся за себя. В случае поражения, что будет в Узбекистане? Все говорят, что «начнется резня». Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев… Любят советскую власть гораздо больше за то, что она материально дала, дает и должна дать именно им, чем за то, что

она вообще сделала».

Все то, о чем пишет Мур, имело место, нет сомнений: и пьянка, и «животный страх», и не бескорыстная любовь к Советам, но было и другое, не могло не быть, но этого видеть и слышать не хочет Георгий Эфрон. Он по-прежнему уверен, что девяносто девять процентов людей «чудовищные существа». Он живет внутри системы, им же выстроенной. Ему, Муру, положено жить в поисках низменных удовольствий, окружающие не имеют на это право.

«Блажен, кто смолоду был молод». Он не был блажен и в юности отличался мудростью старца: «Вообще я часто наблюдаю, как толпа легко подвергаема самому настоящему помешательству, и понимаю, как могут воевать армии, понимаю штурм и героизм, и штыковые атаки. Я сам в толпе теряю волю. До черта влияет скопление. В толпе становишься безвольным идиотом – боишься, радуешься, теряешь равновесие. Коллективная душа… Да, если хотите, но невысокого качества».

Идет война. Январь 1943 года. Муру восемнадцать, и он подлежит призыву в «толпу» воюющей армии: «Итак, через шесть дней окончательно и бесповоротно кончится моя культурная жизнь и начнется страшное, бредовое, холодное, чуждое и неведомое». Чужой в чужой стране. Но пока что Георгию Эфрону грозит трудовая армия, и он «быстро начал соображать, что все-таки трудармия – это не фронт и лучше быть рядовым не на фронте – меньше риска быть укокошенным».

Но и в трудармию не хочет идти Мур. О сироте хлопочут. Появилась надежда не уезжать из «хлебного города». Впервые Георгий Эфрон вспоминает Бога: «Бог, Бог, который раз я обращаюсь к тебе! Ты мне много раз помогал, когда я был в Казани, при выходе из московского вокзала (когда не было московской прописки). Я всегда обращался к тебе в тяжелые минуты своей жизни, говорил: “A Dieu Vat” и все выходило».

Бог не слышит Мура. Он не слышит землян в этот момент, не видит то, что творится на «голубой планете». Да и зря просит юноша спасти его от трудовой повинности. Пошел бы на общие работы, глядишь, и миновала бы его смерть через полтора года, в болотах Белоруссии.

И радость, отмоленная, как ему кажется, радость: «Вообще всем дали отсрочку. Наши войска взяли группу курортов: Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и пр. Это очень здорово!» Советская армия не отступает, побеждает, из «красной» она вновь превратилась в «нашу» армию.

Но радость приходит вместе с безденежьем и голодом: «Меня все время терзает какой-то сумасшедший голод. Сегодня ел

коврижку и бублики: сейчас варю перловую кашу». Вообще, тема голода становится главной в дневнике. Мура, как сына Марины Цветаевой, подкармливают многие «пьющие» писатели, но подкармливают, не кормят. Впрочем, он все еще разборчив: «Для меня основное есть утром, вечером могу терпеть. А есть хочется буквально как только встаю, и ходить утром за хлебом, стоять в очереди не хочется – насколько комфортабельнее, когда ты в кровати, приходит этот старик и несет лепешку!»

Деньги и еда, еда и деньги. Вот назойливые темы дневника: «Да, благоразумие говорит за то, чтобы оплатить долг и не брать больше лепешек… Но для меня основное – это именно иметь, что есть утром, когда встаю. 400–500 г. хлеба меня насыщают вплоть до школы, потом (от 13–14 ч. До 18–19 ч.) я терплю не так уж мучительно, вечером съедаю суп и два вторых (часов в 7 вечера), а с 7 до, примерно, 11–11.30 тоже терплю».

Голод в «хлебном городе» преследует Мура по пятам. Дюжина котлет, съеденная зараз в Париже, мстит за себя беспощадно: «Сегодня предпринял весьма неблагоразумный шаг – продал на рынке хлебную карточку вплоть до конца месяца за 175 р. Конечно, это неблагоразумно, но я ненавижу всем сердцем благоразумие, я живу сегодняшним днем и сыт хочу быть сегодня до отвалу, а не помаленьку каждый день. Эти 150 р. (25 истратил на два вкуснейших пирожка с повидлом по 12 р. штука и стакан морса) дадут мне возможность дать М.М. на обеды 20 р.».

Голод превращается в манию, психоз, в нечто крайне болезненное. Георгий Эфрон ест много, но сколько бы пищи он ни отправлял в свой желудок, насытиться не может. Читая дневник Мура, иной раз, кажется, что именно запросы желудка формировали его сознание и мечты о славе напрямую связаны только с одним: с обильным и вкусным питанием.

«Сегодня около 10 вечера, и несмотря на то, что в течение дня я съел 1 венскую булочку, 3 бублика, из коих 2 с топленым маслом, 2 пряника, пирожок с рисом, пирожок с картошкой, тарелку «супа» с лапшой, тарелку мучной каши (в столовой детской), две тарелки супа с рисом, две порции свеклы и два стакана семечек, я сейчас чувствую себя голодным».

Мур продолжает много читать и следить за военными сводками, но тема голода все равно выходит в заглавные строки дневника: «Вчера обедал у П.Д. Превосходный обед: зеленый суп, совсем в стиле супа из щавеля (конечно, не хватало яиц и сметаны!), на второе – котлета и макароны, зеленый салат – тоже во французском вкусе. В общем, наелся здорово – и хлеба вволю. Как вкусно было! А было бы еще раз в сто вкуснее, если бы удалось съесть все эти красоты дома, сосредотачивая все

внимание на еде и не отвлекаясь обязательной в гостях болтовней».

Георгию Эфрону не нужна «роскошь человеческого общения». Он превращается в пищевого «алкоголика», так как способен в одиночку поглощать пищу и получать от этого особое удовольствие. Утром он обязательно вспоминает о том, что ел накануне: «Вчера взял макароны; взял также 200 гр. “сладкой замазки”… Вчера был очень удачный день в отношении жратвы… Вчера был последний раз в П.Д. Превосходный обед…»

Все это, конечно, ненастоящий голод. По-настоящему голодала Марина, мать Мура, в Москве, в годы военного коммунизма. На руках Цветаевой дочь – Аля, вторая – Ирина – умирает в детском доме. Цветаева не о своем голоде пишет в дневнике. То, что творится в ее личном желудке, не волнует Марину. Вот типичная скупая запись: «Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля… Живу даровыми обедами». Тот по-настоящему страшный голод, потеря дочери, заставил Цветаеву в эмиграции относиться с преувеличенным вниманием к проблеме питания. Она кормила Мура так, будто боялась и его потерять от недостатка пищи. Цветаева невольно превратила сына в инвалида. Хотя, конечно, не она тому виной, а безумное время российского голода (1918–1921 гг.). Думал ли об этом вечно голодный Мур. Нет! Он и не подозревал, что стал жертвой Октябрьского переворота задолго до своего рождения. Впрочем, страдания большого желудка не способны заглушить голос разума. «Зеркало» появляется перед Муром, и он, может быть, впервые различает в нем свой искаженный голодом и лишениями облик: «Надоело и опротивело собственное “я” – без руля и без ветрил, злое и пессимистическое. Надоела грязь, надоели голод и безденежье. Все противно, от всего тошнит… Одного только хочется – жратвы… Эх, деньги, деньги! Только они и нужны. Но как я устал от этой грубой, грязной, глупой жизни… Я живу в предчувствии катастроф».

Оптимизм был основан на благоразумии, неблагоразумный Мур, живущий одним, сытым, днем, становится пессимистом. Все правильно, все логично, но Георгий Эфрон, как ни странно, продолжает чувствовать себя сверхчеловеком: «Но имей я деньги, необходимые для нормального существования, я уверен, что я бы пребывал в одиночестве. Кроме как на предмет довольно низменного их использования, мне люди не нужны: я их не люблю. Не люблю также из-за того, что без них не проживешь, из-за того, что человек высший должен всегда быть связан с кучей низших, без которых, как говорится, – ни туда, ни сюда».

Увы, и здесь очевидно искаженное, правда, но наследие

матери: ее убежденность, что «человек, не понимающий стиха» недостоин звания человека. Ее экзальтированная привычка очаровываться кем-то в неизбежности грубого и даже злого разочарования. Ее, наконец, любовь к слову, вечно заслоняющему любовь к человеку, возможность его понять и простить.

Мура в Ташкенте от полной нравственной деградации спасает тоже слово, начатая работа над романом. Но, судя по всему, не совсем обычным для человека восемнадцати лет. Георгий Эфрон начинает писать роман, во многом мемуарный, если верить его записи в дневнике: «Меня все более и более занимают вопросы, связанные с моим романом. И здесь мне Москва совершенно необходима, т. к. Лиля (тетка Мура. – *Примеч. А.К.*) может дать мне массу сведений о своей матери, Елизавете Дурново… Якове Эфроне, о встрече Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, о парижской трагедии Елизаветы Дурново». Но и здесь он снова над «толпой» (пусть и «толпой» своей родни) на роли стороннего наблюдателя, предпочитая не употреблять слова: бабушка, дед, отец, мама… Тем не менее не исключено, что именно литературный труд над романом образумил Мура. Он вдруг начинает осознавать свой психический недуг, провал своей ставки на эго: «Крах моей антрепризы символичен: это крах всей моей жизненной животно-эгоистической политики. Нельзя жить без настоящего, увлекающего дела, без любви к чему-то и кому-то, без нравственного тепла, исходящего от близких людей. Иначе становишься способным на такие вот антрепризы, и царем мироздания, центром Вселенной становится Бублик или Булочка».

Впрочем, прокол в ясное сознание своей греховной сути был, похоже, случаен. Не так легко переродиться, даже в юности. Голодная жизнь вновь загоняет Георгия Эфрона в тяжкий, физический труд. Он сопротивляется общей для населения страны доле. Сопротивляется из последних сил, и успешно: «Я совершенно не собираюсь тратить 12 часов моей жизни на грязные станки… Кроме того, я – не рабочий. Я могу быть полезным переводчиком и литературоведом – и, надеюсь, когда-нибудь этим стану. А для рабочего ремесла вполне годны полчища праздношатающихся беспризорных и ленивых узбеков. И вообще сейчас мода – “завод, завод”. Ну и что? Не всем же быть на одну мерку. И пока я смогу не идти на завод, я туда не пойду. Я на это имею полное внутреннее право, право человека, который жил в Париже и Брюсселе, который ездил летом в горы и к морю, человека, хорошо осведомленного политически, человека, который много пережил, много видел, право человека весьма культурного и даже утонченного (это сказано без всякого

бахвальства)».

Все это вместо простой молитвы, как у Ахматовой, которая живет в те годы бок о бок с Муром: «Муж расстрелян, сын в тюрьме – помолитесь обо мне». Георгий Эфрон мог бы сложить строчки и пострашнее: «Отец расстрелян, мать в петле – помолитесь обо мне». Мне хочется думать, что все эти чудовищные и откровенные строчки из дневника: стон обездоленного, гордыня сироты, не больше, что подлинный Мур – любимый сын Марины Цветаевой – все еще не понимает самого себя, и старческие, пропитанные эгоизмом разочарованного в жизни человека заметки – всего лишь дань особой инфантильности; что пригрей судьба Мура, дай ему вдосталь еды, денег, покоя – и он обратился бы к миру с иным ясным и добрым лицом.

Мне так хочется думать… В общем-то без всяких на то оснований. Георгию Эфрону война не даст шанса стать кем-то иным, пройти через тяготы окопной жизни, через мужество и малодушие, через кровь тех, что рядом… Война калечила многих, но поднимала, через отчаяние и боль, на ту высоту, которая недоступна тем, кто не побывал на ней.

В одном Мур изменился. Он больше не верит газетам и радио и точно оценивает происходящее. Он уже не мечтает стать «советским человеком». Мало того, в его дневниках столько крамолы, что малой ее части хватило бы по тому времени, чтобы сгноить Георгия Эфрона на каторге: «Мы сторонились англо-германской войны… Мы во время этой войны заключили договор о дружбе с Германией! Мы надеялись в конце концов вытянуть каштаны из огня! Мы надеялись присоединиться к той стороне, которая менее всего ослабнет в этой войне. Мы кормили и снабжали Германию… Если мы действительно очень облегчим задачу союзникам, сражаясь против основных сил Гитлера, то получилось это случайно, и сражаемся мы не против фашистов, а против иностранных захватчиков. На фашизм нам было наплевать до июня 1941 года… Таков мой взгляд на события. Будем надеяться, что таков будет взгляд истории».

Здесь Георгий Эфрон точен, справедлив, умен. Правда, и окружение его в Ташкенте могло подсказать подобные выводы. Кто знает, но он осмелился оставить такое в документе, который без труда мог попасть в руки палачей: «Сегодня произошло одно неприятное происшествие. Я обнаружил исчезновение одного из моих дневников… Что за бред? Кто мог польститься и зачем такая кража? Кому-то нужно? Нет замка у меня на двери, вот в чем дело». Чудо, но похититель не донес на Мура, а к тому времени Георгий Эфрон не только «политический» преступник, но и

уголовный, без кавычек: «Вчера продал на 78 рублей книг – все книги продал: и Валери и Малларме, и даже все книги М.И. И был сыт. Продавая эти книги, я гораздо более ощущал себя преступником, чем когда крал вещи у М.А. и часы А.Г. Неизмеримо более… Глупо и преступно против ее памяти то, что я продал эти книги с надписями ко мне: “Моему сыну…” и т. д. Неужели я так мало ценю ее память и все наше общее прошлое? Ох, не знаю. Надо все оборвать – и все воскресить, начать новую жизнь, – но которая должна вернуть старое». Это новая нота по сравнению с довоенными заклинаниями Мура. Он понял цену прошлому, он надеется на возвращение «старого». Он – нищий, мелкий воришка и антисоветчик больше не устремлен в «светлое будущее», его вполне устраивает «мрак» прошлого. В настоящем даже бумага для дневника, самого святого в его жизни, на исходе: «Так долго не писал из-за отсутствия бумаги: только сейчас догадался использовать старую книжечку собственных стихов, недописанную. Мое положение – плевое. Денег нет ниоткуда, живу буквально чудом, приходится у всех клянчить и голодать, прибавляясь отказами в займах и мечтами о булочках».

В послесловии к «Дневникам Георгия Эфрона» Татьяна Горяева приводит текст сочинения, написанного Муром в двенадцать лет: «Я бы хотел жить в доме, построенном исключительно из хромированной стали и строительного камня. В нем было бы два пулемета против авиации и два простых, чтобы защищаться против наступления, если бы началась война… Снаружи он был бы обнесен огромной стеной в сто метров высотой. Сам дом был бы высотою в двести метров…»

Георгий Эфрон не успел построить для себя дом-крепость. В конце концов он был призван, несмотря на маленькое сердце, и погиб в первом же бою, будто горячее железо только и ждало появления сына Марины Цветаевой. Точка в трагедии жизни сына великого поэта была поставлена.

2007 г.

Аркадий Красильщиков

Аркадий Красильщиков родился в Ленинграде 18 декабря 1945-го. Работал на заводе токарем, окончил школу рабочей молодежи, затем сделал попытку стать инженером, но безрезультатно. Пришлось поступить во ВГИК. С 1969 года – сценарист с дипломом. Член Союза кинематографистов России. До репатриации в Израиль стал автором или режиссером 19 больших фильмов. Самые заметные работы: «Ради нескольких строчек», «Псы», «Мы едем в Америку», «Рогоносец».

В Израиле с 1 февраля 1996 года. Работал журналистом в концерне «Новости недели» (более 2 тысяч статей, очерков, эссе, рассказов, напечатанных в русскоязычной прессе Израиля, России, США, Германии, Канады и т. д.). Автор четырех сборников прозы, изданных не за счет автора.

В 2002 году вернулся к работе в российском кино и кинематографе Израиля. Список работ пополнился еще девятью названиями. Самая удачная лента «Путешествие с домашними животными». Гран-при ММКФ 2007 года, ряд наград на других фестивалях мира. Двое детей и три внучки, живет в Ган-Явне.

notes

Примечания

1

В израильской армии – курс молодого бойца.

2

Поездка на попутной машине или автостопом.